ДЖОРДАНО БРУНО

А. Э. Штекли


Iordanus Brunus
Nolanus

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЕДАЛОВ СЫН СЕБЯ ПАДЕНИЕМ НЕ ОБЕССЛАВИЛ!



Мальчик подолгу не видел отца. Джованни Бруно, хотя и считался дворянином, вел далеко не завидную жизнь. Обязанный нести военную службу, он часто отлучался из дому. В тревожном ожидании тянулись недели. Флаулиса не прятала от сынишки заплаканных глаз. Какие только опасности не подстерегают Джованни в походах! Семье жилось трудно: клочок земли и ветхий домик, доставшийся Флаулисе от родителей, вот и все их богатство. В такой нужде и скудное солдатское жалованье — большое подспорье.

Зато когда Джованни возвращался домой, наступал настоящий праздник. Маленький Филиппо не отставал от отца, засыпал его бесчисленными вопросами, жадно слушал. К отцу приходили приятели, на столе под деревом появлялся кувшин с терпкой аспринией, и двор до самой ночи оглашался шутками и смехом.

Джованни рассказывал о виденном, читал стихи Тансилло, любимого своего поэта и однополчанина, сыпал забавными анекдотами, которые ходили по всему Неаполитанскому королевству.

Гости от души смеялись, шумели, пели песни. После пирушки один из подгулявших соседей клялся, что никогда не был так весел, как сейчас. Филиппо запомнил ответ отца. «Никогда, — возразил тот приятелю, — ты не был более глуп, чем сейчас!»

Селение в несколько домиков лежало среди холмов. Щедрый край, деревья, гнущиеся под тяжестью плодов, обильные нивы, страна Вакха и Цереры, Счастливая Кампанья. Рядом гора Чикала с ее каштанами, вязами, виноградниками. От деревушки меньше мили до Нолы. У древнего города долгая и славная история. Он процветал еще и в римские времена.

Кто из ноланцев не гордится своей родиной? Джованни Бруно происходит из Нолы, и, хотя Филиппо родился не в самом городе, он тоже, конечно, ноланец!

Филиппо знает каждый камень вокруг и очень любит далекие прогулки. Какое это счастье подниматься в гору, вдыхать аромат розмарина и лавра, отстранять руками ветви вишен, любоваться увитыми плющом тополями, отдыхать в прохладных дубравах! Внизу лежит родная Нола — красивые ворота, рыночная площадь, величественный собор. Рощи плодовых деревьев и виноградники подступают к стенам. А как далеко видно вокруг! Вот, закрывая горизонт, высится громада Везувия. Там кончается мир. Мальчик убежден, что за Везувием ничего нет. Чужая гора ему не нравится. Угрюмая и неприветливая, может ли она сравниться с чудесной Чикалой?

Но, очутившись однажды на залитых солнцем склонах Везувия, Филиппо поразился. Сады и виноградники были здесь еще прекрасней, чем на Чикале.

А ведь издали эти склоны казались такими непривлекательными! Что стало с Чикалой? Если смотреть на нее с Везувия, то она представляется скучной и суровой. Как по-разному выглядят одни и те же вещи, коль наблюдаешь за ними с различных расстояний!

Везувий спит, но он не умер. Повсюду следы былых землетрясений и извержений вулкана. Где-то глубоко в недрах клокочет пламя. Здесь явственно чувствуется неукротимая стихия огня. Рядом с зеленой

бахчой — унылый, выжженный склон, среди буйных трав и кустарников — языки лавы. Тут бьют горячие ключи и источники пахнут серой. Везде обитают духи — в горах, в ручьях, под землей. Их можно иногда увидеть, когда воздух бывает особенно прозрачным или пар над ключами становится густым. Они то пугают путников, то разгоняют стада.

Есть места, где люди бывают с опаской — и не без оснований. Духи по ночам развлекаются тем, что швыряют камни в прохожих. Сам Филиппо тому свидетель. Однажды это случилось в Ноле, недалеко от собора, а другой раз у подножья Чикалы, рядом с кладбищем, где прежде хоронили умерших от чумы. Никто, правда, не пострадал от камней, но нестись пришлось во всю прыть!

У Филиппо непоседливый характер, беспокойный ум и обостренные чувства. Он повергает в изумление даже хорошо знающих его людей. Странные происходят с ним вещи! Он был еще младенцем. Из щели в стене выползла огромная змея. Охваченный страхом, он позвал отца. Тот находился в соседней комнате и, прибежав на крик, палкой убил змею. Много лет спустя мальчик вдруг об этом вспомнил. Родители поражены. Почти забытая история воскресает в сознании. Но как Филиппо, лежавший тогда в колыбели, мог позвать именно отца и в таких подробностях запомнить происшедшее?

Он растет среди людей, которым нелегко дается кусок хлеба. Они на себе испытывают, что значат библейские слова «В поте лица зарабатывать хлеб свой»: гнут спину над грядками, обрезают деревья, ухаживают за виноградниками, понемножку прирабатывают ремеслом, сапожничают и портняжат.

С ранних лет Филиппо наставляют в христианской вере. Но доброго католика из него не получается.

Он сталкивался с весьма легкомысленным отношением к религии. В страстной четверг его собственный дядюшка приходил к духовнику и говорил: «Помнишь грехи мои, в которых я исповедовался в прошлом году? Вот они». На что отец исповедник отвечал: «Помнишь мое прошлогоднее отпущение? Вот оно. Иди и впредь не греши».

Во время праздников в Нолу со всех сторон сходятся богомольцы, и народу на площади больше, чем в дни ярмарки. Одни и те же люди то исступленно молятся, то богохульствуют, проклинают еретиков и

насмешничают над священниками, бросают вместо денег в церковную кружку пуговицы и отдают последнюю монетку на помин души. Суеверия уживаются бок о бок с вольномыслием. Ноланцы чтят своего святого Феличе, но зло потешаются над клиром. Меткие остроты, отпускаемые по адресу монахов, не воспитывают у Филиппо почтительности к духовным лицам.

Приходский священник преподает мальчику катехизис, учит читать и писать. Филиппо смышлен, грамота дается ему легко, он засыпает учителя вопросами. Его интересуют и вычитанные в библии истории и все, что творится вокруг.

Филиппо очень наблюдателен. Он знает, что на бахче у Франчино созревают первые дыни, что собака, принадлежащая Саволино, скоро принесет щенят, а в саду Антонио Фальвано кроты сильно изрыли землю. Жизнь в маленьком селении течет на виду у всех. Любое, самое незначительное происшествие становится тут же известно соседям. У старушки Фиурулы выпал коренной зуб, Константину досаждают огромнейшие клопы, Лауренца, разглядывая гребень, жалуется, что у нее лезут волосы, а Васта снова перегрела щипцы и спалила завитушки на висках. Портной Данезе испортил юбку, которую кроил на скамье. А вот Паулино: когда он нагнулся, чтобы поднять с земли иголку, у него лопнул красный шнурок, поддерживающий штаны. Паулино в сердцах выругался — наказание не заставило себя долго ждать. В тот же вечер у богохульника подгорают макароны и разбивается полная бутыль вина.

Он опять отчаянно бранится… Но почему его макароны оказались пересоленными и подгорели? Кара господня? Промысел божий? Филиппо забрасывает окружающих бесчисленными «почему». В ответ он постоянно слышит: «так захотел господь», «это предначертано свыше». Мальчика уверяют: ничто в мире не происходит без божьего промысла. «Без воли божьей, — гласит евангельское поучение., — не падет с вашей головы ни один волос». Значит, если на гребешке Лауренцы осталось семнадцать волосинок, то и это предначертано богом?

Рядом с домом жужубовое дерево. Отец вовремя снял тридцать плодов, семнадцать были сброшены ветром на землю, а пятнадцать источены червями.

И это все предусмотрел господь? Двенадцать раз громко прокуковала кукушка и улетела на развалины замка. Бог предопределил, сколько ей куковать и куда лететь? У Паулино лопнул шнурок на штанах, Данезе испортил крой, Фиурула потеряла зуб… Все это заранее промыслил господь? Только в их деревушке каждое мгновение совершаются тысячи событий. И как успевает со всем этим управляться всевышний?

Филиппо очень боялся, что в Неаполе он будет тосковать по любимой Ноле. Но этого не случилось.

Под ярким солнцем ослепительно сверкал лазурный залив, рядом высилась громада Везувия, склоны холмов утопали в виноградниках. И, несмотря на множество новых впечатлений, мальчик не почувствовал себя в чужом краю: над ним простиралось то же родное и благословенное небо!

Его прислали сюда продолжать образование. Нола, хотя и славилась своими давними культурными традициями и учеными кружками, не могла, разумеется, соперничать со столицей Неаполитанского королевства. Филиппо скоро четырнадцать. Он развит не по годам, на редкость даровит, любознателен, настойчив. Теофило да Вайрано, монах-августинец, превосходный учитель, умело руководит его занятиями. Он преподает ему логику, все больше приобщает к серьезному чтению, пробуждает и развивает интерес к философии.

На живописном холме, в самом сердце Неаполя, среди старых деревьев, раскинулись постройки монастыря Сан-Доминико Маджоре. Тут не только трапезная, кельи, высшая богословская школа, прекрасная библиотека, но и — назидательное соседство! — тюрьма инквизиции. Здесь много студентов. Неаполитанский университет не имеет собственных зданий и снимает помещения у доминиканцев. Среди его профессоров немало монахов. Близость келий и толпы рясников не накладывают на университет отпечатка особого благочиния. На лекциях кричат, перебивают профессоров, ссорятся.

Филиппо водит дружбу со студентами и частенько приходит в университет. Когда старший педель появляется во дворе с колокольчиком в руках, чтобы оповестить о начале занятий, надо успеть незамеченным проскользнуть в аудиторию. Недавно вице-король издал строгий указ, запрещающий посторонним посещать

лекции. Желающий стать студентом обязан в десятидневный срок внести свое имя в списки и сделать соответствующий денежный взнос. Ослушников ждут телесные наказания и два месяца тюрьмы. К счастью, многие указы выглядят на бумаге страшнее, чем в жизни. Педель хорошенько подумает, прежде чем ввяжется в ссору со студентами или их дружками. Вице-король не раз запрещал являться на лекции с оружием. Но много ли от этого толку? Студенты по-прежнему носят под одеждой кинжалы и нередко пускают их в ход. Почтительность у них не в обычае. Бывает, и преподавателя, если он очень донимает придирками, подстерегают на улице и нещадно бьют.

Лекции по диалектике и словесности Филиппо слушает с особым вниманием. Но быстро разочаровывается. По сравнению с уроками Теофило да Вайрано они производят весьма невыгодное впечатление. Отец Теофило учит его мыслить, а тут бесконечные разглагольствования, бесплодное жонглирование словами.

Филиппо не испытывает почтения перед профессорскими тогами и везде подмечает смешное. Вот они, носители древней мудрости, знатоки классической латыни, презирающие толпу. Он их видит почти каждый день. Они не ходят, а шествуют, важные, самонадеянные, неприступные. Речь свою они сопровождают плавными, заученными жестами. А как они изъясняются? Итальянские фразы так сдабривают латинскими и греческими словечками, что неискушенному человеку и невдомек, говорят ли они на ученом языке или пользуются воровским жаргоном.

На юге Италии хозяйничают испанцы. От имени монарха, которому принадлежит полсвета, Неаполитанским королевством управляет испанский вице-король. В стране неспокойно. Дворяне и церковь поддерживают иноземную власть, но народ ненавидит пришельцев. Время от времени вспыхивают бунты то из-за новых налогов, то из-за попытки ввести инквизицию на испанский лад. Гремят пушки.

С восставшими расправляются без всякой пощады.

Но борьба не прекращается ни на день. Дети казненных уходят в горы. К ним присоединяются разоренные налогами крестьяне и все, кто из-за преследования властей вынужден покинуть родные места. Отряды фуорушити[1] нападают на испанские гарнизоны и жгут поместья изменников. Вице-король отвечает новыми казнями. По обочинам дорог гниют трупы.

Неаполь — город древней культуры. Здесь и сейчас, несмотря на засилье чужеземцев и неустанный надзор инквизиции, умственная жизнь не захирела.

Люди, питающие страсть к наукам, основывают ученые общества — академии. Власти, опасаясь ереси и крамолы, то и дело их разгоняют, но они возникают снова. Испанским правителям и церкви не удается сломить любознательный и вольнолюбивый дух неаполитанцев. Совсем еще молодой Джамбаттиста делла Порта издал удивительную книгу — «О естественной магии». Делла Порта касается разнообразных тем, пишет о взаимодействиях вещей, о процессах, наблюдаемых алхимиками, о странных оптических явлениях. Но главное в его книге — это новый принцип исследования. Он хочет не толковать мнения античных авторитетов, а непосредственно наблюдать и изучать природу. На свою первую работу он смотрит как на вступление к будущему большому труду, который должен охватить все знания о мире.

Ученые круги Неаполя взволнованы дерзновенным выступлением Бернардино Телезио. Человек, весьма скромный по натуре, пытается ни больше, ни меньше как реформировать всю философию. Он не может примириться, что на протяжении столетий чуть ли не весь род людской с благоговейной почтительностью внемлет Аристотелю, словно апостолу. Телезио восстает против тирании Аристотеля. Тот ведь вместо существующего божьего мира создал в воображении свой вымышленный мир. Поэтому при изучении природы надо основываться не на текстах Стагирита[2], а на собственных чувствах!

Неаполь — город древней культуры и не менее древних предрассудков. Суеверия, порожденные христианством, прибавились к языческим. Давние обычаи пережили века. Боги полей и лесов почитаются под видом святых. Чудодейственные амулеты пользуются неизменным спросом. Правда, вместо египетских скарабеев носят освященные самим папой изображения «агнца божьего».

Велика вера в реликвии: в святые мощи, в гвоздь, которым был прибит к кресту Спаситель, в кровь, что по известным дням вскипает в сосуде. Монахи обирают верующих, бойко торгуют образками, свечками, четками, текстами молитв.

Плуты в рясах соперничают с пройдохами всех мастей. В Неаполе, несмотря на запрет, процветают чернокнижники, прорицатели, маги.

Рядом со святой водой, исцеляющей от всех недугов, предлагают питье, что мгновенно восстановит силы, растраченные в распутствах, навязывают эликсир вечной молодости, философский камень, или «Христов порошок»: с его-де помощью проще простого получить золото. Золото! Сколько существует секретов, чтобы сделать человека крезом: ведовские заклинания позволяют находить клады, умелые приемы карточной игры обеспечивают неизменный выигрыш, чудодейственные рецепты превращают медь и железо в благородный металл.

Таинственным шепотком алхимики предлагают поделиться своими знаниями. Но зачем им деньги, если они могут изготовлять золото? Пусть-ка сами и воспользуются своим рецептом! Они не очень разнообразны на выдумку. Филиппо знает их ответ: им, видите ли, в настоящий момент недостает средств, чтобы приобрести нужные компоненты, их ограбили в лесу или обворовали в харчевне. Небольшая сумма позволит начать все сначала: в короткий срок сказочно разбогатеет благодетель! Простаков хватает повсюду, и ловкачи находят в чужих кошельках тот благородный металл, который сулят добыть из своих печек.

Многие достойные люди, случалось, видели, как в тигле появляется золото. Правда, иногда не обходятся и без обмана. Но чего не сделаешь, чтобы поддержать веру в науку! Некий алхимик обладал воистину важным секретом: он обжег кусок дерева, куда прежде, выдолбив дырку, насыпал порошкового золота, и незаметно подбросил в груду углей. Когда огонь как следует разгорелся, из печи закапал драгоценный металл.

Людьми, что торгуют в Неаполе магическими секретами, хоть пруд пруди. Каких только тайн вам не предложат открыть, каким не научат заклинаниям, чего не наобещают! Вывертывайте-ка побыстрей карманы, не тряситесь над каждой монеткой — и желания ваши исполнятся!

Вы томитесь от неразделенной страсти? Ищете, как без особых хлопот склонить к уступчивости несговорчивую красавицу? Тщетны все серенады, бесполезны ушлые сводни, напрасны пылкие послания?

Да, синьор, женщины всем прочим письмам предпочитают маленькие кругленькие посланьица, те, что из золота с выбитым на них портретом короля! Вам неохота слишком тратиться? Конечно,

стоит ли отдавать деньги дамам, если добиться своего можно иным, значительно более дешевым способом. Там, где бессильны самые красноречивые признания, наверняка подействуют колдовские приемы. Не пожалейте скромной суммы, и сокровенные тайны магии будут, вам тотчас же открыты!

Синьор, вы не раскаетесь. Деньги, отданные достойному человеку, навсегда избавят вас от бесполезных трат. Отныне вам не надо будет раскошеливаться на подарки: красавица сама потеряет голову от любви к вам. Внимайте! Из чистого воска слеплю я изображение вашей возлюбленной и вручу вам пять иголок. Их надобно с умом вонзить в эту фигурку. Потом разведите огонь. Дрова возьмите из сосны, оливкового дерева, лавра… Когда чудодейственный дым начнет обволакивать фигурку, поднесите ее к огню, но блюдите осторожность, коль воск растопится, возлюбленная погибнет. Сомкнув веки, трижды повторите заклинание: «Цаларат, Цхалафар, наложи оковы…», и дальше по бумажке. Дождавшись когда пламя само по себе потухнет, спрячьте фигурку в тайничок. При ворожбе действуйте особенно осторожно: когда будете длиннейшую из иголок вонзать в левую грудь, не усердствуйте, — если острие войдет слишком глубоко, красотка ваша просто помрет от любви!

Многое, что Филиппо видит вокруг, так и просится на страницы комедии. Но в душе его соперничают музы. Он не решается, какой из них отдать предпочтение: вслед за учеными трактатами проглатывает книги стихов. Выписки из философских сочинений перемешаны с набросками сонетов; он мечтает написать большую поэму, наслаждается Вергилием и Лукрецием, изучает античную драматургию и смеется над фривольным Апулеем. Его влечет и трагическая Мельпомена и комическая Талия. Театральные подмостки обладают для него притягательной силой. Он бегает на представления бродячих комедиантов, обожает шумные зрелища, балаганы и процессии ряженых, знает, что безработные актеры толкутся на площади Вязов, а на рынке толпу потешают искусники скоморохи. Он страсть как любит комедии, зачитывается Макиавелли и Аретино. В нем сидит неисправимый насмешник, зоркий, безудержный, острый на язык.

Он то порывист, то сосредоточен. Часы бурного веселья сменяются часами глубоких раздумий. Филиппо на перепутье. В чем его

призвание? По какой жизненной дороге идти? Боги и герои античной мифологии — его добрые друзья. Он знает наизусть множество стихов и мыслит образами. Перед ним, как перед Парисом, три богини. Каждая из них прекрасна по-своему. Все они достойны поклонения, но нельзя в равной степени почитать троих и от каждой ждать милостей. Выбрать надо одну. Геру предпочтет тот, кто жаждет богатства и власти, Афину — тот, кто ценит познание и мудрость, Афродиту — кто больше всего на свете любит красоту и безмятежное наслаждение жизнью. Кому вручить золотое яблоко?

Филиппо выбирает Афину. Он не боится ее суровости и не ждет легкой судьбы. Мудрость дается человеку куда труднее, чем богатства и наслаждения. Истинных философов всегда меньше, чем полководцев, правителей, прожигателей жизни и богачей. Людям проще увидеть Геру и Афродиту обнаженными, чем Афину в ее доспехах. Но тот, кто однажды узрел ее хоть издали, захочет ли смотреть на других?

Правы ли, однако, философы, утверждающие, что высшее счастье человека в том совершенствовании, которое достигается путем умозрительного познания? У Филиппо слишком бурная и страстная натура, чтобы довольствоваться этим. Истину надо не только созерцать, за нее надо бороться! В душе Филиппо пылает жажда подвига.

Тернистого пути он не страшится. Не лучше ли потерпеть неудачу, отдавая всего себя благородному делу, чем добиваться успеха в малом или низком? Он преклоняется перед самоотверженностью подлинных героев. Святое безрассудство не измеряют меркою расчетливого благоразумия. Героическая смерть лучше недостойного триумфа! Он любит сказание об Икаре, первом человеке, кто взлетел в небо. Умелый Дедал изготовил сыну крылья. Смелый юноша поднялся слишком высоко и погиб. Но разве он обесславил себя падением? Филиппо очень нравятся стихи Тансилло, в которых поэт использовал образ древнего мифа:

Когда свободно крылья я расправил,
Тем выше понесло меня волной,
Чем шире веял ветер надо мной.
Так дол презрев, я ввысь полет направил.
Дедалов сын себя не обесславил
Падением, мчусь я той же вышиной!
Пускай паду, как он: конец иной
Не нужен мне, — не я ль отвагу славил?
Но голос сердца слышу в вышине:
«Куда, безумец, мчимся мы? Дерзанье
Нам принесет в расплату лишь страданье…»
А я: «С небес не страшно падать мне!
Лечу сквозь тучи и умру спокойно,
Раз смертью рок венчает путь достойный…» [3]

Может быть, это просто любовный сонет, и Тансилло уподоблял страсть к прекрасной даме рискованному полету Икара? Филиппо понимает стихи по-своему. Человек, который обрел крылья, должен, презирая опасность, подниматься все выше и выше.

Он знает, что дерзанье обречет его на гибель, знает и летит. Смерть не страшна, если она — расплата за подвиг.

Бесстрашный Икар на всю жизнь остался для Бруно одним из любимейших героев. Дедалов сын себя падением не обесславил!

ГЛАВА ВТОРАЯ

НЕВЕЖЕСТВО — НАИЛУЧШАЯ В МИРЕ НАУКА



Выбор он сделал. Он не хочет быть ни солдатом, ни купцом. Выше всего на свете он ценит знания. Служить он будет науке — он выбрал Афину! Его прислали в Неаполь, чтобы он прилежно учился. Филиппо целиком отдает себя занятиям, но его тревожит мысль о родителях. Отец вдали от дома несет свою невеселую службу, мать едва сводит концы с концами. Как из скудного жалованья они умудряются выкроить деньги, чтобы платить за его уроки? Хорошие учителя стоят дорого, да и жизнь недешева. Отказаться от мысли о дальнейшем учении?

Филиппо уже три года в Неаполе. Город стал родным. Он превосходно знает и кварталы у порта и район, где больше всего студентов. Постоянно бывает в Сан-Доминико Маджоре. Почти рядом с залами, в которых читают лекции студентам-мирянам, находится высшая богословская школа. В монастырской церкви часто

устраиваются диспуты видных теологов. Чтобы попасть сюда, не надо никаких приглашений. Двери церкви открыты. Доминиканцы радушно встречают людей, питающих интерес к богословию. Особенно внимательны они к способным юношам, которые ищут знаний. Они умеют уговаривать и убеждать, эти ловцы человеческих душ! У кого, если не у них, доминиканцев, ключи мудрости. Где, если не в их обители, человек, освобожденный от тягостных мирских забот, постигнет глубины истины и обретет путь спасения?

Юноша колеблется. Да, он знает, что в монастыре он найдет и стол и кров, что к его услугам богатейшая библиотека и что наставниками ему будут действительно ученые люди. Но он давно, с детских лет, привык видеть в монахах отпетых дармоедов.

Но разве в монастырях только невежды и плуты, герои непотребных анекдотов? Разве любимый учитель, отец Теофило, не монах? Разве среди светлейших голов Италии, блистательных магистров и докторов, мало духовных лиц?

Одно событие, происшедшее в Сан-Доминико Маджоре, окончательно решило судьбу Филиппо.

Он присутствовал на диспуте, который вели монахи, знатоки теологии и философии. Сложность обсуждаемых вопросов поразила его. Многого он не понял, но ему стало ясно, как удручающе бедны его собственные познания. До каких заоблачных высот умозрения поднялись эти люди в белых одеждах!

Не о них ли говорит псалом: «Вы боги, и сыны всевышнего все вы»? Он захотел походить на них и просил настоятеля принять его в монастырь.

15 июня 1565 года семнадцатилетний Филиппо Бруно стал послушником крупнейшего в Неаполе доминиканского монастыря. Отныне его зовут Джордано из Нолы.

Дни не отличались разнообразием. Послушников заставляли зубрить устав, учили молитвам и псалмам, вынуждали отстаивать все службы, часто водили на исповедь. За их чтением наблюдали особенно зорко. Им вменялось в обязанность хорошо знать жития святых и прежде всего святых своего ордена.

Ни за кем в монастыре не следят так бдительно, как за послушниками. Джордано трудно мириться со строгой дисциплиной, постоянным надзором, беспрекословным повиновением. Он привык к

свободе и не умеет таить своих мыслей. Это быстро приводит к неприятностям.

У него в келье висят образы святого Антония и святой Екатерины Сиенской. Ему чужда вера в заступничество угодников. Благоговение перед иконами и мощами он считает идолопоклонством. Джордано выбрасывает иконы.

Его поступок вызывает в монастыре переполох. Выставить вон из кельи святую Екатерину заодно со святым Антонием! Такое увидишь не часто. Шуму было бы куда меньше, если бы послушника застали у девиц, уличили в краже или нашли пьяным. Джордано обвиняют в пренебрежении к святым образам. Начинаются допросы, угрозы, попреки. Раньше за ним не замечали ничего предосудительного. Напротив, он отличался редким усердием и добрым нравом. Его поступок объясняют не злонамеренностью, а отроческим недомыслием. Вину несколько смягчает то, что в его келье на обычном месте висит распятие.

Его тянет к серьезным книгам, а ему дают молитвенник. Он никак еще не научится держать язык за зубами и выпаливает тут же все, что приходит в голову. Он видит, как один из послушников читает «Историю семи радостей богородицы». Тратить время на такую дребедень! Джордано имел недавно неприятности из-за выброшенных икон. Но он не выдерживает:

— От этой дурацкой книжки никакого проку не будет, вышвырни ее вон и почитай что-нибудь пополезней!

Дать такой нечестивый совет, полный пренебрежения к богоматери! Монах, надзирающий за послушниками, немедленно доносит начальству о его новой выходке.

Старый настоятель Амброджио Паскуа достаточно долго находился в ордене, чтобы привыкнуть к скандалам. Редкий день проходил без происшествий. Устав нарушался на каждом шагу. За мелкие проступки наказывали далеко не всегда: провинившихся хватало с избытком. То на время выкрали ключи и, заказав по ним собственные, стали по ночам беспрепятственно убегать в город, то прокутили, церковные деньги, то в рясе монаха притащили в келью развеселую девицу. Если бы это все! Вице-король и его судейские постоянно обвиняли монахов в тяжких уголовных преступлениях.

Приор — старый, флегматичный, незлобивый человек. Его почитают прихожане, он помогает бедным. Им довольны монахи. Отец

Амброджио достаточно умен, чтобы излишней строгостью не отравлять себе жизнь. Но он осторожен. Одно дело — разгул, другое — вера. Пьяный монах проспится, покается я снова — добрый католик. Страшнее иные, те, что внешне блюдут устав, не пропускают служб, не вкушают скоромного, а сами тайком читают запретные сочинения или нестойки в вере.

Он, бакалавр теологии, видит, как уменьшается в ордене число ученых людей. Теперь не так часто встретишь доминиканцев, рьяных к наукам. Он принимал Филиппо в послушники, знает его необыкновенную одаренность, и ему жаль, если этот упорный, трудолюбивый и пылкий юноша не останется в монастыре. Джордано молод, он образумится и в свое время достойно послужит ордену.

Отец Амброджио вызывает к себе провинившегося. Вчера он выкинул из кельи образа святых, сегодня был непочтителен к богоматери, а завтра, смотришь, усомнится во всеблагости самого господа! Настоятель говорит об ужасающей бездне ереси, куда, однажды оступившись, весьма нетрудно угодить.

Он напоминает о спасении души. Всячески стращает. Разве послушник забыл, что его не надо даже выводить за ворота — темница инквизиции тут же, в монастыре?

Потом, смягчившись, переходит к увещаниям, справляется о занятиях, хвалит за успехи в наукам, отечески подбадривает. На глазах у юноши в мелкие клочья рвет донос.

Послушничество продолжалось год. Джордано так легко усваивал все, чему его учили наставники, что его, несмотря на греховные выходки, решили допустить к монашескому обету. 16 июня 1566 года он был посвящен в монахи. Юноша носит доминиканскую сутану, но сердце его не принадлежит богу. Светские книги он читает куда с большей страстью, чем сочинения отцов церкви.

Когда он выбрасывал иконы, в келье оставалось изображение Христа. Возможно ли, чтобы столько людей слепо держались веры, основанной на наивных притчах и россказнях о чудесах? Значит, помимо этих католических суеверий, годящихся для толпы, существует иное, глубокое учение, скрытое от непосвященных?

Джордано во что бы то ни стало хочет постичь философскую суть христианства, добраться до корней, понять его историю. Ему нужны твердые факты и разумные доказательства. Он не желает ничего брать на веру.

Он и не думает ограничиваться сочинениями, которые ему дают учителя. Джордано достает запретные книги. Сомнения его растут. Он не может принять главнейшую из христианских догм — догму о троице. Три ипостаси одного и того же бога? Один бог в трех лицах?

Как возникло это несуразное учение? Джордано подходит к христианству не как к вере, ниспосланной богом, а как к суеверию, измышленному людьми. В библии и трудах отцов церкви он находит множество противоречий. Убеждается, что и учение о трех «лицах» божества, как указал еще Блаженный Августин, сравнительно недавнего происхождения.

Догма о воплощении господнем вызывает со стороны Джордано язвительные насмешки. Христос одновременно и бог и человек? В нем неразрывно слиты две природы? Как будто одна штанина с одним рукавом лучше целого камзола или целых штанов!

С юных лет любил Бруно смотреть на усыпанное звездами небо. Как устроена вселенная, полная чудес и тайн? Однажды он видел, как пылающий шар пересек небо. Не вестник ли это из другого мира?

Бруно рано стал проявлять интерес к астрономии.

В то время учение Аристотеля о космосе и Птолемеева система все еще преподносились почти повсюду как непререкаемые истины. Земля считалась пребывающим в покое центром вселенной.

Люди издавна делили небесные светила на «неподвижные» и «блуждающие». К «блуждающим», то есть планетам — Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну, — причисляли также Солнце и Луну. Остальные звезды казались неподвижными по отношению друг к другу. Их называли «фиксированными», полагая, что они прикреплены к некоей сфере, которая на оси, проходящей через центр Земли, совершает за сутки оборот вокруг земного шара. Планеты тоже имели свои сферы. Наблюдения показывали, что «блуждания» планет нельзя понимать просто как равномерное их движение вокруг Земли. Чтобы сгладить противоречия, астрономы вводили дополнительные сферы и объясняли движение планет, прибегая к хитроумной комбинации равномерных круговых движений.

Если многие астрономы рассматривали сферы как геометрические абстракции, помогающие осмыслить сложные движения небесных тел, то Аристотель считал сферы материальными, нетленными, вечными.

В его представлении вселенная — это огромный шар, ограниченный сферой фиксированных звезд; шар, внутри которого с разной скоростью

движутся концентрические кристальные небеса. Их вращение происходит от движения сферы фиксированных звезд, а ею движет находящийся вне вселенной неподвижный «перводвигатель». Вокруг Земли вращаются сферы и, следовательно, все небесные тела.

Обобщив огромный опыт предшественников, Птолемей создал свою систему строения вселенной. Его учение позволяло разрешать практические задачи, связанные с необходимостью рассчитывать движения небесных тел. Птолемей утверждал, что планеты в отличие от Луны, Солнца и звезд, вращаясь вокруг Земли, не совершают правильного кругового движения, а проделывают весьма сложный путь: они перемещаются равномерно по окружности круга — эпицикла, чей центр, в свою очередь, описывает огромный круг — деферент.

Тонкости Птолемеевых исчислений знали немногие, зато основные, к тому же еще и грубо истолкованные, взгляды Аристотеля получили широкое распространение среди хоть сколько-нибудь образованных людей. Христианские богословы приспособили Аристотелево учение для своих нужд: они отбросили мысль о вечности вселенной, а «перводвигатель» стали называть богом. У схоластов авторитет Аристотеля был выше, чем авторитет Птолемея. Долгие века система мироздания, покоившаяся на идеях Аристотеля и Птолемея да на библейском рассказе о сотворении мира, царила в умах.

Книга Коперника, положившая начало великому научному перевороту, вышла из печати за пять лет до рождения Бруно. Однако в школах и университетах задавали тон сторонники Аристотеля и Птолемея.

Мир не укладывался в схему. Наблюдения природы, опыт мастеров и изобретателей, освоение неведомых прежде земель, открытия астрономов заставляли с каждым годом все больше сомневаться в правильности основанных на текстах Аристотеля представлений о мире. Схоластическая философия оказалась беспомощной перед лавиной новых наблюдений. Но, несмотря на это, учения Аристотеля, поддерживаемые церковью[4], сохраняли еще господствующее положение. Их приверженцы, воинственные перипатетики [5], с фанатичным упорством цеплялись за стародавние формулы и всеми средствами подавляли любую критику божественного Стагирита. Тот, кто сомневается во всезнании Аристотеля или, еще хуже, оспаривает доктрины «князя философов», совершает кощунство!

В монастырской школе больше читали труды церковных комментаторов Аристотеля, чем его собственные сочинения. Джордано заметил, как разнятся подлинные мысли этого великого философа от тех толкований, которым их подвергают. Книги Стагирита надолго стали предметом его внимательного изучения. К своему удивлению, он обнаружил, что люди, величающие себя перипатетиками, очень плохо разбираются в Аристотеле. Поклоняются ему, готовы за него умереть, а сами не знают толком, о чем он говорил!

Воспитанный на книгах Аристотеля, Джордано начал находить в них слабые места, противоречия, необоснованные суждения. Особенно много недоумений вызвало учение о природе. Аристотель без достаточных, по мнению Бруно, оснований отвергал интереснейшие мысли своих предшественников. Так ли примитивна их аргументация, как об этом говорит «князь перипатетиков»?

Джордано с головой ушел в изучение философов, которых Аристотель именовал «физиками», — Гераклита, Парменида, Демокрита. Целый мир глубоких и тревожащих мыслей — вселенная, не знающая границ, бесконечный круговорот атомов, текучесть всего сущего, его единство… Перед этой картиной поблекли логичные построения Аристотеля. А приемы, к ко-им он прибегал в пылу полемики, вызывали гнев: он извращал доводы своих предшественников и заставлял этих славнейших мужей рассуждать так, словно они были болтливыми бабами. Аристотель вел себя недостойно — выступал в роли мясника чужих мнений!

Античные атомисты пленили сердце Бруно. Он высоко ценил Демокрита, Эпикура, Лукреция. Поэма «О природе вещей» навсегда осталась одной из любимейших его книг. У него открылись глаза: пора Аристотеля не была золотым веком философии.

Джордано мечтает о всеобъемлющем знании, об универсальной картине мира. Ищет закономерностей, обобщений. А повсюду задают тон педанты: один всю жизнь собирает устаревшие глаголы, другой навсегда завяз в грамматике. Как добраться до вершин, чтобы окинуть взором все вокруг? Джордано очень интересуется вопросами мышления, проблемой памяти, логикой. Процветающая в монастыре зубрежка вызывает у него отвращение. Логика, которой учат, его не удовлетворяет. Где ключ к всеобъемлющему знанию? Книги Раймунда Луллия надолго приковывают к себе внимание Бруно.

Это была незаурядная личность. Богатый испанский дворянин весьма бурно проводил дни своей молодости, пока однажды не пришел к мысли о бренности человеческого существования. Душа его обратилась к богу. Он вступил в монастырь и принялся страстно изучать теологию. Свою миссию он узрел в распространении христианских идей. Ради этой цели не пожалел и жизни. Одна из его поездок к мусульманам закончилась трагически: Луллия насмерть забили камнями.

Он оставил много сложных и путаных сочинений, где предрассудки перемежались с глубокими мыслями. Фанатик богослов, живший в XIII веке, высказывал догадки, оценить которые по достоинству смогли ученые только через несколько столетий. Луллия мучал вопрос, как лучше убеждать неверных в истинности христианских учений. Как вообще строить систему доказательств, чтобы приходить к выводу с математической точностью? Каковы бы ни были побуждения Луллия, работы его в конечном итоге оставили заметный след в истории логики и были важным шагом в развитии «комбинаторного искусства».

О своем «великом искусстве» Луллий писал во многих сочинениях. Процесс познания, по его мысли, состоит в соединении понятий. Найти единый метод для Доказательств всех истин и опровержения всех заблуждений — значит придумать такой способ сочетания понятий, который не опускал бы ни одного из возможных вариантов. «Искусство комбинаций» открывает путь к постижению истины. Нельзя ограничиваться верным построением силлогизмов. «Великое искусство» есть «искусство изобретения»: надо не только уметь делать правильные выводы из готовых посылок, но и находить сами эти посылки.

Как облегчить процесс сочетания различных понятий? Луллий создает своеобразное механическое приспособление, которое должно сделать более надежным процесс отыскания всех возможных комбинаций. Несколько подвижных концентрических кругов. Каждый из них разделен на отдельные секции, «дома», в каждом «доме» определенный знак, символизирующий то или иное понятие. Знаки-понятия сгруппированы по определенной системе. Когда круги вращаются, под каждым из знаков последовательно появляются все остальные. Так отыскиваются все возможные сочетания понятий.

Наряду с изучением работ Луллия Бруно много занимался мнемоникой. К мнемоническому искусству он питал особую страсть.

«Мнемозина — мать всех муз!» Как развивать свою память? Что больше всего помогает запоминанию? Как подходить к изучаемому предмету, чтобы овладеть им в наикратчайший срок? В какой последовательности расположить запоминаемое, чтобы создать прочную цепь ассоциаций?

Джордано упорно совершенствовал мнемонические приемы, неустанно упражнялся. Успехи превзошли все ожидания. Его товарищи по монастырю иногда целыми днями сидели над книгами, чтобы вызубрить наизусть отрывок из библии или поучение кого-либо из отцов церкви. Бруно запоминал прочитанное легко и быстро. Поразительные способности у этого молодого монаха! Молва о нем вышла далеко за пределы монастырских стен. Орденское начальство не скрывало радости: только злопыхатели твердят, будто среди доминиканцев вконец перевелись таланты! О фра Джордано прослышали и в Риме. Кардинал Ребиба, правая рука папы Пия V, проявлял особое любопытство. Бруно было велено доставить в столицу, за ним прислали повозку.

Нигде куртизанки не чувствовали себя так вольготно, как в Вечном городе. Здесь было от кого поживиться: толпы духовных лиц, давших обет безбрачия, знать с деньгой, богомольцы, засматривающиеся на женщин. Рим — превеселый город! Блудниц здесь больше, чем звезд на небе!

Недавно избранный папа, Пий V, был очень строг. Охотно выставлял он напоказ свою монашескую суровость, носил грубую рясу, неукоснительно соблюдал посты, босой, с непокрытой головой участвовал в процессиях. На людях, молясь, плакал. Он, бывший инквизитор, не знал к врагам веры никакого милосердия. Всегда настаивал на самых жестоких приговорах. Считал, что в делах о ереси давность совершенного преступления не должна приниматься в расчет. Если человек когда-то впал в ересь, то пусть прошло и двадцать лет, виновника надо покарать! Когда ему доносили, что в какой-либо местности число осужденных еретиков уменьшилось, он рассерженно хмурил брови. Он не верит, что люди стали лучше, просто власть предержащие коснеют в нерадении! Благочестивейший папа! Правда, он был очень вспыльчив, не терпел возражений и, несмотря на набожность, частенько пускал в ход крепкое словцо.

Пий решительно принялся исправлять нравы. Аббатисам приказал не нанимать на работу мужчин, запретил девушкам содержать харчевни,

неженатым — нанимать служанок, женатым — посещать кабаки. Швейцарцам своей гвардии, привыкшим к разгулу, велел обзавестись женами. Издал новые законы против роскоши, определил покрой и цвет платьев, которые пристало носить только честным женщинам и непозволительно — куртизанкам.

Его новые распоряжения удивили многих. Разве ему не хватает еретиков, дабы удовлетворить свою страсть к крутым мерам, что он вдруг взялся за продажных девиц? Папа грозился, что покончит с их привольной жизнью и наведёт в Риме порядок.

Всем особам легкого поведения было предписано каждое воскресенье являться на проповеди. Лучшие проповедники увещевали их постричься в монахини. В дверях стояла стража: мужчин не впускали. Вокруг церкви толпились сотни разодетых молодых людей. Они дожидались своих милых, чтобы проводить их домой. Не всегда проповеди заканчивались мирно. Женщины всхлипывали, когда речь заходила о спасении души и муках ада. Но они не терпели, чтобы с амвона ругали их образ жизни. Одна из знаменитых куртизанок вступила с проповедником в жаркий спор. Его дело возвещать евангелие, а не поносить ремесло, которое дает им кусок хлеба! Наглую смутьянку увели в тюрьму, а потом публично подвергли нещадному бичеванию.

Пий V не унимался, объявил, что заставит всех блудниц исправно платить налог. Подобное обложение было делом не новым. На вырученные деньги и прежде ремонтировали храмы, мостили улицы, чинили крепостные стены, содержали должностных лиц. Ими, случалось, выплачивали жалованье и университетским профессорам. Чем больше паломников стекалось в Рим, тем больше там появлялось блудниц. Церковные праздники были им очень на руку. Святой престол, изыскивая дополнительные источники доходов, учредил празднования юбилейных лет, когда каждый богомолец, побывав в Риме, получал отпущение грехов. Вначале юбилейным считался первый год столетия, но эта затея приносила столь великую прибыль, что стали праздновать юбилей каждые пятьдесят, а потом и каждые двадцать пять лет. В Риме собирались огромные массы богомольцев. Возможность за деньги очищать совесть и избавляться от грехов давала волю страстям. Паломники, посещая святые места, не забывали и публичных домов. Утомленные созерцанием вековых достопримечательностей, острил

Аретино, они испытывали настоятельную потребность отдохнуть взором на прелестях не столь древних!

Собирать налог оказалось совсем не просто. Женщины, обязанные его платить, были рассеяны по всему городу. Попробуй-ка их переписать, чтобы обложить податью! Они начнут перебираться из квартиры на квартиру и прятаться от сборщиков. Папа намерен покончить с этим раз и навсегда. Он заставит платить всех! Для начала велит публичным девкам сселиться в одно место.

Собрать всех их в отведенном квартале и ночью запирать на замок? Что за напасть! Бедная столица христианского мира! То страдает она от войны, чумы, голода, а теперь должна страдать от папских нововведений! Многие влиятельные люди, видя угрозу своим интересам, стали тайно и явно противиться приказу. Знаменитейшим куртизанкам папа повелел в шесть дней выйти замуж, навсегда отказаться от своей профессии или убираться вон. Десятки красавиц, оскорбленных несправедливостью, гордо покинули Рим. Если Пий V не изменит своего намерения, то двадцать пять тысяч человек, куртизанок и всех, кто кормится за счет их ремесла, будут вынуждены уехать! Город понесет невосполнимые убытки.

Папу обхаживали со всех сторон: кардиналы, содержавшие через подставных лиц публичные дома, торговцы заморской роскошью, владельцы увеселительных заведений, командиры наемников, служащие казны. Его святейшество печется о чистоте нравов? На самом деле блудниц в Риме больше, чем в других городах, но ведь и чужестранцев здесь куда больше, чем где бы то ни было. Папу заботит, чтобы дурной пример не развратил римских матрон? Ссылались на Солона и Ликурга: блудницы в известном смысле оберегают нравственность — распутники меньше покушаются на честных женщин.

Жители Трастевере, района, предназначенного Пием V для куртизанок, возмущенно протестовали. Их улицы всегда полны богомольцев и монахов — каково-то им будет от развеселых соседок? Дворяне горячились. Они лучше сожгут свои дома, чем позволят превратить их в притоны! Казне пришлось не скупиться на компенсацию.

Квартал, обнесенный стеной, будет запираться не только на ночь: ворота останутся закрытыми и в дни поста. А на какие средства тогда жить этим бедняжкам? Его святейшеству самому придется

обеспечивать их пропитание. Финансовые советники деловито подсчитали, во что это обойдется. Сумма получилась изрядная. Пий утешился, когда увидел, что ее с лихвой покроет налог, который теперь нетрудно будет собрать. Он решительно приказал провести намеченное переселение.

Успех этой акции наполнил его гордыней. Пий V стал поговаривать, что вырвет с корнем порок и совершенно избавит Рим от продажных женщин. Святейший отец не ведает, что творит! Он разорит тысячи своих верноподданных и причинит ущерб собственной казне. А главное, слух об этих неразумных гонениях вмиг разнесется по Европе и самым пагубным образом отразится на количестве паломников. Многие едущие с радостью в город святого Петра останутся дома.

Пию V подали петицию. Куртизанок нельзя изгонять! Соображения об экономических последствиях этого шага подкреплялись богословскими доводами: «Разве папа не замечает, что задуманные им действия ввергнут его в противоречие с волей господней? Если бы божьему промыслу угодно было избавить человека от всякого искушения, то было бы легче легкого уничтожить поводы для соблазна. Но господь этого не сделал, дабы верность добродетели ставилась людям в большую заслугу. Папе не подобает стремиться улучшить созданное творцом».

Дальше хвастливых угроз папа не пошел. Он довольствовался тем, что сселил блудниц в одно место и обложил их налогом. Это мало что изменило. Дорогие куртизанки, имея влиятельных заступников в лице вельмож и кардиналов, нашли прибежище во дворцах, а блудницы подешевле были вынуждены жить на отведенных улицах и вносили, если не могли уклониться, положенную подать. Город святого Петра как был, так и остался гнездом распутства. Но Пий V упрямо продолжал изображать поборника нравственности.

Рано научился Бруно распознавать за высокими словами весьма неблаговидные побуждения. Злые языки утверждают, будто папа ополчился против публичных девок лишь для того, чтобы заставить их всех платить налог? Джордано, великий насмешник, делает серьезное лицо. Конечно же, нет! Его святейшество предпринял эти меры, чтобы отделить блудниц от честных женщин и уберечь последних от соблазна и порчи!

Худое лицо, длинная седая борода, глубоко запавшие глаза, суровый взгляд. Монаху из Неаполя велели в присутствии папы

продемонстрировать свои способности. Ему прочли Незнакомый древнееврейский псалом. Он повторил его слово в слово. Кардинал Ребиба был восхищен. И этому искусству можно научиться? Джордано некоторое время обучал его основам мнемоники.

Пию V, римскому первосвященнику, что милостиво призвал его в столицу, Бруно преподнес свое сочинение «Ноев ковчег».

Монастырская жизнь все больше ему не по душе. Дело не в строгости устава, который Джордано умеет преступать, — дело в духовной атмосфере.

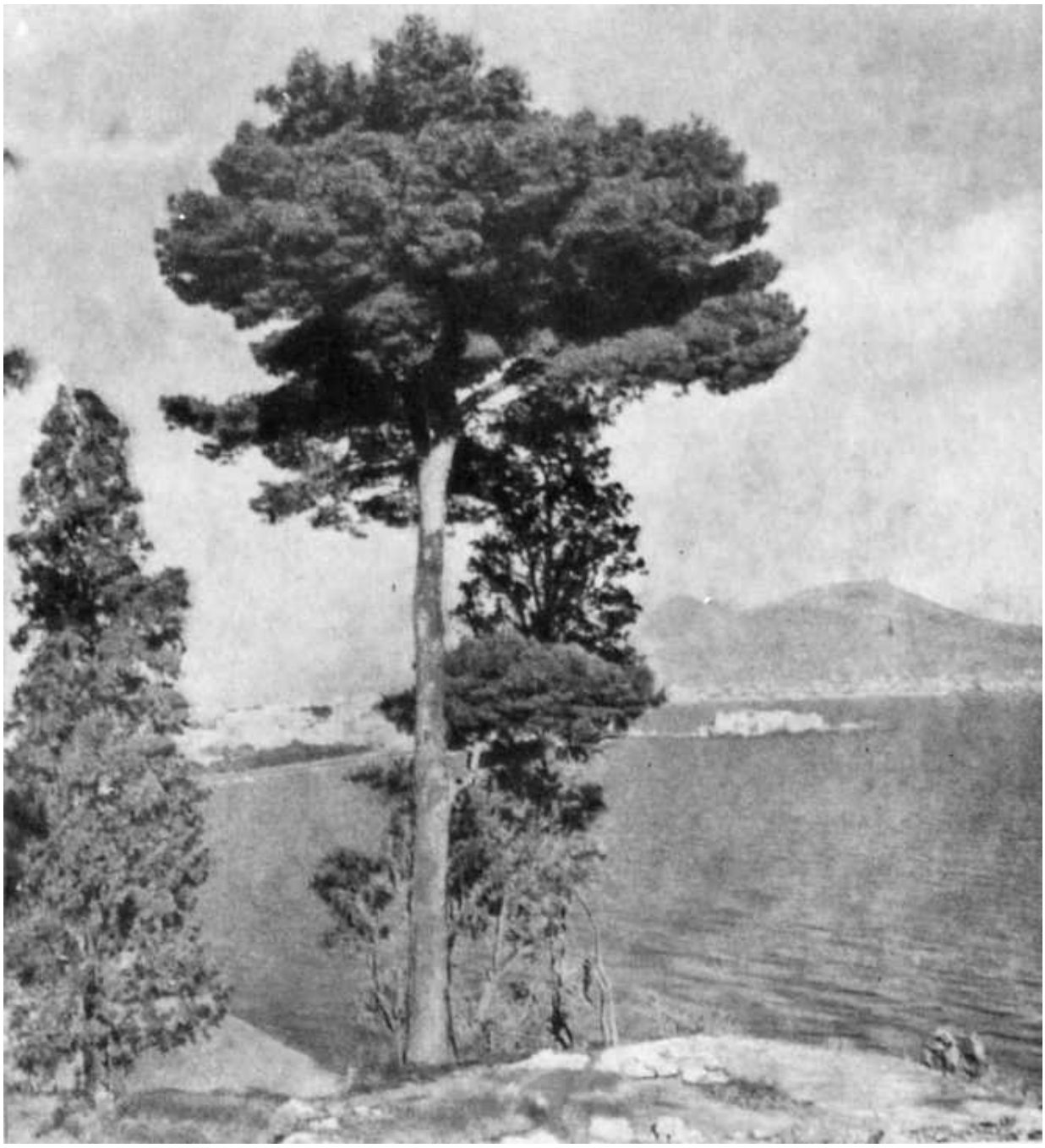
Он вступил в орден, потому что спорившие монахи в белых одеждах показались ему образцом учености. Разочарование не заставило себя ждать: блещущие красноречием доминиканцы, «сыны всевышнего», в действительности были просто ослами! Он прежде думал, что за ссылками на «божественную истину» есть что-то, скрытое от непосвященных, хотел приобщиться к истокам мудрости — и жестоко ошибся. Как только он спрашивал о вещах, которые составляли суть христианской религии, ему отвечали: «Сие происходит непостижимым образом!» Но ведь подобное он слышал и от приходского священника. Чтоб изрекать столь глубокомысленную фразу, не надо годами изучать богословие!

Это было поразительное открытие: знаменитые теологи рассуждают, оказывается, о вещах, которых сами не понимают! Они тратят жизнь на то, чтобы убедить себя и других в необходимости верить в догмы, которые нельзя доказать!

Религия держится на непостижимом и таинственном. Во время литургии таинственным, непонятным для нас образом хлеб пресуществляется в истинное тело Христово, а вино — в истинную его кровь. Как господь воплотился? Неизреченным образом! Как произошло непорочное зачатие и дева родила младенца? Непостижимым образом! Как бог может существовать в трех ипостасях? Непостижимым образом!

Фра Джордано досаждает учителям каверзными вопросами. Его увещевают верить не рассуждая. В людях воспитывают чувство приниженности. Евангелие полно рассказов о праведниках, смиренных и убогих. «Блаженны нищие духом, ибо наследуют они царствие небесное!» В пытливости дух гордыни. Джордано не очень-то соглашается. Осел, выходит, воплощение добродетели и благочестия!

Его убеждают в тщете знаний. Ведь спасают человека не умствования, а вера. Знание лишь увеличивает горести. «Умножающий знания, — изрек премудрый Соломон, — умножает печаль…» Но Джордано стоит на своем. Не для того он пошел в монастырь, чтобы окончательно превратиться в осла. В монастырской библиотеке много книг, и он сам будет доискиваться правды, если учителя не хотят или не могут ему ее раскрыть. Всему, что заставляет сомневаться, надо находить разумное объяснение. Настоящие знания требуют слишком много усилий? Воистину невежество — наилучшая в мире наука, она дается без труда и не печалит душу!



Неаполитанский залив.



Счастливая Кампания

Джордано читает и перечитывает бесчисленное множество богословских трактатов, сочинения отцов церкви, комментарии к ним, сборники проповедей, постановления соборов. С каждым днем ему становится яснее, что разум и христианская вера несовместимы. Вопиющие несуразицы, которыми полна церковная догматика, прославленные теологи объясняют именно тем, что они совершаются «непостижимым образом»!

Он не хочет больше читать ни ученейших богословов, ни заумнейших кабалистов, ни пророков, ни мистиков. С него хватит таинств. Бессмысленные сновидения то и дело выдают за сокровенную мистерию. Нет, он больше не будет тратить жизнь на такую чепуху, когда в природе столько волнующих тайн, не познанных человеком.

Джордано бывает иногда удивительно серьезен, но в нем сидит озорной неаполитанский мальчишка, способный на неожиданные и опасные выходки. Свой разрыв с теологией Бруно подкрепляет символическим жестом. Время его богословских разысканий прошло. Он долго ломал голову над загадочной книгой одного пророка, тщетно силясь найти скрытый смысл в его патетических и сумбурных речах. Хватит! С веселой непринужденностью швыряет он пророка в отхожее место:

— Ты, братец, не хотел быть понятым, а я не хочу тебя понимать!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СУТАНА НЕ ДЕЛАЕТ МОНАХА



Неаполитанские монастыри меньше всего походили на обители анахоретов. Держать в узде буйную братию, привыкшую к разгульной жизни, было очень трудно. За мелкие прегрешения виновника несколько дней кряду сажали в трапезной на пол. Когда остальные поглощали разные яства, он должен был довольствоваться водой и черствым хлебом. Подобные наказания помогали мало. Приходилось прибегать к более действенным средствам. За тяжкие злодейства изгоняли из ордена, судили, ссылали гребцами на галеры. Но тщетно. С каждым годом количество преступлений росло, а дисциплина в орденах становилась все плачевней.

Скандал следовал за скандалом. Монахи в буйстве не уступали студентам. Несмотря на запреты, носили под сутанами оружие и кольчуги, затевали поножовщину, участвовали в грабежах. Убийства и ранения мало кого удивляли: в ход шли палки, камни, кинжалы. Монахи, словно ландскнехты, пристрастились к аркебузам. Охотников

до стрельбы не страшили никакие кары. За серьезное увечье давали до двадцати лет галер, а если раненый умирал, то виновника могли на всю жизнь приковать к веслу. Но выстрелы из-за угла не прекращались.

Начальствующих лиц монахи почитали по принуждению, подчинялись приказам из необходимости. Напакостить власть предержащим считалось за доблесть. В героях ходил тот, кто изрезал епископу шелковые подушки паланкина, отбил девчонку у аббата или налил какой-нибудь дряни в суп отцу эконому. Не обходилось и без насилий: здесь съездили настоятелю по физиономии, там лектор а-богослова проткнули шпагой.

В духовных орденах шла незатихающая борьба. Монахи из народа ненавидели своих привилегированных «братьев», что сжирали львиную долю необъятных монастырских богатств, — всех этих вельможных сынков, епископских ублюдков и папских «племянничков», которые делили меж собой власть и деньги, доходные должности, жирные аббатства, епископские посохи и кардинальские шапки. Сами они живут, как князья, а то и как султаны, остальной же братии твердят о грехах, тычут в рожу уставом и норовят за пустяк посадить на воду и хлеб, сослать в строгий монастырь или отправить на каторгу!

Вражда простых монахов к начальству питалась не только завистью, обидами и неохотой блюсти дисциплину. Аббаты и епископы — это тоже угнетатели, они заодно с сеньорами и поддерживают чужую, ненавистную испанскую власть! Многие уходили из монастырей в отряды фуорушити или помогали им.

Мошенничества и кражи были на каждом шагу. Однажды, подделав подпись аббата, опустошили винный погреб и, упившись до беспамятства, чуть не спалили монастырь. Воровали прямо в церкви. Слуги господни не останавливались перед святотатством. С алтаря тащили драгоценные покровы. А некие клирики и в праздник нашли себе подходящее занятие: пользуясь теснотой, очищали карманы богомольцев. Попавшегося монаха едва не растерзала толпа — у женщины, застывшей в молитвенном экстазе, он ловко снял с шеи золотое ожерелье.

От наказаний было мало проку. Послушник, срезав кошелек, будет ли терзаться угрызениями совести, если владыка, его наказавший, прибрал к рукам почти целое княжество?

А сколько беглых монахов шаталось по дорогам! Многие из них называли себя священниками и справляли недозволенные им требы. Неграмотный неуч перед темными крестьянами выдавал свою тарабарщину за латинскую мессу. Любопытный монашек, слишком еще юный, чтобы принимать исповеди, самочинно исповедовал молоденьких женщин и вгонял их в слезы, дотошно расспрашивая о плотских прегрешениях.

Неисправимые смутьяны, оставаясь в рясах, бродили в компании сомнительных спутниц, толкались на рынках, надрывали животы в балаганах, плясали в харчевнях, учиняли скандалы в веселых домах. Не пристало и разбойникам вести такую жизнь!

Обет безбрачия для большей части духовенства был пустой фикцией. Если кто и страдал от запретов, налагаемых саном, то лишь рядовые монахи. Воздух был пропитан лицемерием. Карали не столько за грех, сколько за неумение грешить без огласки.

За, дух непокорности наказывали куда строже, чем за нарушение устава. Скорее сходило с рук любое распутство, чем искренняя привязанность. Один монах, невзирая на суровые увещания, никак не хотел расстаться с любимой женщиной. Его посадили под замок. Долгое заключение его не укротило. Оказавшись на свободе, он продолжал посещать возлюбленную, родившую ему ребенка. Тогда упрямца сослали на каторжные работы.

Обет безбрачия? Грех? Джордано не принадлежал к тем клирикам, кто после веселой ночи ползал под образами и молил господа о прощении. То, что служит природе, не должно считаться грехом. Он видел, что творилось вокруг, и на всю жизнь проникся ненавистью к лицемерию церковников. Елейные речи и низкие дела! Джордано презирал всех этих блудливых духовников, грешащих в исповедальнях, монахинь, что в страхе перед чумой стремились урвать побольше удовольствий, важных прелатов, согревающих себя мальчиками, и лысых растлителей отроковиц.

Джордано вовсе не походил на нудного, иссушенного книгами моралиста. Разве он откажется от самых сладких плодов, произрастающих в земном раю? Или, жизнерадостный и пылкий, уступит кому-либо хоть на волос в упоительном служении природе?

Бьющая через край энергия находила выход не только в ученых занятиях. Джордано не строил из себя аскета: богу воздавал божье,

кесарю — кесарево.

С нечестивым любопытством вглядывался он в небо. Загадочно мерцали далекие звезды. Что они собой представляют? Души праведников? Божества? Или прикрепленные к небосводу фонарики, единственное назначение которых — светить людям в темные ночи? Или звезды — это другие миры?

Мысль о существовании иных миров казалась Аристотелю нелепой, и он не жалел слов, чтобы доказать это. Однако его аргументы давали пищу сомнениям. Ему не удалось совершенно опровергнуть учение о бесконечности вселенной и множественности миров.

Демокрит учил: миры бесчисленны, они различной величины и отстоят друг от друга на неодинаковые расстояния, одни из них находятся в расцвете, другие разрушаются. Демокриту вторили Эпикур и Лукреций. Вселенная, писал Лукреций, не имеет границ, миров существует множество.

Бруно внимательно изучал книги, где так или иначе говорилось о бесконечности вселенной. Но мало кто из философов оказал на Бруно столь значительное влияние, как Николай Кузанский. Сын рыбака, кардинал, превосходный математик и диалектик, изощреннейший теолог, «божественный Кузанец» за сто лет до Коперника высказывал мысли, которые позже ученым, стремившимся по-новому объяснить вселенную, помогли нанести сокрушительные удары религиозному мировоззрению. Николай Кузанский высказал убеждение, что Земля не находится в центре вселенной. Такого центра вообще не существует, ибо вселенная бесконечна. Земля не пребывает в покое, она вращается вокруг оси и, возможно, совершает путь вокруг Солнца. Противопоставление неба Земле, характерное для Аристотеля и христианских богословов, было чуждо Кузанцу. Он считал, что Земля и другие небесные тела состоят из одной и той же субстанции. В основе их движения лежат одинаковые законы: «Любая часть неба находится в движении». Небесные тела взаимно влияют друг на друга. Земля — одна из множества звезд, на которых есть обитатели.

Бесчисленные миры? Миры обитаемые? Джордано подолгу не расставался с удивительными книгами «божественного Кузанца».

За монастырской стеной шумит Неаполь. Бруно может сутками сидеть над каким-нибудь трактатом, но его отшельничество не

поставишь в пример другим братьям. Фра Джордано снедаем чрезмерной страстью к книгам. Он не довольствуется церковной литературой и ищет каких-то своих путей. Куда только они его заведут!

Он все чаще в сердцах называет монахов ослами и не удивляется, когда слышит невразумительные речи учителей. Среди них много докторов и магистров, которыми гордится доминиканский орден, но ведь все они выросли на глупейших богословских трактатах! Почти всегда они отделываются сентенциями, почерпнутыми из библии. А когда им нечего сказать, они делают особенно глубокомысленный вид и намекают на какую-то мистическую тайну. Любое самое несуразное богословское положение они объясняют волей божьей, проявляющей себя «непостижимым образом».

Прежде ученые монахи казались Бруно сынами всевышнего. Но как при всей своей важности смешны и ничтожны эти равные богам мудрецы! Вот отец провинциал[6], удалившись от грубой черни, прохаживается по залу. Выпятив грудь, шествует с комментированным текстом под мышкой. Поглаживая край рясы, время от времени делает жест, будто бросает на пол блоху, зажатую между большим и указательным пальцами. Наморщенный лоб и поднятые брови свидетельствуют о серьезности его дум.

Лекции он любит заканчивать выразительным вздохом и многозначительной фразой: «Другим философам этого не постичь!» У него круглые удивленные глаза и вид человека, пораженного чем-то необыкновенным. Преподобный отец никогда не сознается, что не в силах чего-либо объяснить. Он всегда понимает самую суть, скрытую от остальных. По поводу любой бредовой книги, написанной каким угодно бесноватым или одержимым, он готов изречь: «О, это великая мистерия!»

Джордано носит сутану, но жизнь Неаполя знает лучше многих мирян. В ушах его звучит сочная речь улицы. Перед ним вереница незабываемо колоритных типов. Иногда, отложив в сторону философские сочинения, он берется за перо, чтобы набросать несколько сценок.

Бруно не стесняется в выражениях. Монах, затворившись в келье, пишет нечестивую комедию.

Тогда Бруно, еще мальчиком, впервые услышал, что существует мнение, будто Земля не стоит на месте, это показалось ему совершенно невероятным. Защищать такую мысль может только безумец! Да и придумали ее, конечно, праздные софисты, которые от нечего делать находят развлечение в спорах и с помощью хитрых уловок доказывают, что белое есть черное. Потом, читая Аристотеля, недоумевал: почему Стагирит не только снисходит до разбора этой ложной идеи, но и в сочинении «О небе» уделяет столько места, чтобы ее опровергнуть. Раз Аристотель так настойчиво высказывает свои соображения, значит его предшественники серьезно верили в возможность движения Земли?

Удивительная мысль! Кажется, что все чувства человека ей противятся. Бруно тщательно взвешивает доводы Аристотеля. Он видит, как тот иногда пристрастно излагает учения пифагорейцев, противоречит себе и основывается на неубедительных аргументах. Но Джордано еще в плену у Стагирита и его последователей, целой когорты греческих, арабских, еврейских и итальянских ученых. Однако он убежден, что мысль о вращении Земли заслуживает самого внимательного изучения. Он читает многочисленные сочинения по философии и астрономии и начинает сомневаться в непоколебимости общепринятого мнения. Теперь мысль о вращении Земли он признает правдоподобной, но признать ее единственно правильной еще не решается. Книга Коперника производит в душе его переворот.

Он родился на берегах Вислы, в Торуни, в купеческой семье. Отец его рано умер, и мальчика взял на воспитание дядя. Николая Коперника с юности готовили к духовной карьере. Однако в Краковском университете его больше всего интересовала астрономия.

Он обстоятельно изучил Птолемееву систему. Продолжать образование Коперника послали в Италию. Здесь ему пришлось штудировать право и медицину, но занятий математикой и астрономией он не прекратил. Коперник получил степень доктора канонического права.

После девятилетнего пребывания в Италии он вернулся на родину. Внешне жизнь текла спокойно.

Он жил у своего дяди епископа и исполнял обязанности лейб-медика. Но голова его была занята мыслями о мироздании. Громоздкая Птолемеева система спотыкалась о новые, добытые наблюдениями

факты. Вносимые исправления еще больше ее усложняли. Среди астрономов царили разногласия. Старания примирить их были тщетными — целостной картины мира не получалось, симметрии между ее частями не было. Как соотносятся движения различных небесных тел? Коперник убедился в шаткости многих математических догм. Вызывало досаду, что философы, не жалеющие труда для выяснения самых пустячных вещей, до сих пор еще не объяснили с должным правдоподобием ход мировой машины. Он углубился в философские книги. Были ли ученые, которые представляли себе движение небесных тел иначе, чем нынешние корифеи школьной науки?

Читая Цицерона, Коперник наткнулся на поразительную мысль: Никетас допускал движение Земли! И, самое удивительное, что он, оказывается, был не одинок. У Плутарха Коперник нашел примечательное место: «Обыкновенно принято, что Земля находится в покое; но пифагореец Филолай допускает, что Земля, как и Солнце и Луна, движется вокруг огня по косому кругу. Гераклит Понтийский, а равно и пифагореец Экфант также придают Земле движение, но не поступательное, а вращательное, вследствие которого она, подобно колесу, по направлению от заката к восходу вращается вокруг своего центра».

Коперник задумался. При всем своем увлечении древней словесностью, он не искал в пифагорейцах авторитетов, чтобы противопоставить их общепринятым взглядам. Их доктрины сохранились плохо. Они говорили о движении Земли? Что это? Смутная догадка, произвольное предположение, твердая уверенность? Мысль пифагорейцев, лишенная доказательств, не имела, казалось, никаких преимуществ перед разработанным учением Птолемея. Но она дала Копернику толчок: нельзя ли, отказавшись от постулата о неподвижности Земли, с большим успехом объяснить видимое мировое движение?

Если Земля не пребывает в покое, то тогда наблюдаемые движения небесных светил — это не их настоящие движения, а только кажущиеся, только отраженные в сознании наблюдателя, который движется вместе с Землей. Раз это так, то замечаемые нами перемещения небесных тел во вселенной объясняются в значительной степени движением самой Земли вокруг Солнца!

Шли годы, и чем больше Коперник углубляла в расчеты, тем ему становилась очевиднее правильность его основной посылки. Определяя орбиты планет, Коперник проявлял необыкновенную изобретательность и остроумие. Но трудности росли. Движения отдельных планет надо было связать в единое целое с движением Земли. Исследование, предпринятое Коперником, требовало от него не только редких математических способностей, но и многих лет труда. Он понимал, что как бы ни усложнялась задача, явления должны быть осмыслены в их взаимосвязи.

Он жил в городке Фромборке, на берегу Балтийского моря, куда переехал после смерти дяди. Исправно выполняя обязанности каноника, Коперник немало занимался вещами, весьма далекими от астрономии: как правовед выступал от имени капитула в постоянных распрях с Тевтонским орденом, писал жалобы на незаконные притязания рыцарей, управлял церковными имениями, обследовал плачевное состояние монетного двора и составлял проект денежной реформы. Ему приходилось постоянно принимать участие в разнообразных и хлопотных делах. Он слыл благожелательным и справедливым. Люди, знавшие о его ученых занятиях, удивлялись, как терпеливо разбирал он крестьянские тяжбы, следил за сбором податей, проверял сельских старост. Обычно Коперник не практиковал как врач, но не отказывал в консультациях и лечил бедняков. Его звали «вторым Эскулапом». Когда вспыхнула, война, Коперник руководил защитой Ольштына.

Среди жителей Фромборка он пользовался особым уважением за свои таланты механика. По его планам и под его наблюдением было построено сооружение, по тем временам невиданное. Река была перегорожена плотиной, к городу прорыт канал, на нем возведены мельницы и башня с черпачным устройством: вода подавалась на соборный холм, а оттуда по свинцовым трубам бежала в дома. Таких водоподъемных машин не знали тогда ни Лондон, ни Париж.

В одной из башен крепостной стены прожил Коперник без малого тридцать лет. Здесь, годами сидя за расчетами, он и совершил свой подвиг. Представлениям, которые господствовали чуть ли не испокон веков и считались незыблемыми, Коперник нанес сокрушительный удар. Он доказал, что мысль о вращении Земли вокруг Солнца, положенная в основу расчетов, позволяет создать куда более

убедительную и достоверную картину вселенной, чем это делает Птолемеево учение.

Коперник настаивал на принципе относительности: «Всякое видимое изменение положения происходит вследствие движения наблюдаемого предмета или наблюдателя или же вследствие перемещения, разумеется неодинакового, их обоих. Ибо при равном движении того и другого, то есть наблюдаемого и наблюдателя, в одном и том же направлении движение незаметно.

…Когда корабль идет по спокойной воде,,все, что находится вне его, представляется морякам движущимся в соответствии с движением корабля; сами же они, со всем с ними находящимся, будто бы стоят на месте. Это же, без сомнения, может происходить и при движении Земли, так что можно прийти к мнению, будто вращается вся вселенная».

Человеку, наблюдающему за небом, представляется, что оно движется с востока на запад. Это кажущееся суточное движение небесной сферы Коперник объяснил вращением Земли на собственной оси, а мнимое годичное движение Солнца вокруг Земли — истинным годичным движением Земли вокруг Солнца.

Коперник опроверг доводы ученых, доказывавших, что Земля — неподвижный центр мира. Он в противоположность Аристотелю считал, что в природе существует «самодвижение». Земля вращается под влиянием внутренней причины. Ее движение естественное, а не насильственное. Поэтому не прав Птолемей, высказавший опасение, что если бы Земля вращалась, то она разлетелась бы на куски. Странно, что Птолемей не страшится за небо, необъятно великую махину, которую заставляет вращаться вокруг Земли!

Если бы Земля двигалась, то облака всегда бы летели только с востока на запад? Коперник разбивает и это сомнение: ближайший к Земле воздух вместе со всем в нем парящим участвует в движении Земли.

Коперник расширил представление о размерах вселенной. Еще Аристотель высказал очень серьезное соображение против мысли о вращении Земли: если оно действительно происходит, то почему тогда люди не видят, как смещается на небосводе положение фиксированных звезд? Почему они кажутся неподвижными? И этому Коперник нашел объяснение. Именно из-за огромных расстояний до звезд и

сравнительно ничтожного радиуса орбиты Земли мы и не замечаем такого смещения [7].

К рукописи своего сочинения Коперник возвращался постоянно. И хотя отдельные ее части были давно готовы, Коперник не торопился с опубликованием. Он все вносил дополнения, уточнял, проверял, придирчиво перечитывал написанное. Инструменты Коперника были далеки от совершенства, небо над Фромборком часто бывало сумрачным, ветер гнал с моря облака, ясные ночи выпадали редко. Но, несмотря на трудности, Коперник продолжал работу. Там, где не хватало зоркости глаз, выручала зоркость ума.

Честолюбие его не подстегивало, и, занимаясь своими исследованиями, он меньше всего думал о славе. Он видел, что его теория противоречит не только мнениям, устоявшимся за века, но и букве священного писания.

Коперник понимал, какой удар наносит церкви его теория, и знал, чем это грозит. Аристарх Самосский учил, что Земля, вращаясь вокруг собственного центра, совершает и движение вокруг Солнца. Его обвинили в безбожии и вынудили покинуть Афины. В черновиках Коперник упоминал Аристарха. Потом, поразмыслив, зачеркнул страницы, где говорил о Филолае и Аристархе. Хотя со смерти Аристарха и прошло почти две тысячи лет, нехватки праведников, жаждущих обвинять ученых в безбожии, не ощущалось!

Однако взглядов своих Коперник не держал в тайне и высказывался против Птолемеева учения. Молва об его поразительных идеях разнеслась широко. Досужливые насмешники нашли обильную пищу для шуток. Земля, оказывается, вертится! Животы надрывали и в Польше и в Германии. Коперника высмеяли с театральных подмостков. В Виттенберге о новой доктрине прослышал и Лютер. Библия совершенно ясно говорит, что движется Солнце, а не Земля. Когда Иисусу Навину надо было отсрочить наступление сумерек, чтобы засветло одолеть филистимлян, он обратился к богу, и тот на время остановил Солнце. А какой-то Коперник твердит, что движется Земля! Лютер назвал его глупцом. Меланхтон присоединился к мнению учителя и не преминул указать на вред подобной глупости.

Хула и насмешки не могли остановить Коперника. Для друзей он составил краткое изложение своей теории. Вскоре многие астрономы Европы знали суть его взглядов.

Ретик, молодой виттенбергский профессор, загорелся желанием познакомиться с Коперником и поехал к нему. Коперник радушно его принял, а глазное, допустил к рукописям. Собираясь во Фромборк, Ретик думал пробыть там недолго, а прожил целых два года. Он стал одним из самых пылких приверженцев нового учения.

Когда после долгих колебаний Коперник решил опубликовать свой труд целиком, то не ограничился астрономическими теориями, а осмелился во всеуслышание заявить, что пренебрегает голосами пустых болтунов, которые, ссылаясь на священное писание, попытаются его опровергнуть. Людей науки не должны останавливать насмешки благочестивых невежд.

Среди учтивых фраз обращения к папе Коперник высказал уверенность, что то или иное место библии не может служить опровержением научных взглядов. Он приводил в пример назидательный конфуз, происшедший с одним из отцов церкви: «Не безызвестно, что знаменитый Лактанций, не особенно, ©прочем, сведущий в математике, довольно ребячески рассуждал о фигуре Земли, насмехаясь над теми, которые считали ее шаровидною».

В этих словах еретическая мысль, которая вскоре станет знаменем в борьбе науки против засилья церкви: библия и церковные авторитеты не должны быть критерием в познании природы!

Рукопись Коперника переслали Ретику, пожелавшему следить за печатанием. Но тот не смог выполнить своего намерения и вынужден был поручить надзор за изданием Осиандеру, лютеранскому богослову и любителю астрономии. Осиандер самовольно выбросил введение и заменил его анонимным предисловием, где выдавал Копернику систему за отвлеченную гипотезу, придуманную будто бы лишь для удобства исчислений. Глупцом, мол, окажется тот, кто воспримет это учение за истину. Название Осиандер перекроил тоже на собственный лад. Изданное в Нюрнберге сочинение называлось «Об обращении небесных кругов».

24 мая 1543 года Копернику доставили экземпляр книги, которая была делом его жизни, его бессмертным подвигом. Но он уже не мог ни радоваться ее выходу, ни возмущаться низким поступком Осиандера. Силы его были исчерпаны. В тот же день он умер.

Знакомство с сочинением Коперника было одним из важнейших событий в духовной жизни Бруно. Он восхищался создателем

замечательного учения. Коперник по своей природной рассудительности далеко превосходил Птолемея и других великих астрономов. Он не побоялся в одиночку противостоять потоку ложных верований и предвозвестил новый восход истинной античной философии. Плоды его редкостного гения подтвердили правоту столь чтимых Бруно древних философов. Земля движется! Радость Джордано не знала границ.

Анонимное предисловие к Коперниковой книге вызывало досаду и возмущение. Нередко считали, что написано оно самим Коперником. Бруно не дал себя провести. Какой-то самонадеянный осел взялся уверять, будто теория Коперника придумана только для облегчения расчетов! Это дурацкое предисловие противоречит всей книге. Коперник не только убежден в движении Земли, но и всеми силами это доказывает!

Джордано больше не сомневался. Мысль о движении Земли теперь не казалась ему просто правдоподобной. Он находил ее единственно правильной и воздавал Копернику дань восхищения. Однако на многие вопросы, волновавшие Бруно, новая теория тоже не давала ответа. Коперник принимал, что все звезды находятся на одинаковом расстоянии от Земли. Он не отказался от сферы фиксированных звезд. Земля, утратив свое срединное положение, оставалась одним из маленьких шаров внутри огромного шара, включающего в себя все мироздание? Сфера неподвижных звезд ограничивала вселенную. Мир был конечным.

Идут года, и фра Джордано, как и другие монахи, поднимается по лестнице церковной иерархии. В положенное время становится субдьяконом, потом дьяконом. А через шесть с половиной лет после принятия в послушники получает сан священника.

Ему дают назначение в Кампанью, что лежит в горной местности, в сорока милях от Неаполя. Это далеко не захолустье. Оживленный и богатый город имеет юридическое училище и два монастыря.

Свою первую обедню Бруно отслужил в приходской церкви монастыря святого Бартоломео. Монастырь был из строгих, сюда под надзор неумолимого настоятеля частенько ссылали монахов, повинных в плотских прегрешениях. Долго ли Ноланец будет свершать мессы и читать душеспасительные проповеди?

В конце мая 1572 года ему передали предписание провинциала. Отец Джордано должен препоручить свои обязанности викарию и немедленно выезжать в Неаполь.

Ему здорово повезло! Амброджио Паскуа, нынешний провинциал, оказал Бруно добрую услугу. Его приняли в студенты высшей богословской школы при Сан-Доменико Маджоре. Попасть в число десяти человек, которыми ограничивается набор, сложно. Теперь целых три года он будет избавлен от свершения ненавистных треб, рядом опять будет богатейшая библиотека, и он сможет много времени уделять своим собственным занятиям.

Европа разделена на неприятельские станы. Граница проходит в душах. Часто под одним кровом живут непримиримые враги, за одним столом сидят люди, считающие друг друга еретиками. Католик ненавидит протестанта, гугенот жаждет погибели католика. Фанатизм застилает глаза. Не лучшее ли средство доказать истинность своей веры — перебить с помощью божьей всех инакомыслящих? Руки тянутся к оружию. Сын поднимает кинжал на отца. Истинная вера только одна, и ее враги — враги господа! Нетерпимость разрушает семьи, отравляет своим ядом народы, толкает государства в пучину войны.

Для ловких политиков крики о защите религии — надежнейший способ прикрыть низкую корысть. В Нидерландах, подавляя восстание против испанского ига, свирепствует кровавый герцог Альба. В католических странах жгут на кострах отступников — лютеран и кальвинистов. В Англии пытают католиков. Во Франции давняя религиозная распря выливается в кошмары Варфоломеевской ночи.

Ее готовят исподволь. Екатерина Медичи убеждает своего сынка, слабовольного Карла IX, что необходимо воспользоваться удобным моментом и покончить с гугенотской заразой. В Париж по случаю бракосочетания Генриха Наваррского с сестрою короля съехалось много гугенотов. Карл клятвенно обещал им безопасность. В ушах еще звучит веселая музыка празднеств, а он уже дает себя уговорить. Герцог Гиз берется все тщательно подготовить. Горожанам, ярым католикам, раздают оружие, собирают их в отряды и каждому назначают свой квартал. Городские власти предупреждены: все гугеноты переписаны, дома их должны быть отмечены крестами. Ворота все заперты, на Гревскую площадь привезены пушки, лодки

замкнуты на цепи, вдоль берегов Сены, чтобы никто не спасся вплавь, расставлены меткие стрелки.

Ночью раздается набат. В миг загораются факелы и фонари. На улицах светло. Не скроешься ни в подворотне, ни в углу. «Слава Иисусу! Бей еретиков!» И начинается невиданная резня. Под ударами убийц гибнут невежды и ученые, фанатики и атеисты, вольнодумцы и верующие. Никого не щадят. Стреляют в упор. Разбивают головы старикам, режут женщин, топчут младенцев. «Слава Иисусу!»

Даже в Лувре идет бойня. Гугенотов сбрасывают с лестниц и приканчивают во дворе. Вдовствующая королева со своим семейством выходит на балкон полюбоваться зрелищем. Мостовые залиты кровью. Чем больше повсюду растерзанных тел, тем сильнее ожесточение. Париж бьется в кровавом безумии. Карл не может удержаться. Через окно он видит чьи-то спасающиеся бегством фигуры — бей! — он хватает ружье, стреляет.

На площади какой-то мясник деловито повторяет одно и то же: перед ним ставят на колени очередную жертву, он взмахивает длинным мечом и рубит голову. Мальчишки волокут куда-то убитого ребенка. У реки толпа: гугенотов по нескольку человек связывают веревками и топят. Тех, кто не сразу идет ко дну, бьют с лодок веслами по голове.

Резня не ограничивается столицей. В провинции тоже велено не щадить врагов господа и короля. Избиение продолжается несколько дней. Благодатное время, чтобы сводить личные счеты, избавиться от конкурентов, погубить соперника, захватить чужое добро, спорное имение, богатое наследство, выгодную должность. Так ли важно, какому богу поклоняется ваш недруг, если в кровавой суматохе можно безнаказанно раскроить ему череп?

Разъяренной толпой нередко предводительствуют священники: «Бей еретиков! Слава Иисусу!» Его имя славят убийцы, и с его же именем на устах умирают их жертвы. Захваченных гугенотов заставляют убивать друг друга. Издеваясь, злорадствуют: «Где же ваш бог, раз он терпит такое?»

Тысячи убитых в Париже, десятки тысяч по всей Франции. Рьяные католики торжествуют победу. Голову адмирала Колиньи, вождя гугенотов, решают послать в Рим. Благодарственные молебны следуют один за другим. В городах устраивают пышные процессии. На рынках бойко торгуют брошюрками с восторженным описанием учиненной

резни. В честь Карла IX, «укротителя мятежников», выбивают медаль. Филипп II шлет французскому королю наиискреннейшие поздравления. В Риме ликует папа. Католическая церковь одержала беспримерный триумф над своими врагами!

Бруно страстно ненавидит религиозные распри. Европа залита кровью. Люди, называющие себя христианами, режут друг друга. Религия всепрощения и любви на деле оказывается религией ненависти и междоусобиц. В ней источник нетерпимости и насилий. Человек становится человеку злейшим врагом, чем лютый зверь. И все это во имя Христа!

Когда-то, еще будучи послушником, Джордано выбросил из кельи иконы, но оставил распятие. Годы, проведенные в монастыре, запретные книги и вести о кровавых событиях навсегда избавили его от всякой веры в Спасителя. Под сутаной бьется сердце, полное ненависти к христианству.

Занятия в богословской школе идут своим чередом. Джордано исправно сдает экзамены, удивляя наставников своими познаниями. Студенты-теологи пользуются рядом преимуществ. Приор может иногда освобождать их от церковных служб. Им по ночам разрешается жечь в кельях свет и читать. Да и доступ к книгам свободней, чем для остальных монахов. Сокровища богатейшей библиотеки в ка-кой-то степени примиряют Джордано с бессмысленностью монастырской жизни.

Он все глубже уходит в философию. Дни открытий сменяются днями сомнений. Одно время ему кажется, что в учении Гераклита он нашел ключ ко всему. Он чувствует себя прозревшим. Прозревшим? Но разве не слепец тот, кто видит только изменение вещей и не замечает их постоянства?

Прозрел он на какое-то мгновение и снова погрузился в темноту. То, что было ясным, становилось при дальнейшем рассмотрении сомнительным. Проблемы, почти решенные, поражали своей сложностью. Мысли, которые, как он думал, помогли ему доискаться истины, обращались против него самого. Они лишали покоя, преследовали, словно гончие.

Он мыслил образами и часто вспоминал миф об охотнике Актеоне. Тот однажды увидел Диану купающейся в источнике. Разгневанная богиня превратила его в оленя, и собственные же псы разорвали

Актеона на части. Не походит ли он, Джордано, на Актеона, когда в погоне за истиной сам из охотника становится дичью? Аллегория была навязчивой, и Джордано писал:

Средь чащи леса юный Актеон
Своих борзых и гончих псов спускает,
И их по следу зверя посылает,
И мчится сам по смутным тропам он.
Но вот ручей; он медлит, поражен, —
Он наготу богини созерцает:
В ней пурпур, мрамор, золото сияет.
Миг — и охотник в зверя обращен.
И тот олень, что по стезям лесным
Стремил свой шаг, бестрепетный и скорый,
Своею же теперь растерзан сворой…
О разум мой! Смотри, как схож я с ним:
Мои же мысли, на меня бросаясь,
Несут мне смерть, рвя в клочья и вгрызаясь.

О донна Моргана! Джордано счастлив. Он, наконец, встретил женщину, которой мог поверять свои сокровенные мысли. Она надолго вошла в его жизнь. Бруно читал ей написанное, приносил стихи.

Мало к кому испытывал он такое чувство признательности, как к синьоре Моргане. Ее тонкий вкус, широкие и разнообразные интересы удивляли и радовали его. Многим он был обязан ей. Никто не мог, как она, охладить трезвым замечанием его излишне жаркую речь, отметить ненужную грубость стиля, укорить за легкость, с которой он, увлекшись, перескакивал с одного на другое.

Он очень дорожил ее помощью. Как терпеливо преодолевала она его резкость, как заботливо и любовно возделывала поле его души! Бруно восторгался донной Морганой, мудрой, прекрасной и щедрой.

Она боялась за него. Его нечестивые речи звучали слишком воинственно. Но Бруно не хотел слушать никаких предостережений. Откуда в нем берется такая дерзость? Он смеялся. Истинная философия не только просветляет ум, но и возвышает дух! У него много могущественных врагов? Что значат эти враги? Время возьмет свое! Да, он прекрасно понимает, что сейчас не ему улыбается солнце. Однако, донна Моргана, людей, что ныне наслаждаются светом дня,

ждет закат, а Ноланец, несмотря на окружающую тьму, уже различает вдалеке зарю!

Его уверенность граничит с безрассудством. Но кто знает, что больше всего привлекает синьору Моргану в этом необычном человеке, чьи слова и поступки так не вяжутся с белой монашеской рясой? Но она благодарная слушательница.

О донна Моргана, так же любите Ноланца, как он любит вас!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СЧАСТЬЕ СТРАСТИ



С братом Джордано происходило что-то непонятное.

Он, так любивший сутолоку неаполитанских улиц, задорную перебранку женщин, подмостки комедиантов и сочные реплики зрителей, превратился в сосредоточенного и молчаливого затворника. Что на него нашло? Может быть, спохватившись, он решил, пока не поздно, подумать о своей духовной карьере и в порыве расчетливого благочестия отвернуться от греховной жизни? Но он пренебрегал обязанностями, пропускал службы и постоянно вызывал нарекания начальства. Отказывался от полных соблазна вылазок в город и без всякого интереса выслушивал рассказы о чужих похождениях. С каких это пор фра Джордано совершенно остыл к красоткам, потерял вкус к аспринии, забыл манящую полутьму харчевен и аромат жаркого?

На окружающих он производил странное впечатление: жадный ко всему неизведанному, порывистый и неугомонный, Бруно, казалось, совсем о себе не думал и ничего не боялся, словно для него не

существовало будущего, настоящее же принимал с крайней бесстрастностью. Он не стремился к похвалам наставника, был глух к попрекам аббата, захворав, не жаловался на боль, не замечал холода в келье, не просил новой рясы, хотя износилась старая, забывал о трапезах, мало спал. Неужто он и впрямь, узрев бездну непостижимого, тронулся умом?

Но он не впал в недуг и не потерял рассудка. Все свои силы и помыслы Джордано отдавал философии. Молва о его способностях давно вышла за пределы монастыря, его посылали в Рим напоказ папе, его ученость ввергает в изумление собратьев доминиканцев. Но может ли он быть собой доволен? Чего он достиг за эти годы? Сотни изученных книг, а в итоге? Вместо одних сомнений— другие. Он корил Аристотеля за воздушные замки. А в чем преуспел он сам? Много ли у него мыслей, о которых можно с уверенностью сказать, что они не воздвигнут на песке ложных посылок? Что стоящее знает он о вселенной?

Его увлечение греческими атомистами продолжалось долго. Он ценил их куда выше, чем Аристотеля. Однако с годами Джордано стал замечать, что они подчас упрощенно понимали многообразие и сложность природы. Форма это только случайное расположение материи? А не заключена ли в ней активная потенция? Что хотел сказать Гераклит, когда утверждал, что все вещи суть единое, благодаря изменчивости все в себе заключающее? Как взаимосвязаны форма и материя?

Его окружают тысячи нерешенных вопросов. Но разве в этом главная беда? Знать хотя бы, что движешься в верном направлении и не ловишь сетью ускользающие призраки? Или он, как Актеон, чем стремительней бежит, тем дальше от цели? Все глубже и глубже в дебри непроходимого леса уводит его Диана. Временами кажется, что богиня уже близко, а потом вдруг она совсем теряется из виду. Теперь он понимает еще меньше, чем прежде!

В глубокой пещере царит полутьма. Люди в оковах. Перед их глазами только стена. Они не могут повернуться и посмотреть, что позади. А за их спиной длинной вереницей идут носильщики, которые несут различные сосуды, изображения, статуи. Но люди видят не их, а только отбрасываемые ими тени. Эту игру теней и принимают они за реальную жизнь…

Бруно очень любил Платона, зачитывался его глубокими и поэтичными диалогами, жил в мире его образов. Человек, учил Платон, подобен пленнику в пещере: то, что он способен воспринимать чувствами, не больше, чем тени идей, идей вечных, неизменных, созданных богом. Кажущаяся реальность лишь тени, воспринятые глазами скованного узника.

Неужели и он, Бруно, обречен всю жизнь пребывать в подземной пещере и видеть одни только обманчивые, колышущиеся силуэты, одни только тени идей?

«Умножающий знания, умножает печаль…» Он часто слышал эти горькие слова премудрого Соломона. Бегите, мол, от того, что увеличивает ваши горести, отрекитесь от пытливой мысли! Бог любит простодушных, а не умствующих. Апостол Павел учил не полагаться на знания, а Блаженный Августин утверждал, что незнание больше, чем знание, приближает к богу. Теологи постоянно говорили о непостижимости тех или иных богословских истин: в них надо верить, а не пытаться их понять. Жития святых превозносят чудеса, которые господь, посрамляя гордыню ученых, совершает через праведных неучей. Благочестивое невежество становится добродетелью, святая ослиность — примером для подражания! Бруно по горло сыт такими поучениями. Он слагает «Сонет в честь Осла»:

Священная ослиность, святое отупенье,
О глупость пресвятая, блаженное незнанье,
Одна ты нашим душам даруешь назиданье,
Ведь не приносят пользы ни ум, ни обученье,
Бесплоден труд познанья, бессильно вдохновенье,
Философов мудрейших бесцельно созерцанье,
Ив небеса проникнуть напрасно их старанье —
Там для тебя, ослиность, готово помещенье.
Любители науки! А вам-то что за горе!
Зачем вы знать стремитесь, каков закон вселенной
И есть ли в сфере звездной земля, огонь и море?
Священная ослиность в невежестве блаженна,
Упавши на колени, с покорностью во взоре,
Пришествия господня с молитвой ждет смиренной.
Все в этой жизни тленно,
Но вечный мир дарован блаженному покою,
Чем бог нас награждает за гробовой доскою.

Вера нуждается в ослах, ослам удобней всего с верой, а людям необходимы свобода мысли, знания, нужна настоящая наука! Бруно отринул религиозное мировоззрение. В философии ищет он то, чего не могла ему дать религия. Ему чужда мысль, что жизнь на этом свете — короткая, тягостная и греховная побывка, лишь предваряющая вечное пребывание в мире ином. Но в чем же смысл человеческого существования? И где тот нравственный идеал, к которому надо всегда стремиться? Джордано внимательно изучает этические учения древних философов.

Он отдает много сил, чтобы разобраться и в том, насколько правы философы, сомневающиеся в возможности познавать окружающее. Основательно занимается пирронистами. Их идеи быстро его разочаровывают. Он сам ценит сомнение, но то, которое помогает избавляться от ложных взглядов. Чем больше вещей заставляли его в монастырской школе принимать на веру, тем сильнее становились его сомнения. Но здесь сомневались во всем: воздерживались от суждений, не утверждали, не отрицали, а только задавали вопросы. Бруно удивляет противоречивость пирронистов. Если они думают, что постигнуть вещи невозможно, то к чему все их вопросы? Чем тогда они отличаются от Данаид, непрестанно наполняющих бездонные бочки?

Пирронисты объявляют истину непознаваемой, не доверяя ни разуму, ни чувствам. Они иронизируют над последователями Эпикура и Стой. Но что полезного сделали они в изучении природы? Что противопоставили взглядам, которых не принимали? Джордано не по душе все эти «сомневающиеся» и «воздерживающиеся». Они не хотят ни обучать, ни учиться, а только, чтобы казаться умнее других, отрицают чужие достижения.

Бруно не прельщают софизмы, какими бы остроумными они ни были. Вопрос о том, познаваем мир или нет, имеет для него первостепенное значение. Речь идет не об одной из интересующих его философских проблем, а о вопросе, от решения которого для него зависит очень многое.

Ко всем, кто говорит о тщете знаний, Бруно питает острую неприязнь. Древние философы и современные писатели, рядящиеся в дешевую тогу скептиков, не сродни ли богословам, учащим презирать разум? И те и эти в конечном итоге — жрецы невежества, что толкают людей поклоняться ослу.

Он постоянно читает и слышит разглагольствования о том, что теперь-де возродились античные науки и нынешние ученые могут потягаться славой с мудрецами Эллады и Рима. Действительно, латынь очистилась от варварской неуклюжести и греческая речь засверкала во всем своем блеске. Усердно трудятся печатники, выходит множество книг. Любой краснобай мнит себя Демосфеном, а школьные учителя, розгами вбивающие в мальчишек грамматические правила, уверены, что говорят не хуже Цицерона.

Джордано не разделяет восторга многих своих современников. Он совсем не убежден, что науки переживают расцвет. «Князя перипатетиков» изучают, правда, по исправленным текстам, но велик ли толк? Аристотеля Бруно называет палачом чужих мнений, видит в нем человека, который немилосердно обошелся с учениями своих предшественников. Для Бруно возродить античную философию — значит возродить именно ту философию древних греков, что больше всего пострадала от ярости перипатетиков. Но этого нет и в помине.

Мысли должны возродиться, а не слова! Самое ценное, что было в древней философии, остается под спудом. Зато раздолье буквоедам: старые тексты, новые тексты, забытые выражения, новые слова! Составляют лексиконы, антологии, хрестоматии, компендиумы, радуются правильно поставленной запятой, а в главном — в

представлениях о мире, о природе, о вселенной — слепо следуют учениям двухтысячелетней давности! Воспринимают как откровение каждую букву у Аристотеля и не хотят видеть, что творится вокруг. Ожесточенно спорят по самым разнообразным вопросам, а аргументы — ссылки на тексты! Ученых, которые настолько неблагоразумны, что подмечают в природе явления, неизвестные Аристотелю, подвергают хуле и поношению. Все, что нужно знать о мире, есть у божественного Стагирита, а если у него чего и нет, то этого, следовательно, вообще не существует!

Живая мысль не в чести. Препарируют тексты, анатомируют фразы, выхолащивают мысли, но дрожат над буквой. Кричат о возрождении, кичатся ученостью и называют себя гуманистами. Бруно зовет их иначе. «Грамматиками» или «педантами» величает он людей, которые верность букве ставят превыше всего. Не очень-то важно, носят они светское платье или рясу, Тычут пальцем в Аристотелев текст или в священное писание.

Нет, с синьорами гуманистами, что отгораживаются от жизни частоколом цитат, ему не по дороге!

Он все яснее видит, сколько вокруг нерешенных вопросов. Важнейшие отрасли науки ждут своих настоящих исследователей. Работы — непочатый край. А на что тратят время многие способные люди? Иссушают свой мозг в богословской схоластике, ожесточенно препираются, как понимать то или иное место у Аристотеля, пытаются подражать древним, пересказывая на новый лад и куда хуже старые истории, — занимаются тысячью неважных или вовсе бесполезных дел. А чему отдают силы толпы поэтов? Джордано превосходно знает и классическую поэзию и современную. Он влюблен в Лукреция — в стихах должна быть прежде всего стоящая мысль! Книжный рынок заполнен любовными виршами. Жалкие подражатели Петрарки на все голоса превозносят своих милых, настойчиво и однообразно твердят о сердечных муках, которые им доставляют их бесчисленные Лауры и Стеллы. Самого Петрарку Бруно тоже не жалует: всю жизнь только и петь, что о своих любовных томлениях, — занятие малопохвальное! Но еще больше ему ненавистны стихоплеты, готовые по незначительнейшему поводу разразиться одой или сонетом.

Человеку отпущено очень мало времени. Жизни не хватит на важное дело, так как же растрачивать драгоценные дни на пустяки! Джордано полон опасений и тревоги: лишь бы не связать себя стремлением к

недостойной цели, не загубить жизнь в погоне за вещами, которые ниже способностей и возможностей человека. Главному надо отдать все силы. Но в чем это главное? Что есть благо? В чем, наконец, смысл человеческой жизни? В спасении души? Он не испытывает ничего, кроме отвращения, когда видит, как истязают себя некоторые монахи. Умерщвляют постами плоть, вгоняют себя в чахотку, не стригут волос, веригами и плетьми портят собственную шкуру — и надеются такими низкими средствами достичь блаженства!

Древние философы учат: чем глубже постигает человек путем умозрения истину, тем совершеннее он становится. Поэтому стремление к истине — высшее стремление человека.

Стремление к истине? Джордано не хочет обманывать себя. Стремиться всю жизнь к тому, чего нельзя постичь? Если мир вообще непознаваем, тогда эти стремления только погоня за тенями, которые не составляют сути вещей, бессмысленная погоня за рожденными в мозгу призраками и химерами. Выходит, стремления познать истину напрасны? Но ведь бессмысленное не должно быть смыслом жизни!

Вопрос о познаваемости мира был связан с множеством других проблем. Решение не давалось. Джордано навсегда сохранил в памяти эту тяжкую пору непрестанных поисков, испепеляющего труда, неудач, огорчений. Временами им овладевало безысходное отчаяние. Мысль заводила его в такие чащобы, что он не знал, как оттуда выбраться. Вот забрезжит впереди просвет, он напрягает силы, чтобы пробиться к нему, но препятствия растут и становятся непреодолимыми. Преграды, преграды, тысячи разных преград — одни ставятся внешними причинами, другие его собственной ограниченностью. Неужели он должен отступить? Иногда ему казалось, что он видит истину, но видит ее смутно, словно сквозь щели в стене. Как хотелось ему обрушить эту стену! Различные явления, постигаемые чувствами, не связывались воедино. Пленник в пещере, он по-прежнему наблюдает только игру причудливых теней?

Он обессилен долгой и тщетной борьбой. Неисчерпаемость природы, беспредельность ее загадок и тайн ввергают его в смятение. Зачем он казнит себя этой безумной погоней за ускользающей истиной и всем своим существом стремится к тому, чего не может постичь?

У него опускаются руки. Он проклинает свою пагубную страсть. Отступить? Какие бы доводы ни приводил разум, чтобы доказать

безнадежность поиска, Бруно напряжением воли заставляет себя следовать дальше.

Он подолгу не выходит из кельи, не спит ночей. Кое-кто из монахов искренне недоумевает: за какой грех наложил он на себя такую епитимью? Разве понять им, что его неволя прекрасней иной свободы, а его муки слаще любых наслаждений! Когда он, осунувшийся и усталый, появляется в трапезной, за его спиной перешептываются монахи. Брат Джордано, видать, и впрямь обезумел! Обычно столь вспыльчивый и острый на язык, Бруно не принимает этого за оскорбление. Обезуметь от занятий наукой — далеко еще не худший вид безумия!

Приятелям искренне жаль, что Джордано обрек себя на затворничество. Их сострадательность только злит Бруно: чем они могут соблазнить его, когда склоняют сбежать в город, махнув рукой на печали? Они вполне довольны собой и теми немудрящими утехами, которые торопятся урвать. Невежество поистине мать чувственного блаженства.

Резкость суждений совсем не свидетельствует об умиротворенности. Джордано нередко влекло из крайности в крайность. Он далек от гармонии. Его обуревали страсти. Но он научился держать их в узде. В чем добродетель? В презрении к излишеству, в сознании, что все преходяще, в стойкости и внутренней уравновешенности. Человек должен быть готов к любым напастям судьбы, чужд гордыне, воздержан в наслаждениях.

Волю, подчиняющую главной цели разноголосицу помыслов и желаний, Бруно сравнивал в стихах с капитаном, что звуками трубы сзывает под свое знамя солдат: одни идут неохотно, иные и вовсе не повинуются. Его собственному капитану подчас приходилось туго. Джордано говорил об этом очень образно и далеко не миролюбиво. Пощады к темным силам, которые смущали душу, он не знал: одних умерщвлял шпагою гнева, других изгонял бичом презрения. Воля управляла страстями с помощью руля разума, наперекор волнам природных порывов буйства.

Он высоко ценил значение воли. Опускаются руки, не видно дороги, далека цель, но волевой человек дойдет до конца. Какими бы пугающими ни были сомнения, как бы ни увеличивались препятствия, он не откажется от дальнейших поисков. К истинному знанию путь тяжек. «Невежество, — говаривал Бруно, — лучшая в мире наука, она дается без труда и не печалит душу!»

Вновь и вновь возвращается он к вопросам, которые не может разрешить. Философия для Бруно — это не умозрительные рассуждения, единственная цель которых совершенствование самого философа. Вопрос о познаваемости или непознаваемости мира для него слишком важен, чтобы принимать желаемое за действительное. Он, Бруно, должен быть уверен, что стремления познать мир не напрасны, что люди в своих вечных поисках истины не топчутся на месте, а идут вперед.

Бруно старается не пропустить ничего, что так или иначе связано с теорией познания. Особенно внимательно изучает Платона, Плотина, Марсилия Фичино. Неужели все-таки правы философы, утверждающие, что человек воспринимает чувствами только тени вечных идей и что мир, залитый солнцем мир, больше всего походит на пещеру, где в полутьме прозябают скованные цепями люди?

«Платон мне дорог, но истина дороже!» Аристотель подверг Платоново учение об идеях основательной критике, вскрыл его противоречивость и доказал, что вымышленный мир вечных идей совершенно не помогает объяснению существующего мира. Реальное бытие существует прежде, чем чувственное его восприятие. Идеи, которые Платон называл сущностями вещей, не могут существовать отдельно от вещей В основе познания лежат ощущения. «Тот, кто не ощущает, ничего не знает и ничего не понимает».

Но Аристотель непоследователен. Он, отринувший «мир вечных идей», начинает себе противоречить, когда рассуждает об общих понятиях и формах, будто бы существующих независимо от материи.

Выбраться окончательно из Платоновой пещеры с ее тенями Бруно помогли учения греческих материалистов, а также сочинения Авицеброна, Фракасторо и Телезио. Говорить о «вечных идеях», существующих вне материи, — это значит создавать химеры!

Бруно углубляется в изучение истории науки. Видит, как одни мнения сменяются другими, видит, как со временем возвращаются теории, прежде считавшиеся ложными, как непоколебимые догмы обращаются в прах. Что это — картина величия человеческого духа или его извечной ограниченности? Картина, внушающая гордость, или законный повод для пренебрежительно-злорадной ухмылки скептика? Замкнутый круг — змея, кусающая свой хвост, — или медленное, но несомненное движение вперед?

Он выясняет, как постепенно накапливаются знания, как смутные догадки становятся обоснованными теориями и помогают в практической деятельности человека. Когда-то робко высказанная мысль о шарообразности Земли долгов время звучала как ересь. Но она дала толчок Колумбу и привела к открытию Нового Света. Разве теперешняя уверенность, что Земля — шар, не истина? А о чем говорит вся история астрономии, если не о постепенном прогрессе знаний?

Суждения Калиппа были более зрелыми, чем Евдокса. Гиппарх знал больше о звездах, чем Калипп. В распоряжении Птолемея было еще больше правильных сведений. Однако Коперник своим учением о вселенной превзошел остальных. Все увеличивающиеся знания основаны на преемственности и длительности наблюдений. Мысль человеческая, словно по лестнице, поднимается все выше и выше в познании истины. Людям открываются все новые и новые горизонты. А раз это так, то их стремления не напрасны!

Вот в чем главная цель, красота и смысл жизни — в познании истины, в борьбе за ее торжество!

Джордано переживал необыкновенный подъем. Древние мудрецы говорили об экстазе избранников, лицезреющих божественную красоту. Нет, воодушевление, им владеющее, не ниспослано милостью богов! Его собственная воля, побуждаемая любовью к истине, обострила чувства и изощрила ум. Если в нем загорелся свет разума, то скольких мучений это стоило.

Теперь единственная страсть всю жизнь будет владеть им — любовь к истине, страсть познания. Это она делает человека свободным, сильным и смелым, дает ему крылья, преображает в бога. Платон учил, что иногда божество посылает и безумцу мистическое озарение. Но им, Бруно, движет не слепое безумство, а разумный порыв. Он преклоняется перед самоотверженностью, рождающей героев. Джордано находит нравственный идеал: в его сознании складывается образ Героического энтузиаста.

Страсть, которой отныне отдает он себя целиком, это не один из видов Платонова вдохновения. Это вдохновение героическое — героический энтузиазм, беззаветное служение справедливому и прекрасному, жажда подвига, готовность на любые жертвы, беспощадность к собственному несовершенству и вечная борьба против зла и невежества.

В дни величайшего напряжения духовных сил Бруно испытывал удивительную отрешенность от всего недостойного и суетного. Осознание высшей цели обнаруживало ничтожность других желаний. Для того, кто обрел крылья, многие соблазны превращаются в тусклые камни: в самозабвенной устремленности перестает он думать о себе. Толкование мифа о растерзанном Актеоне получает еще один оттенок. Героические стремления заставляют человека совершенно пренебрегать собственной жизнью, делают его мертвым в глазах невежественной толпы: псы пожирают охотника.

Для разума, для сердца, для души
Нет наслажденья, жизни и свободы,
Что были б так желанно хороши,
Как те дары судьбы, страстей, природы,
Которые столь щедро за мой труд
Мне муку, тяготу и смерть несут!

Он счастлив. Пусть он еще многого не понимает — поиски не бесцельны, чем больше он будет искать, тем больше откроет! Страсть познания не знает пресыщения. В ней самой такая награда, с которой ничто на свете не сравнится. Он уверен: чем выше будет подниматься человеческая мысль, раскрывая тайны вселенной, тем сложнее будет казаться первоистина. Но за каждым поражением будет приходить победа, а каждый преодоленный подъем будет открывать все новые и новые дали. Неисчерпаемость абсолютной истины не пугает его. В самой этой неисчерпаемости бесконечный простор для непрестанного полета мысли!

Джордано охвачен воодушевлением. Счастье страсти наполняет его до краев.



Николай Коперник.



Звездная карта. XVI век.

ГЛАВА ПЯТАЯ

МЫСЛЬ НЕ ЗАБИТА ОТНЫНЕ В КОЛОДКИ ФАНТАСТИЧЕСКИХ СФЕР!



Сфера неподвижных звезд продолжала существовать в сознании людей. Птолемей представлял ее скорее как абстракцию, чем как некую материальную оболочку. В дальнейшем библейский рассказ о сотворении мира и суждения теологов, подкрепленные учением Аристотеля об ограниченности вселенной, превратили эту сферу в небесную твердь, в алмазный или кристальный небосвод, который вращался вокруг Земли и нес на своей поверхности звезды. Они были крепко-накрепко вделаны в небесную твердь. «Прибиты гвоздями или приклеены?» — иронизировал Бруно.

Допущение, что вселенная не имеет границ, представлялось абсурдным. Иные миры? Кощунство! Против этого восстает все: не

только общепринятые мнения, традиции, школьная наука, проповеди вероучителей, свидетельства библии, господствующие взгляды ученых, но, кажется, весь человеческий опыт, здравый смысл, сами чувства. Можно ли чувствами воспринять бесконечность? Джордано знает: чтобы подняться к вершинам обобщения и постигать высшие истины, надо иногда отказываться от обманчивых показаний чувств и полагаться на разум.

Учение Коперника многие вопросы оставляло без ответа. Восхищаясь его научным подвигом, Бруно испытывал чувство неудовлетворенности. Жаль, что он не воспользовался своими редкими дарованиями, чтобы еще шире осмыслить мир! Почему он не отказался от сферы неподвижных звезд? О эта сфера! Будь она восьмой или какой угодно, эта последняя сфера, ограничивающая вселенную, застилает умственный взор и как бы ставит предел познанию! Предел познанию? Даже те, кто свято верит в существование этой сферы, мысленно выходят за нее, когда невольно задаются вопросом: а что же по ту сторону кристальных небес? Пустота? Ничто? Представление о бесконечном противоречит человеческому рассудку. Бруно отбрасывает это возражение. Как будто представление о конечном применительно ко вселенной согласуется с разумом!

Какую бы небесную твердь ни придумывали сторонники учения об ограниченности вселенной, они не в состоянии убить мысль о бесконечности. Довод о том, что так естественней представлять себе вселенную, ложен: такое представление только все запутывает. За внешней стороной любой сферы должно что-то быть: даже если это пустота, она не отрицает бесконечности. Там нет ни тела, ни пустоты? Может быть, там обитает божество? Невелико почтение к богу, если его заставляют заполнять собою пустоту!

Бруно самым тщательным образом изучал аргументацию философов, которые были убеждены в ограниченности вселенной. Среди них особое место занимал Аристотель. Джордано подолгу раздумывал над каждым из его доводов. Даже то, что ему сразу казалось ошибочным, проверял многократно и основательно. Аргументы, которые исключали бы возможность существования беспредельной вселенной, рушились один за другим.

Коперник не сделал многих выводов, которые вытекали из его собственной теории. Ряд вопросов он намеренно оставил открытыми. Но там, где остановился Коперник, не остановился Бруно.

Ноланец шагнул в бесконечность.

В зрелые годы Бруно неоднократно вспоминал о том духовном переломе, который предшествовал рождению его основных философских взглядов, рождению ноланской философии. Он сравнивал себя со, слепцом, который внезапно прозрел.

Вопрос о соотношении телесного и духовного, материи и формы, стоил ему многих мук. Его не удовлетворяли ни Платон, ни Аристотель. Он страстно увлекался древними атомистами. Демокрит был его кумиром, он восторгался Лукрецием. Одно время он думал, будто формы лишь не что иное, как случайные расположения материи. Только случайные? Не ошибаются ли люди, принижающие значение формы? Но правы ли те, кто приписывает материи только пассивную роль субстрата?

Бернардино Телезио — рассудительнейший человек! — учил полагаться на опыт и верить чувствам. Но могут ли они помочь, когда речь идет о том, чего не воспримешь чувствами, — о первооснове всего сущего или о бесконечности? Когда отказывают чувства, разум и воля ведут человека вперед по пути познания. Джордано вспоминал, как явилось ощущение внутренней гармонии и свободы, словно сбросил он оковы смятенных чувств. Теперь капитан трубил не напрасно — солдаты спешили под его знамена.

Озарение пришло внезапно. Долгие годы изучения философии, сотни прочитанных книг, пересмотр глубоких и трудных теорий, мучительные раздумья о сути вещей… И вдруг, точно в мгновение, исчезли мешавшие его взору преграды. Раньше он смотрел на мир, словно сквозь щели, теперь стены рухнули и перед его глазами открылся весь горизонт: он постиг то, что ему никак не давалось. Впервые он увидел вселенную в ее целостности и единстве.

У древних философов нашел он мысль, что все сущее имеет одну и ту же первооснову. Анаксагор провозглашал: «Все во всем». Атомисты научили Бруно понимать жизнь как вечное движение атомов. Гераклит учил видеть мир как нечто постоянно изменяющееся. А Парменид, напротив, утверждал, что надо различать в сущем неизменное «единое. Дух придает материи форму? Или материя обретает ее случайно?

Выбраться из тупика разноречивых суждений помог Николай Кузанский. Его мысли о единстве вселенной и совладении противоположностей оказали на Бруно очень сильное влияние.

Прав, конечно, Кузанец, учащий находить в противоположностях единство! Покорная или сопротивляющаяся материя? Активная и неумолимо властная форма? Повелевающая материя? Случайная форма? Но ведь природа не знает ни материи, существующей без формы, ни формы, лишенной материи. В природе есть только одно, одно-единственное — материя с присущим ей жизненным началом. В этой первооснове всего формальное и материальное не различаются, в ней заложено все. Это одно-единое есть абсолютная возможность и действительность. Только оно — истинная сущность всего бытия — вечно и неизменно. Все в мире непрерывно меняется. На смену одним формам материи приходят другие, однако первооснова, «единое», монада, никогда не уничтожается и существует вечно.

Актеон увидел Диану — высшую истину! И пусть он далек от того, чтобы узреть ее в абсолютном свете, но он видит-истину в порожденных ею и похожих на нее вещах!

Джордано счастлив. Наконец-то наступило благословенное время, когда он обрел ту ясность мысли, которая позволила ему понять мир в его единстве. А сколько лет ему напрасно светило солнце, пока он блуждал по темным пещерам! Бруно скоро будет тридцать, но он чувствует себя родившимся заново. И как бы внезапно ни пришло озарение, Бруно знает, что истина не открывается каждому, а только тому, кто ее ищет. Годы трудов не потрачены зря. В миг врывается в комнату солнце, но исподволь отворяются ставни.

Коперник писал, что вселенная имеет сферическую форму и ограничена небом фиксированных звезд. Но считал ли он на самом деле вселенную конечной? Он намеренно оставлял вопрос открытым. Спорить о том, конечна или бесконечна вселенная, он предоставлял философам. Но тут же подчеркивал, что небо по сравнению с Землею необъятно и являет видимость величины бесконечной.

Мина, заложенная Коперником под устои общепринятых представлений, была куда более сильной, чем могло показаться из слов самого Коперника. Стоило только глубже вникнуть в суть его теории, как рушились даже те воззрения, которые Коперник оставлял нетронутыми.

Раз Земля не центр вселенной и не занимает в ней исключительного и привилегированного положения, а является только одной из планет, вращающихся вокруг Солнца; раз небеса не движутся вокруг нее, то легко ли верить, что звезды восьмой сферы — это лишь светильники, единственное назначение которых светить в темные ночи жителям Земли?

Сфера фиксированных звезд? Мысль об этой сфере родилась из представления, что Земля, находящаяся в центре мира, пребывает в покое, а видимое мировое движение объясняется вращением неба вокруг Земли. Звезды по отношению друг к другу казались неподвижными, однако их общее перемещение с востока на запад наблюдалось всегда и заставляло думать, что все они движутся вместе с небосводом.

Доказав, что видимое мировое движение превосходно объясняется движением Земли, Коперник остановил восьмое небо. Он писал о неподвижной сфере фиксированных звезд. Но сфера эта была необходима лишь для того, чтобы как-то понять ход мировой машины. Остановив восьмое небо, Коперник тем самым его уничтожил. Тогда и звезды не лежат на одинаковом расстоянии от Земли? Тогда и вселенная не имеет шарообразной формы?

Размышления над теми выводами, которые, не будучи высказаны Коперником, вытекали из его теории, дали Бруно возможность иными глазами взглянуть на учение о множественности миров. Однако осмыслить по-настоящему бесконечность вселенной Джордано смог только тогда, когда понял единство всего сущего.

Бруно упрекал Коперника, что тот в философском отношении не развил своего учения. Но мысли античных философов о множественности миров и блещущие логикой аргументы Николая Кузанского, так пленившие Бруно, оставались чисто умозрительными соображениями до тех пор, пока расчеты Коперника не влили в них кровь реальности.

Уверенность Джордано, что вселенная бесконечна и что существуют неисчислимые миры, покоилась не на слабости доводов, выставляемых сторонниками противоположного мнения, а на теории Коперника и на учении о единстве вселенной и беспредельной потенции ее первоосновы.

Глубокая убежденность, что мир состоит из единой субстанции, заставляла Бруно все больше задумываться над тем, какова вселенная. Если первооснова по своей потенции безгранична, если в ней совпадают действительность и возможность, то ей нет предела ни во времени, ни в пространстве. Она существует вечно и безгранично. Тогда и вселенная, состоящая из одной и той же субстанции, не создана творцом, а существует вечно не имеет предела.

Единство всего сущего! Другие миры, порожденные из той же самой субстанции, могут быть лучшими или худшими, чем этот мир, но они наверняка существуют. Они, как и этот мир, подчинены внутреннему закону, они живут. В бесконечном пространстве неисчислимое множество миров, а раз их бесконечно много, то среди них есть и обитаемые миры! Нет, звезды — это не маленькие светлячки, намертво пригвожденные к небесной тверди, это огромные миры. Разум не должен быть скован кандалами фантастических сфер! Их не существует. Звезды не лежат на одинаковом расстоянии от Земли. Так же, как и Земля, они движутся, и если мы не видим этого движения, то только из-за дальности расстояния. Среди них есть и солнца и земли.

Джордано полон гордости первооткрывателя. Он разбивает вдребезги вымышленные кристальные небеса, чтобы показать истинную красоту мироздания — бескрайние просторы вселенной, тысячи пламенеющих солнц, тысячи земель! Он освобождает людей от вековых пут. Коперник рассеял туман заблуждений, вернул Земле ее настоящее место, раздвинул вселенную — бесстрашно разорил то убогое небо, которое создавали вероучителя и вульгарные философы. А он, Ноланец, сокрушил небесную твердь и открыл для человеческой мысли бесконечные дали вселенной!

Он знал, что впереди тяжелый путь и что ждет его незавидная доля. Но он знал и другое: ничто ныне не остановит его, ничто не заставит отказаться от истины, ему открывшейся. Ощущением силы и торжества проникнуты были стихи:

Кто дух зажег, кто дал мне легкость крылий?
Кто устранил страх смерти или рока?
Кто цепь разбил, кто распахнул широко
Врата, что лишь немногие открыли?
Века ль, года, недели, дни ль, часы ли
(Твое оружье, время!) — их потока
Алмаз и сталь не сдержат, но жестокой
Отныне их я не подвластен силе.
Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры,
Кристалл небес мне не преграда боле,
Рассекши их, подъемлюсь в бесконечность.
И между тем как всё в другие сферы
Я проникаю сквозь эфира поле,
Внизу — другим — я оставляю Млечность.

Пренебрежительно отзывается о монахах, а сам мечет перед ними бисер. Неужели он не видит, что эти ослы и свиньи его потопчут? Он словно не хочет замечать, каким опасным становится его положение.

Внешне все идет вполне благополучно. В июле 1575 года, после трехлетнего пребывания в высшей богословской школе, Бруно сдал последние экзамены и на публичном диспуте с блеском защитил свои тезисы. Его оставили преподавать и назначили лектором теологии.

Если он будет благоразумен, то карьера, доходные должности и сытая жизнь навсегда ему обеспечены. В толпе слуг — почет, в сокровищах — счастье, в обмане — уменье жить? У Ноланца свое представление о жизненном успехе. Не золото и власть делают человека по-настоящему богатым и сильным, а полное к ним пренебрежение.

Жизнь в монастыре становится для него совершенно невыносимой. Он считал монастыри пристанищем сонь и рассадниками пороков, давно знал истинную цену своим «братьям». Ему ненавистны были все эти убогие святоши, невежды, возомнившие себя учеными, доморощенные златоусты, лентяи, целыми днями подвижнически дремлющие над библией, лицемеры, буянящие перед мессой в портовых лупанарах, мнимые аскеты, что в своих кельям предаются тайком чревоугодию и блуду. Монахи одним своим существованием поганят мир!

Внутренний разлад не дает ему покоя. Если он в корне не изменит своей жизни, то навсегда утратит свой нравственный идеал. Героический энтузиаст в сутане преуспевающего богослова?

Решиться на уход из монастыря не просто. Всякого, кто отрекся от духовного сана и сбросил рясу, объявляли отлученным от церкви. Преследовать отступника дозволялось любым способом. В случае поимки ему нечего было рассчитывать на милость.

Актеон увидел Диану. И тут же гончие псы набросились на него. Не цена ли это, которую человек, узревший истину, должен заплатить за дерзновенную страсть познания?

Предупреждения не помогают. В эти счастливые дни, когда он чувствует себя прозревшим, он не может и не хочет думать об осторожности. Философские истины, ему открывшиеся, столь значительны, что их грех замалчивать. Не все же монахи — ослы! Он много говорит о своих взглядах. Наталкивается на непонимание, на явную враждебность. Фра Джордано открыто проповедует ересь!

И, наконец, разражается скандал. На беду, именно теперь в Сан-Доменико Маджоре приехал Агостино Монтальчино. Видного теолога принимали с почетом. На диспутах он, как всегда, блистал красноречием. Бруно не посмотрел на то, что отец Агостино был гордостью ордена, и уличил его в недобросовестности. Тот метал громы и молнии на головы ересиархов, не удосужившись ознакомиться с их мнениями. Он делал вид, что легко побивает противников, а сам расправлялся лишь с собственными домыслами. Монтальчино упрекает еретиков в невежестве и ставит им в вину, что они не оперировали понятиями схоластики? Но разве они не излагали своих взглядов с завидной логикой?

В зале раздался ропот. Какую поразительную осведомленность проявляет фра Джордано! Видно, не одну ночь провел он над запрещенными книгами, раз с таким знанием дела говорит о богопротивных измышлениях. В его устах заведомая ересь, давным-давно отринутая церковью, звучит убедительней доводов Монтальчино!

Из слов Бруно вытекает, будто еретики, эти прислужники князя тьмы, были учеными людьми. Разгневанного Монтальчино поддержали многие монахи. Ноланец не в первый раз позволяет себе

подобные высказывания. А ведь тот, кто защищает еретиков, сам еретик!

В Неаполе со дня на день ожидали генерала доминиканцев. В интересах ли начальства замять сейчас скандал? В монастыре слишком многие настроены против Бруно.

Актеон счастлив — он увидел Диану! И в это время псы набрасываются на него… Аллегория имела реальный и угрожающий смысл. Охотник и в самом деле превращался в объект охоты.

Провинциал повелел начать следствие по обвинению его в ереси. Пока начальство опасается навлечь позор на весь орден, но не ровен час и материалы передадут в Святую службу. В чем его обвиняют? Несмотря на прежние уроки, он часто позволял себе весьма рискованные высказывания. Что теперь послужило толчком? Неприязнь провинциала? Подлый донос какого-нибудь соглядатая? Или подстрекательство Монтальчино, который не простил Ноланцу их последнего бурного спора? Он теряется в догадках. Одно ясно: в Неаполе сложилась слишком неблагоприятная обстановка. Среди монахов у него есть друзья. Однако власть предержащие не питают к нему особой симпатии. Старик Амброджио больше не провинциал, а Доменико да Ночера уже не регент. Да и что могли бы сделать люди, даже искренне к нему расположенные, если орденское начальство вознамерилось его погубить?

Похоже, что против него поднялись все, кому он за время пребывания в монастыре попортил немало крови: тайные завистники, бездарные ученики, воинственные обскуранты, осмеянные им невежды и лицемеры. Теперь они хотят свести с ним счеты обычным и верным способом. Его объявят еретиком, и пусть он тогда доказывает собственную ортодоксальность и собственное благочестие! Они пойдут на любую подлость, чтобы отомстить ненавистнику. Бруно видит свою уязвимость, здесь его слишком хорошо знают, чтобы он мог толковать обвинения как пустые наветы врагов. Да и те, кто занимается следствием, наверняка поведут его так, чтобы не оставить ему ни малейшей лазейки. Может быть, в Риме, у прокуратора ордена, который слывет образованным человеком, найдет он больше беспристрастия? Может быть, тот оградит его от неминуемой расправы, уготованной ему разъяренными и мстительными неаполитанцами?

Раздумывать было некогда. Друзья успели его предупредить, что обвинений набралась целая куча. Если он замешкается, его схватят и водворят в темницу. Он должен скрыться!

Надежды Бруно не оправдались. Пребывание в римском монастыре Санта Мария делла Минерва, куда он явился после бегства из Неаполя, не сулило ничего доброго. Поначалу показалось, что прокуратор Систо Фабри с известной благожелательностью выслушал его рассказ о несправедливых гонениях, которыми его донимали на родине. Но вскоре все переменилось. В беседах стали принимать участие и другие доминиканцы, поразительно смахивавшие на инквизиторов. Джордано все настоятельней увещевали говорить правду. Он не подавал и виду, что его беспокоит их странная осведомленность. Или у них уже есть свидетели, которые подтверждают обвинения? Люди, специально присланные из Неаполя?

Сомнения его рассеялись самым неожиданным образом. Он узнал, что в Риме появился один из тех, кто, по слухам, рьяно помогал отцу провинциалу стряпать против него обвинения. Почему вдруг он здесь? Или это он подал донос и будет теперь уличать его перед инквизиторами? О, если бы знать наверняка!

Джордано ждал, когда ему предъявят обвинения. Это произошло довольно скоро. Тайные и явные недоброжелатели поусердствовали на славу. Они собрали воедино все, что только смогли, — не забыли ни скандала в пору его послушничества, ни брошенных мимоходом двусмысленных шуток, ни спора с Монтальчино, ни издевок над монастырской братией. Ему советуют осознать всю серьезность своего положение Речь идет не о мелких сварах, чьих-то обидах или злобных наговорах — речь идет о ереси. Список обвинений огромен. Здесь не только его нечестивые выходки, здесь и заблуждения, которые он считает краеугольными камнями подлинной философии!

Джордано спорит. Он мог еще выслушивать, когда его корили отступлениями от устава — он никогда не был примерным монахом! — но теперь самые дорогие его сердцу мысли называют зловредными заблуждениями! Чем больше он спорит, тем яснее ему, как нетерпимы его противники. Он говорит о важнейших философских истинах, а они твердят о вере. Но ведь он рассуждает не как богослов, а как философ! Ему грозят. Он обязан признать, что его взгляды —

ересь, сущая ересь! Бруно упорствует. Только невежественные люди могут называть ересью истину, которую открывает разум!

С каждым днем дело приобретает все худший оборот. В глазах орденского начальства он злодей, еретик. Если он не покается, его не сегодня-завтра выдадут Святой службе и там им займутся настоящие инквизиторы. Но он не может признать себя виновным, когда убежден в своей правоте! Ему предоставлена относительная свобода, он выходит за пределы монастыря. Неужели он упустит эту возможность?

В его жилах горячая кровь южанина. Он очень вспыльчив и в приступах гнева способен на безрассудства. Всей душой рвется он к свободе и ненавидит своих гонителей.

Григорию XIII перевалило за восемьдесят. Престарелый папа был не в силах создать и видимость какого-либо порядка. В Риме и подвластных святому престолу землях царила ужасающая анархия. Борьба партий то и дело выливалась в кровавые междоусобицы. Благородные сеньоры жгли друг у друга посевы, угоняли скот, разрушали дома. Люди словно помешались на жестокости. Захваченных в плен врагов казнили на глазах у их жен и детей, а тут же неподалеку, на рыночной площади, справляя победу, весело отплясывали триумфаторы. По дорогам, как во время войны, рыскали вооруженные отряды. Отсеченные головы, выставленные для острастки, мало помогали. Папские распоряжения не исполнялись. Осужденных силой вызволяли из темниц.

Джакомо, незаконный отпрыск папы, творил в Риме все, что хотел. Даже высшие церковные сановники, приближенные Григория XIII, не смели перечить всесильному любимцу. Произвол его был безграничен. Редкий день проходил без очередного злодейства. По собственной прихоти бросал он людей в тюрьмы, казнил без приговора, подсылал наемных убийц. Даже в век, привыкший к жестокости, о его насилиях говорили с содроганием. Он не брезговал ничем, чтобы увеличить свои богатства. Расправляться Джакомо предпочитал с врагами, которые имели изрядное состояние. Проводимые им конфискации мало чем отличались от грабежа. На подвиги своего сынка и его приспешников папа взирал сквозь пальцы. Безнаказанность поощряла преступления. Родовитые римляне, оттесненные от кормушки власть имущих, нашли способ поправлять свои финансы. Они покровительствовали воровским шайкам и получали долю добычи. Священники и монахи

бросали монастыри и подавались в разбойники. Трупы на мостовых стали обыденным явлением. Из Тибра вылавливали убитых. На улицах средь бела дня раздевали и резали прохожих. Жизнь человеческая не ставилась и в грош. Убивали по пустякам, за косой взгляд, за неосторожно сказанное слово. Нанять брави в Риме было ненамного сложнее, чем в Венеции — гондольера. Это было завидное место для сведения личных счетов.

…Весенним утром 1576 года из полноводного Тибра вытащили еще один труп. Убитый был в доминиканской одежде. Его удалось опознать. Им оказался монах, приехавший из Неаполя уличать в ереси Джордано Бруно Ноланца.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГДЕ ЕГО ГАВАНЬ!



Богословы, занятые предварительным следствием, называют взгляды Бруно ересью. Перед ним дилемма. Он или должен признать свою вину, или, упорствуя, угодить ив инквизицию. А дальше что? Святая служба — неподходящее место для философских дискуссий. Только приговоренные к смерти могут выйти оттуда с гордо поднятой головой. А все остальные, коль хотят увидеть свободу, выбираются из тюрьмы униженные и раздавленные, будто выползают на коленях.

Он, словно злодей, должен виниться! Просить прощения только за то, что его мысли разнятся от общепринятых воззрений. Жалкие начетчики, которые ничего не знают, кроме мертвой буквы писания, покушаются на самое дорогое, что у него есть, — на свободу мысли! Но он не из тех, кого просто скрутить. В юности он отдал свое сердце Афине. Она не сулила легкой судьбы. Жизнь человеческая — бессрочная ратная служба, и тот, кому действительно дорога мудрость, никогда не должен снимать шлема и выпускать из рук оружия. Он

обязан отражать удары судьбы, обуздывать зло и не попадаться в засады врагов.

Единственный выход — бежать. В этом решении Бруно еще больше укрепила весть, что вероятный доносчик, монах неаполитанец, найден мертвым. К счастью, Джордано вовремя услышал о происшествии, которое могло стать для него роковым. Доминиканца Из Неаполя убил тоже монах, узнавший в нем заклятого врага. Не приходилось особенно радоваться его смерти, когда подозрения прежде всего падали на того, кто был разоблачен доносом. Только еще не хватало, чтобы к начатому в Неаполе процессу о ереси прибавилось и дело по обвинению в убийстве! Медлить нельзя. Если он сейчас же не уедет, его схватят. Монастырской жизнью он сыт по горло! Рясу Бруно сбрасывает без всякого сожаления и покидает Вечный город.

Черная смерть простерла свои крылья над Италией. Чума вторгалась в один город за другим. Побросав городские дома, богачи уезжали в поместья. В перенаселенных кварталах бедняки умирали сотнями. Люди прятались за закрытыми ставнями, не пускали на порог даже родственников, часами простаивали на коленях или с отчаяния предавались разгулу. В чем только не искали спасения! Одни твердили, будто лишь воздержание и пост уберегают от мора, другие советовали почаще прочищать печень и отгонять заразу вином. Но смерть настигала свои жертвы повсюду. Не помогали ни уединение, ни окуривания, ни молитвы, ни колдовские заговоры, ни святая вода. Иногда некому было хоронить мертвых. Крестьяне боялись привозить съестные припасы. Начался голод.

Испуганные люди верили самым невероятным слухам. На грешников господь насылает такую погибель, но разве по его воле в страшнейших муках корчатся и младенцы? Искали виновных. Кто же по дьявольскому наущению сеет заразу? Страх и невежество разжигали подозрительность. То там, то здесь возникали погромы. Кое-кто, воспользовавшись случаем, ловко избавлялся от докучливых конкурентов. Это врачи-французы заражают колодцы! Били французов, били мавританских купцов. В Милане побивали камнями всех сомнительных иностранцев. Но чума не прекращалась. И опять находили виновных. Теперь эго были испанцы, принявшие в Константинополе магометанскую веру. Турецкий султан заслал в Италию несколько сот этих проклятых ренегатов, чтобы они разносили

чуму! Везде чужаков встречали открытой враждой. Худшего времени для скитаний нельзя было и придумать.

Лигурию, по рассказам, еще миловал мор. Бруно приехал в Геную. На кого уповать в годину тревоги и печали, если не на заступничество угодников и помощь святых реликвий? В одной из церквей в драгоценном ковчежце хранилась святыня: хвост, как уверяли монахи, того самого осла, на котором ездил Христос. В вербное воскресенье редкостную реликвию выносили для поклонения народу.

Это было незабываемое зрелище. Среди весенних цветов и хоругвей стояли монахи. Со всех сторон их окружала неисчислимая толпа. Они показывали ослиный хвост и ликующе восклицали: «Не троньте, лобызайте! Лобызайте священные останки благословенного осляти, что сподобился нести господа нашего с горы Елеонской в Иерусалим. Поклоняйтесь, целуйте, давайте милостыню. Сторицею воспримите и жизнь вечную унаследуете!»

Джордано стоял и смотрел, как, теснясь и толкаясь, к реликвии лезли люди. «Лобызайте и не скупитесь на милостыню! — голосили монахи. — Лобызайте останки священного осляти!» Мохнатый хвост целовали с мистическим трепетом. Звеня, сыпались деньги.

Но и благословенный хвост не спас Геную от чумы. Страшный мор принялся и здесь уносить свои жертвы. Джордано не имел никаких средств к существованию. Кто станет нанимать учителя, когда начинается чума? Он перебрался в Ноли.

Тут было очень тихо. Городок лежал у моря, на берегу живописной бухты, отделенный от остального мира высокими горами, суровой красотой которых в свое время восхищался Данте. Найти в Ноли занятия по душе было для Бруно нелегко. Преодолев отвращение к грамматике, он стал давать уроки детям. Вскоре круг его учеников расширился. Джордано начал читать лекции нескольким дворянам, питавшим интерес к астрономии.

Чума продолжала свирепствовать. Несмотря на оградительные меры и очень жаркое лето, эпидемия не затихала. В июле 1576 года чума охватила Феррару, Мантую, Венецию, добралась до Неаполитанского королевства. Черная смерть косила людей в Сицилии, Апулии и Калабрии. Осенью страшная напасть обрушилась и на Милан.

Зима тянулась медленно. Джордано имел кое-какой заработок и вдоволь свободного времени. Он много работал. Но пребывание в Ноли тяготило его. Не век же ему сидеть в захудалом городке и учить детей

грамматике! С наступлением весны он тронулся в путь. Две недели он провел в Савоне, потом отправился в Турин. Никаких подходящих для себя занятий он здесь не нашел. Лодочник, с которым он разговорился на берегу По, согласился доставить его в Венецию.

«Краса Адриатики» не оправилась полностью от перенесенного бедствия. Редкие семьи не потеряли близких. Вспышки чумы все еще тревожили венецианцев. Жизнь только начинала налаживаться. Город славился своими учеными обществами. Многие их члены умерли, другие разъехались. Обычная для Венеции бурная книготорговля почти зачахла.

Прожив полтора месяца в Венеции, Бруно решил переехать в Падую. Знаменитый университет тоже пострадал от чумы. Надежды Бруно прокормиться частными лекциями не оправдались и здесь. Студенты немцы, в страхе бежавшие на родину, возвращались медленно. В Падуе Бруно встретил знакомых доминиканцев, которые, видя его затруднения, посоветовали снова надеть рясу. Джордано с негодованием отверг эту мысль. Даже если бы ему было даровано полное прощение, он и тогда не вернулся бы в орден! Но они ведь и не говорят о возвращении к монашеской жизни. Просто странствовать в сутане куда безопасней, да и при его безденежье это единственный выход: он сможет останавливаться на ночь в монастырях. Бруно внял разумному совету и при первой же возможности заказал себе новое облачение.

В ноябре 1577 года на небе появилась комета с огромным хвостом. На нее взирали с тревожным ожиданием. Какие еще беды уготовлены роду людскому? Опять мор, наводнения, кровопролитнейшие войны, голод? Проповедники призывали к покаянию. Не знак ли это приближающегося страшного суда? Враги Филиппа II видели в появлении кометы лишнее доказательство скорого крушения Испанской монархии. Астрономы не скрывали удивления: комета двигалась за пределами подлунного мира, очень далеко от Земли. Рухнет ли Испанская монархия — неизвестно, а вот многие общепринятые представления о вселенной рухнут обязательно! В толкователях небесных знамений не было недостатка. Соображениями астрологов подкрепляли метеорологические предсказания, медицинские советы, благочестивые наставления, коммерческие рекомендации, политические прогнозы. Книги, посвященные небесным знамениям, пользовались

большим спросом, издатели охотно их брали. В Венеции Джордано, чтобы заработать немного денег, издал книгу «О знамениях времени»[8].

Он терпел непрестанную нужду, часто не имел крова над головой и куска хлеба. Подолгу жить на одном месте он не мог, и не только из опасения ареста. Странствия — это тоже познание. Мир расширяют как прочтенные книги, так и увиденные города. Ничто не ускользало от его внимательных глаз. Бруно подмечал странные явления природы, характерные особенности ландшафта, редкие обычаи. Его интересовали самые разнообразные люди. В Милане он расспрашивал о недавно побывавшее там английском поэте, в Генуе с любопытством выслушивал рассуждения отчаянного картежника. Бруно находил полезное и в беседе с известным ученым и в общении с неотесанным капуцином.

Однажды в Брешии он остановился на ночлег в обители святого Доминика. Аббат и монахи были в волнении. С одним из братьев творилось что-то немыслимое. Полуграмотный, придурковатый монах, прежде всегда молчаливый, вдруг всем на диво начал сыпать греческими фразами и изрекать пророчества. Уж не наитие ли это свыше? Хорошо бы обратить приключившееся чудо на пользу монастыря. Темный и тупой клирик стал пророком, великим теологом и полиглотом! Но он производил впечатление одержимого, и аббат рассудил иначе: здесь не обошлось без нечистой силы. Молитвы, полагающиеся при изгнании бесов, и кропление святой водой не помогли. Монаха заподозрили в колдовстве, скрутили, посадили под замок. Не передать ли его инквизиции?

Джордано захотел его осмотреть, спустился к нему в темницу. «Великий богослов» был крайне возбужден. Он безумно таращил глаза и нес какую-то околесицу. Бессвязные речи вполне могли сойти за пророчества — в них было столько же смысла. Он действительно произносил богословские сентенции и выкрикивал фразы на разных языках. Лишь невежды могли принять его за полиглота. Монах был тяжко болен. Какие забытые впечатления далекого детства вдруг всплыли в его распаленном лихорадкой мозгу? Бруно сказал аббату, что понимает немного в медицине, просил развязать узника и приготовил целебное питье.

К утру больной успокоился. Он больше не пророчествовал. Говорил только по-итальянски, да и то плохо. А когда к Нему обращались с

богословскими вопросами, растерянно мигал. Монахи дивились чудесному исцелению. Джордано собирался в дорогу. Теперь они могут быть довольны: их собрат, под стать им, опять стал тем, чем был прежде, — обыкновенным ослом!

Путешественник, имеющий деньги, может и Альпы перевалить не без комфорта. Он наймет крепких носильщиков и удобный портшез или удовольствуется горными санками. Хуже, если он стеснен в средствах. Ему придется на муле преодолевать крутой подъем и затаив дыхание слушать, как вырвавшиеся из-под копыт камешки с головокружительной высоты прыгают вниз по склону. Местами тропа, ведущая через перевал из Италии во Францию, настолько узка, что не разойдутся и два мула. Но стоит лишь достичь первой деревни на савойской земле, как трудности и страхи окажутся позади.

Когда Джордано добрался до Шамбери, столицы герцогства Савойи, ему пришлось серьезно задуматься. Куда двинуться дальше? Его тянуло во Францию, в славные университетские города, где много ясных голов и хороших книг. После бегства из Рима он больше двух лет скитался по Северной Италии, пробавлялся случайными заработками и жил в постоянной опасности быть схваченным. Но не убежища искал он во Франции. Может быть, на французской земле, где гугеноты основательно подорвали всесилие католической церкви, найдет он большую свободу мысли, чем на задавленной папистами родине?

Политическая обстановка во Франции была сложной. Варфоломеевская ночь не положила конца религиозным войнам. Гугеноты, оправившись от первого шока, снова взялись за оружие. На западе и юге страны королевские войска не могли сломить сопротивление мятежников. Карл IX вынужден был согласиться с существованием федерации протестантских городов, добившихся автономии.

После смерти Карла на престол взошел его брат. Генрих III произносил миролюбивые фразы, а помышлял о неограниченной власти. Военные действия возобновились. Королевская армия, лишенная денег, повиновалась плохо. Генриху III не оставалось ничего иного, как пойти на мир и даровать протестантам ряд вольностей. Это вызвало недовольство рьяных католиков. Что станет с монархией и верой, если король и дальше будет потакать еретикам? Была создана Католическая лига, стремившаяся захватить власть. Герцог Генрих Гиз, мечтавший о короне, стал во главе ее. Король оказался меж двух огней.

Он отрекся от обещаний и провозгласил, что в его стране должно исповедовать только одну религию, католическую. Война вспыхнула снова. Снова шайки наемников жгли деревни, вытаптывали поля, снова щедрые полководцы отдавали взятые приступом города на погромы и разграбление, снова политические интриганы и алчные грабители прикрывали свои злодейства хоругвью истинной веры.

Военные действия шли с переменным успехом. Генрих III счел за лучшее прислушаться к голосу «политиков», которые призывали к разумному компромиссу. Король решил опять выступить в роли миротворца. Он издал эдикт, возвращавший гугенотам признанные прежде вольности. Наступила передышка. Надолго ли?

В Париже с давних пор обосновалось много итальянцев. Екатерина Медичи, вдовствующая королева, подарившая французскому престолу трех законных монархов, была по отцу флорентийкой. К землякам она питала понятную слабость. При дворе им было раздолье. Если бы дело ограничивалось только лицедеями или учителями фехтования и верховой езды! Но итальянцы занимали многие важные должности, брали на откуп налоги, ворочали огромными суммами, беззастенчиво наживались на чужой беде. Король со своей хитрющей матушкой, жаждущие самовластья, хотят с помощью чужестранцев окончательно задавить французскую знать и установить порядки, как у турок! Настала пора резких антиитальянских выступлений.

Собираясь идти по дороге на Лион, Бруно разговорился в Шамбери с одним монахом итальянцем. Тот предупредил его, что сейчас во Франции нечего рассчитывать на радушный прием: чем дальше он пойдет, тем больше встретит неприязни.

Бруно решил направиться в Женеву. Там находилась высшая школа, притязавшая на особо важную роль в духовной жизни Европы. Женеву называли протестантским Римом. Кальвинисты на все лады расхваливали Женевскую академию как столп премудрости, В ней, мол, учат истинам, чистым от папистских извращений. Где еще, коль не тут, можно по-настоящему изучить взгляды сторонников реформации?

Джордано остановился в таверне. Его засыпали вопросами. Что он ищет в Женеве? Откуда прибыл? Чем намерен заняться? Это было не праздное любопытство. В городе осуществлялся строгий надзор за каждым приезжим. Бруно оказался в затруднительном положении. К кому обратиться за советом и помощью?

Признанным главой итальянских иммигрантов был Джан Галеаццо ди Вико. «Синьор маркиз», родом из Неаполитанского королевства, прожил в Женеве без малого тридцать лет и с удовольствием встречал земляков. Бруно рассказал о себе: он бежал из монастыря и навсегда покинул доминиканский орден. Но почему он избрал Женеву? Бруно честно признался, что приехал в Женеву без всякого намерения принимать Кальвинову веру. Он много хорошего слышал об этом городе и хочет только одного — жить в безопасности и наслаждаться свободой.

Видно, пришелец совсем не представляет себе женевских порядков. Как он мыслит дальнейшее? Или ему кажется, что бегство из монастыря уже свидетельствует о его добрых нравах? Или он думает, что Женева удобное место для людей, не исповедующих вообще никакой религии?

Старый Джан Галеаццо всю жизнь ревностно вербовал прозелитов: может ли он не попытаться обратить в свою веру еще одного земляка? Он не ставит условий, ограничивается разъяснениями, дает благожелательные советы. Магистрат строго следит, чтобы в городе не заводились смутьяны. Никому нельзя жить здесь без дозволения. Итальянцы, слава богу, пользуются в Женеве хорошей славой, да и сам Джан Галеаццо участвует в заседаниях совета. Поручительства нескольких человек будет достаточно, чтобы раздобыть необходимое разрешение.

Маркиз ди Вико и его единомышленники окружают Бруно трогательной заботой. Первым делом они советуют ему совершенно распрощаться с рясой, обзавестись мирским платьем. Это легче сказать, чем сделать. У Джордано нет денег. Ему приходят на помощь, снабжают всем необходимым, дарят плащ, шляпу и даже шпагу. Да и почему он должен сохранять полученное в монастыре имя Джордано, когда его при крещении нарекли Филиппо?

Итальянские протестанты прочно осели в Женеве. Они занимаются ремеслами, торговлей, преподают в академии, служат городу как юристы, врачи, военные. У них пять типографий. В одной находят работу для Бруно. Теперь он имеет средства к жизни. Но разве Джордано приехал сюда, чтобы корпеть над чужими корректурами? Он действительно хочет постичь тонкости богословов-кальвинистов, чтобы с философской стороны оценить их взгляды. Он беседует с земляками, читает хвалимые ими книги, посещает проповеди. Попробовал бы он их не посещать! Члены магистрата прилежно ходили по домам и звали

иностранцев в церковь. После трехкратного приглашения тех, кто отказывался, высылали.

Никколо Бальбани, богослов из Лукки, гордость женевских итальянцев, объясняет апостольские послания. Проповеди Бальбани пользуются большим успехом, но Бруно теряет к ним всякий интерес. Прописные истины набили ему оскомину, и он не восторженный отрок, чтобы умиляться премудростями катехизиса. Его всей душой тянет в университет.

О преподавании не может быть и речи. Будь он хоть трижды профессор теологии, раз он вскормлен папистами, его и близко не подпустят к академии! Если же он отрекся от католичества и обрел настоящую веру, то и тогда ему рано учить других, а прежде самому следует переучиваться.

Вскоре Бруно увидел, что внимательная забота «синьора маркиза» и его приближенных была вызвана больше религиозной ревностью, чем желанием помочь земляку. Ноланец не торопился с обращением в Кальвинову веру. Тогда ему дали понять, что если он не примет их религии, ему нечего впредь рассчитывать на заступничество общины и лучше уехать.

О, эта страсть обращать других в собственную веру! И здесь он не избавился от увещаний. Отринувшему католичество доказывают спасительность кальвинизма. Как будто человек, рвущийся к истине, обязательно должен, отбросив одно суеверие, проникнуться другим!

Ему разрешат посещать академию, коль скоро он подпишет их исповедание? Он должен держаться господствующей религии? Обязан примкнуть к кальвинистам? Бруно хочет основательнейшим образом познакомиться с идеологией протестантов. Он дает согласие. 20 мая 1579 года имя Филиппо Бруно Ноланца вносят в списки Женевской академии.

Высшая богословская школа, основанная еще при Кальвине, должна была готовить проповедников для романских земель. Постепенно задачи ее расширились. Были созданы новые факультеты, которые не только удовлетворяли потребности города в образованных людях, но и служили целям самой широкой пропаганды Кальвинова учения за границей.

Еще на родине, читая запретные для католиков книги, Бруно познакомился с протестантским учением. Но можно ли было считать это знакомство основательным, если книги приходилось доставать

тайком и изучать украдкой? А вдруг самое главное так и осталось неведомым? В Женеве Бруно принялся внимательно штудировать сочинения протестантов. Его ждало горькое разочарование. Этические основы Кальвиновой веры ему глубоко чужды. Бруно с детских лет слышал, что человек ответствен за свое поведение: будущее спасение или осуждение, рай или ад зависят от того, как он жил, творил ли добрые дела иль совершал злодейства. Церковь сумела и эту мысль подчинить собственной корысти: под добрыми делами понимали не столь действительно хорошие поступки, сколь все приносящее клирикам доходы — одарение храмов божьих землями и недвижимостью, покупка свечей, образов, реликвий, посещение святых мест. А продажа индульгенций и вовсе сделалась эталоном развращающей жадности: тягчайшие грехи, оказалось, можно искупить золотом. Будущее оправдание стало зависеть от кошелька.

Протестантские догмы Бруно отвергал не менее решительно, чем католические. Рассуждения о промысле божьем он давно воспринимал как нелепицу, а доктрину Кальвина об абсолютном предопределении, согласно которой бог еще до сотворения мира предопределил судьбу каждого, считал еще большим абсурдом. Сколько бы хорошего и полезного ни делал человек, он не заслужит спасения, если предназначен к погибели? Полнейшее отрицание Кальвином свободы человеческой воли делало его взгляды особенно ненавистными для Бруно. О эти новые повелители небесных эмпиреев и раздатчики вечного блаженства! Берутся реформировать бессмысленную веру и исцелять язвы прогнившей религии, а сами только латают ненужную рухлядь!

Европа в смятении и тревоге. Народам очень Дорого обходятся религиозные распри. Но ради чего враждуют и умирают люди, раскалываются семьи, пылают в огне города, разоряются целые страны? Бруно изучает теологов-протестантов. Он поражен, насколько ничтожны по сути своей те идейные разногласия, из-за которых Европу заливают кровью. Может быть, реформация, освобождающая умы из папистского плена, ведет к расцвету наук и искусств? Может быть, протестанты превзошли католиков в философии и изучении природы? И здесь Бруно ждет разочарование. Тиранство богословия над наукой сказывается в Женеве так же ощутимо, как и в Риме. Не всматриваются пытливо в природные явления и не исследуют скрытые причины вещей

— рассуждают о загробной жизни и паче всего пекутся о чистоте своей веры.

Дух, царящий в Женевской академии, не очень-то способствует научным изысканиям. Тон задают теологи. Кафедру богословия занимает прославленный эрудит Ламбер Дано. Недавно он выпустил книгу «Христианская физика», где доказывал, что не труды древних философов, а библия — основа всякого знания.

Он нападал на учение Демокрита и Эпикура о множественности миров. Дано сомневался: есть ли резоны думать, что Земля круглая? И это после Колумба, Магеллана, Коперника! Он прилежно листал священное писание. Немногочисленные тексты можно понимать по-разному. Все-таки Земля, пожалуй, круглая! Осторожный Дано не забывал предупредить читателей: правду-де знает лишь один господь!

В Женевской академии Бруно получил возможность испить до дна чашу Кальвиновой мудрости. Снова горький урок. И здесь верность догме ставя! превыше истины: Теодор Беза, преемник Кальвина, духовный правитель Женевы, не терпит разнобоя взглядов. В умствованиях тоже необходимо блюсти дисциплину! Учение о свободе совести — дьявольское учение. Вопросы, ответов на которые нет у Кальвина, разрешают, толкуя библию. А если и там чего не находят, то обращаются к сочинениям Аристотеля. «Женевцы, — заявил Беза, — раз и навсегда порешили ни в логике, ни в какой-либо другой науке ни на йоту не отклоняться от положений Аристотеля»

Светоч кальвинизма! Бруно весьма невысокого мнения об ученых Женевской академии. И он не делает из этого тайны. Еще одна разновидность педантов! У него, на беду, слишком задиристый характер и острый язык. Здесь не в обычае подобные вольности. В людях воспитывают чинопочитание. Вождей церкви называют солью земли, учителей приравнивают к пророкам, пасторов — к апостолам.

Он бежал от инквизиторов и надеялся найти в Женеве ту атмосферу интеллектуальной свободы, без которой тяжко жить ученому. Какая уж тут свобода! Среди проступков, учил Кальвин, на первом месте находятся умствования, идущие вразрез с установленными догматами. Люди особенно должны остерегаться всяких софизмов, упрямых и злонамеренных споров.

Спасительны истины катехизиса! Учите-ка их наизусть и бегите от нечестивой любознательности!

За год до поступления Бруно в академию ординарным профессором философии стал Антуан де ля Фе. Гугенот, выходец из Франции, он обрел в Женеве вторую родину, сделал карьеру, пользовался покровительством Теодора Беза, имел завидный авторитет среди пасторов. Он писал труды по богословию, сочинял латинские стихи, считал себя знатоком медицины. Некоторое время де ля Фе жил в Италии, ученой степенью был обязан Падуанекому университету. Бруно отнесся к де ля Фе с большим интересом. Профессор философии, вероятно, искушен в своем предмете?

Грубое невежество человека, ученостью которого хвастались женевцы, поразило его. Де ля Фе не разбирался в самых простых, по мнению Бруно, вопросах да еще выдавал свои убогие мысли за непререкаемую истину. Ему поручали не только наставлять студентов, но и руководить другими преподавателями! Может быть, де ля Фе и хорошо исполнял свои обязанности, когда отправлял под розги школяров, шумевших в аудиториях или в церкви, но философ из него никудышный? Никто не осмеливается перечить могущественному де ля Фе, но он, Бруно, воздаст ему должное.

Бруно написал небольшую работу, где подверг уничтожающей критике ряд положений, выдвинутых де ля Фе, — в одной только лекции тот умудрился допустить двадцать грубейших философских ошибок! Книжицу эту Бруно пожелал напечатать. Найти издателя было непросто, но он уговорил типографа Жана Бержона. Вначале Бержон отказывался. А вдруг в рукописи есть какая крамола, что-нибудь против бога или против власти? Бруно уверил его, что работа целиком посвящена философии. Бержон и сам убедился: ни религии, ни политики этот любезный, но настойчивый итальянец вовсе и не затрагивал.

Жизнь в Женеве не всякому приходилась по вкусу. Каждый шаг был под контролем, все было расписано, регламентировано, подчинено уставу. Женевские вероучителя, восхваляя свою святую республику, ставили себе в заслугу, что сумели утвердить в городе строгую дисциплину. Кальвин был невысокого мнения о роде человеческом: люди нуждаются в сильной и постоянной узде, иначе они превратятся в дьяволов. Он, не жалея сил, трудился, чтобы раз и навсегда установить тот образ жизни, которому должен следовать христианин. Пастырь обязан не только следить за поведением и мыслями верующих, он обязан вникать во все мелочи.

Горожанам не дозволено стричься по моде, носить дорогие наряды, лакомиться вкусной едой, исполнять светскую музыку, бездельничать, громко разговаривать. Все установлено заранее: какие имена давать при крещении, как воспитывать детей, сколько читать молитв, во что одеваться, как справлять свадьбы, как устраивать похороны. Было время, когда в Женеве пытались закрыть трактиры, потом разрешили горожанам собираться под надзором должностных лиц при условии, что трапеза начнется молитвой и будет идти под чтение библии. Теперь, правда, в харчевнях стало попривольней, но за пьянство, как и прежде, карали без милосердия.

Пасторы и квартальные надзиратели обходили дома, выспрашивали соседей, устраивали обыски: здесь нашли припрятанную колоду карт, там в кухне учуяли недозволенный запах дичи. Одна женщина слишком долго смотрелась в зеркало, другая шила себе тайком платье с глубоким вырезом, третья румянилась и подводила глаза. Тот повздорил, с женой, а этот наедине со служанкой что-то подозрительно громко смеялся. Подмастерья в воскресный день слонялись по улицам, когда должны были быть на проповеди. Ленивый старик залежался в постели: не притворяется ли он хворым, чтобы не идти в церковь? В Женеве расплодилось множество добровольных соглядатаев. Донести — значит угодить богу!

В консистории, духовном судилище, учрежденном для неусыпного надзора за верой и дисциплиной, с провинившимися обходились сурово. Допрашивали с пристрастием, стращали, принуждали к покаянию.

Заставляли публично виниться и того, кто нетвердо знал молитвы, и того, кто частенько навещал вдовушку, и того, кто искал в целебных источниках спасения от недуга, словно божья помощь менее действенна, чем горячие ключи!

Тех, кто не поддавался на увещательные речи, подвергали отлучению — впредь до раскаяния «исключали из среды христиан и оставляли во власти дьявола». Их не допускали к причастию. Никто не имел права с ними общаться. Наказание необходимо, дабы церковь не превратилась в сборище злодеев, развращающих праведников! Карали за все: за слово, сказанное пастору поперек, за танцы на свадьбе, за чтение запретных книжек, за божбу и ругань, за игру в кегли, за интерес к балаганам, за своевольно съеденные сладкие пирожки или гусиный паштет. Отлучали от церкви и выставляли на позор «обжор» и «расточителей», били плетьми и изгоняли из города прелюбодеев.

Все нельзя! Нельзя вести суетные разговоры, нельзя в мудрствованиях проявлять безбожное любопытство, искать истину за пределами катехизиса, нельзя жить по своему разумению! Все нельзя.

В лицемерии кальвинистская консистория не уступала трибуналам римской инквизиции. Она ограничивалась отлучением. Приговоры, обрекавшие людей на муки и смерть, выносила светская власть. Считалось, что церковь не проливает крови, а только перевоспитывает верующих.

Пятнадцать лет прошло после смерти Кальвина, но его доктрины и дела наложили на город неизгладимую печать. Женевцы сохраняли верность своему «протестантскому папе», этому архипеданту, великому вероучителю с натурой мелочного деспота, одержимого страстью определить каждому его место, все предусмотреть, расписать по чину, втиснуть в устав, все строжайше регламентировать — от первого крика новорожденного до последнего издыхания. Дать людям истинную веру — это значит наложить на них крепкую узду, создать строгую систему заповедей и ограничений.

Хороша же жизнь, когда людей лишают свободы воли и не оставляют им ничего кроме запретов да еще шаткой надежды на будущее блаженство! Кальвиновы порядки вызывали у Бруно отвращение. Ей-богу, ему больше по душе неаполитанские монахи, плуты и греховодники, чем эти постные лицемеры, засохшие от бесчисленных запретов!

В Женеве царила ветхозаветная свирепость. Лучше покарать нескольких невинных, чем оставить без., наказания одного виновного! Людей мучили и казнили без всякой жалости. Отцы города свято блюли завет Кальвина: «Разбойники не собираются вокруг виселиц!»

В начале августа 1579 года книжица Бруно, направленная против де ля Фе, была отпечатана. Ноланец, разумеется, ждал неприятностей. Ждал, что на его голову посыплется ругань, что школяры по чужому наущению станут чинить ему разные пакости или даже подстерегут где-нибудь в темном закоулке. Не исключено, что его выставят из академии. Но как сможет де ля Фе отмолчаться и избежать диспута?

Худшие предположения Бруно оказались слишком радужными. Стража попросту увела его в тюрьму.

Жан Бержон, арестованный вместе с Бруно, думал лишь о том, как бы побыстрей выпутаться из опасной истории. Похоже, что затея выйдет ему боком. Бержон не стал ничего утаивать. Это монах

итальянец ввел его в заблуждение и уговорил печатать свою книжонку: в ней, мол, нет ничего предосудительного, одна философия. Печатник клялся, что никогда больше не повторит ошибки и без дозволения начальствующих лиц не издаст ни одной строки. Снизойдя к мольбам Бержон а и учитывая его стесненные денежные обстоятельства, члены магистрата ограничились штрафом в двадцать пять флоринов.

В тюрьму, чтобы допросить арестованного, явились несколько пасторов и Мишель Варро, секретарь, магистрата. Бруно крайне удивлен. Оказывается, его лишили свободы не по злостному навету, а лишь за то, что он осмелился обнародовать свои возражения де ля Фе! Но ведь все написанное им сущая правда: тот в одной лекции допустил двадцать грубейших ошибок! Выслушивать резоны Бруно не хотят. Кто он? Беглец, бывший монах, чужак. Напрасно он говорит, что сам прежде преподавал философию и богословие. Здесь, в Женеве, он записался как студент, но вместо того, чтобы старательно изучать доктрины святой реформации, пытался хитрыми софизмами охулить достойнейшего профессора!

Пасторы и секретарь совета в один голос называют напечатанную работу Бруно «клеветнической книжонкой». Они не желают вдаваться в подробности и разбирать суть его возражений. Прав, конечно, де ля Фе. Стало быть, всякий, кто выступает против него, клеветник. А человек, очернившей деля Фе, оскорбил академию и тем самым всю общину. Ему нет оправданий. Мало того, что Бруно оскорбил де ля Фе, он еще решился без дозволения властей печатать свою клевету. Никому не дано безнаказанно нарушать законы Женевы! В них ясно сказано, что всякий, кто допустит какой-либо выпад против служителей церкви, правителей и членов магистрата, — преступник. Профессора академии тоже считаются должностными лицами. Не только прямое оскорбление, но и любая критика их карается тюремным заключением.

Драконовы законы! Но спорить бесполезно. За каждое слово, сказанное поперек облеченным властью невеждам, тут же сажают под замок. Бруно с трудом сдерживает гнев. Из тюрьмы его выпустят, коль скоро он выразит раскаяние!

Господин Варро нетерпелив. Что же, наконец, передать совету? Понял ли арестованный свою вину? Вину? Он, Бруно, еще слишком недолго находится в Женеве, чтобы знать все их законы. Но он и впрямь виновен, что без согласия властей напечатал свое сочинение.

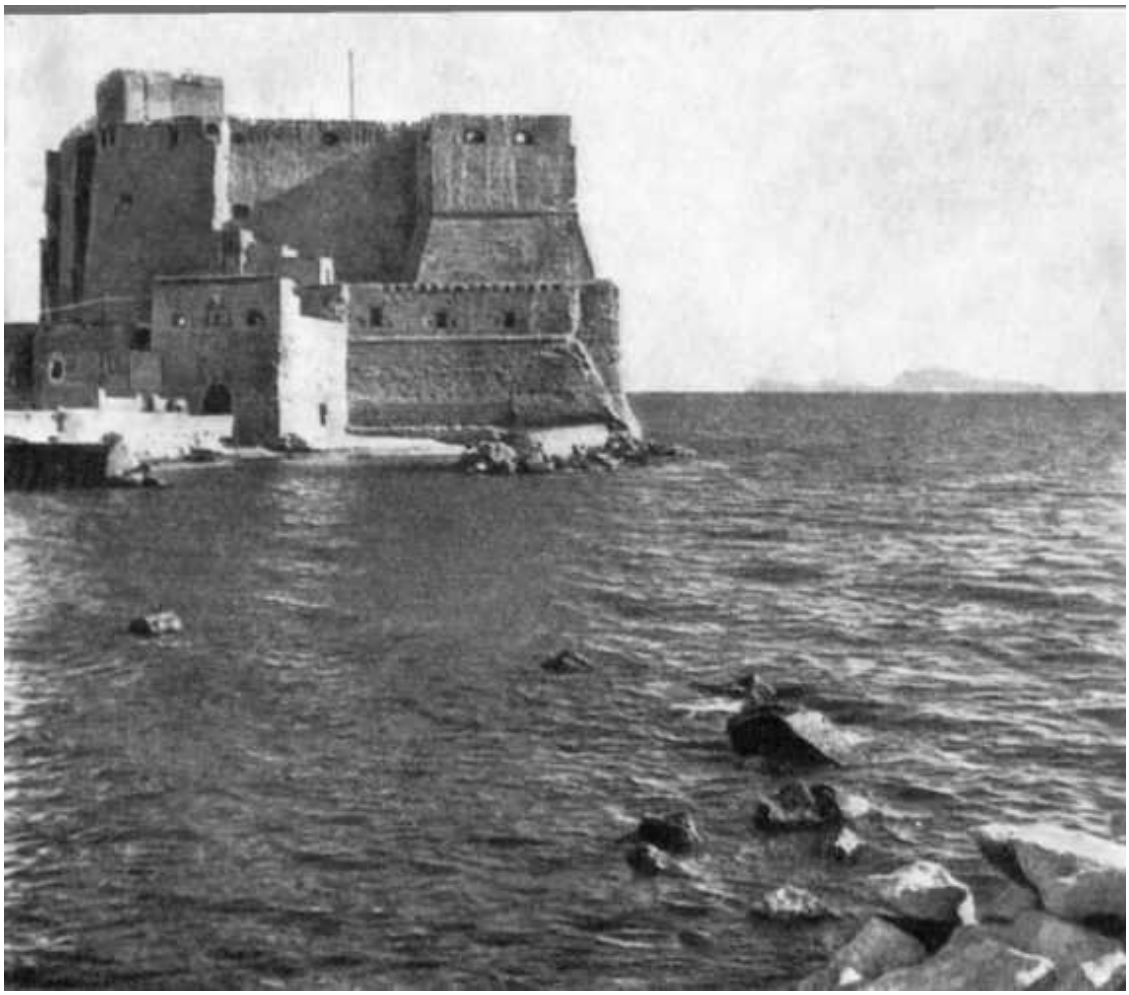
Его поправляют: «клеветническую книжонку». Слова увещевателей звучат сурово. Он увидит свободу после того, как попросит прощения у бога, у правосудия, у оскорбленного де ля Фе. В консистории он подтвердит свое раскаяние. Сочиненная им клеветническая книжонка будет разорвана и сожжена.

Жестокость католических инквизиторов давно была притчей во языцех. Об ужасах, которые доводилось переживать людям в застенках Святой службы, говорили с содроганием. Публицисты-протестанты не упускали случая, чтобы лишний раз не помянуть Злодейства Инквизиции. Может быть, сторонники реформации отличались терпимостью и в их землях не пылали костры, обращавшие в пепел еретиков?

Терпимость? Суровый и непреклонный Кальвин видел еретика в каждом, кто не держался истинной веры, то есть той единственно правильной, которую сам проповедовал. Женевские реформаторы огнем и мечом преследовали несогласных. Жестокостью гонений они могли поспорить с папистами. Начало этому положил Кальвин. Женева стала местом, где протестанты наглядно показали, что не намерены уступать врагам в ревностном искоренении инакомыслящих. Жертвой их пал и испанский ученый Мигель Сервет.

С юных лет Сервет отличался вольномыслием. Спасаясь от инквизиции, он вынужден был покинуть родной Арагон и искать убежища во Франции. У него воинственный темперамент и жгучий интерес ко всему, что волнует современников. Он не может не участвовать в полемике, которая разгорается между правоверными католиками и приверженцами реформации. Борьба идет за умы людей. Сервет с головой уходит в философию, историю, богословие. Его не удовлетворяют ни Лютер, ни Кальвин. Они провозгласили, что очищают христианскую веру от папистских извращений, но почему тогда они сохраняют догму о триединстве божества?

Сервету близки настроения самых радикальных борцов с. церковью. Он нападает на учение, разделяемое и католиками и протестантами: догма о трех ипостасях бога — бессмыслица! Многих теологов, снискавших себе добрую славу в протестантском мире, Сервет настойчиво убеждает отказаться от этой ложной догмы. Раз уж реформировать старую веру, так реформировать основательно!



Неаполь. Кастель делль Ово.



Кастель Нуово.



Аппиева дорога.



Генуя. Монастырь.

Когда Сервет издал свои тезисы, его принялись травить со всех сторон. Он вынужден скрываться под чужим именем. В Лионе работает корректором, в Париже вместе с Везалием много времени отдает анатомии. Сервет вносит значительный вклад в изучение кровообращения: открывает циркуляцию крови в легких. Его занятия медициной перемежаются с занятиями астрономией, математикой, географией, метеорологией. Он с успехом практикует как врач. Увлечение астрологией навлекает на Сервета беду. Против него

возбуждают судебное дело. Он не может ждать, пока в нем, знатоке медицины, разоблачат известного еретика, и исчезает из Парижа.

Проходят годы. Сервет в качестве личного врача живет у одного французского епископа. Он пользуется достатком, покоем, уважением. Но Сервет неугомонен. Он думает склонить на свою сторону Кальвина. Вступает с ним в переписку, резко его критикует. Кальвин задет за живое. Он тоже считает Сервета еретиком. Переписка обрывается.

С большими предосторожностями Сервет издает книгу, где излагает свои взгляды. Как только это сочинение попадает Кальвину, тот наносит удар. Нет, он не намерен сейчас опровергать еретические положения, он знает куда более действенное средство: пусть-ка их автора приберет к рукам инквизиция! И вот Кальвин, злейший враг папистов, толкает своих единомышленников на донос. Сервета вызывают в инквизицию. Ему удается отрицать свое авторство. Но недолго остается он на свободе. В трибунал присылают из Женевы письменные улики — в том числе и не возвращенную Кальвином рукопись Сервета, — которые неопровержимо доказывают, что именно он автор преступной книжки. Еретику грозит костер.

В последний момент Сервету удается бежать. После нескольких месяцев скитаний он приезжает в Женеву. Тут его неожиданно арестовывают. Кальвин в нарушение закона добивается, чтобы Сервета судили как еретика. Но ведь он иностранец, никогда прежде в Женеве не бывал, книги издавал за границей, не совершал никаких преступлений против города!

Весь свой авторитет бросает Кальвин на чашу весов; когда речь идет о пагубных идеях, могущих развратить народ, нет места юридической щепетильности. Раз Сервет не разделяет Кальвинова учения и отстаивает собственные взгляды, значит он еретик и тогда, конечно, заслуживает смерти!

Процесс этот имеет для Кальвина первостепенное значение. Смысл его не в расправе над одним из идейных противников, а в утверждении принципа: всякий, отступающий от новых догматов веры, может быть передан светским властям и умерщвлен как преступник.

Всеми силами добивается Кальвин смертного приговора. Сервет защищается и доказывает свою правоту. Большинство магистрата на стороне Кальвина. Узника неделями держат в цепях, морят голодом. Его заедают насекомые. А он еще находит силы нападать на Кальвина.

Ему выносят смертный приговор: богохульник будет сожжен. Если он хочет как-то смягчить свою участь, то должен отречься от ересей, которых держался. Ни за что на свете!

Упорство обходится Сервету дорого. Казнь обставляют с изрядной жестокостью, следят, чтобы хворост не был слишком сухим. Незадолго перед сожжением Сервет обращается с просьбой к членам магистрата: пусть прежде чем предать огню, ему отрубят голову. Об этой милости он просит на коленях. Сервет не скрывает своих побуждений, честно говорит, что страшится, как бы чрезмерные муки не заставили его поколебаться. К нему тут же подскакивает один из помощников Кальвина: если он отречется, ему окажут просимую милость. Сервет выпрямляется во весь рост. Этому не бывать!

На холме высокий столб и куча сырых, еще с листьями ветвей. Сервета приковывают железной цепью. На голову водружают венок из пропитанной серой соломы. Рядом книги и рукописи, любимые детища, — они разделят судьбу их автора. Сервет умирает не сразу, умирает в долгих муках на неумолимо ленивом огне…

Казнь Сервета вызывает бурю возмущенных голосов. Даже среди единомышленников Кальвина раздаются протесты. Допустимо ли в делах веры прибегать к насилию? Можно ли карать за убеждения? Звучат призывы к терпимости. Бунтует совесть, ширятся споры. Но это ничего не меняет. Кальвинисты сохраняют инквизицию: в Женеве пылают костры и обагряются кровью плахи. Теодор Беза уверяет, что лучше жить под самым жестоким тираном, чем разрешить каждому поступать по собственной воле. Дисциплина превыше гуманности. Говорить, будто еретиков нельзя предавать смерти, равносильно тому, чтобы противиться казни отцеубийц. А ведь еретики в. тысячу раз опаснее!

Принцип физического подавления инакомыслящих восторжествовал. Заклятые враги католических инквизиторов отправили на костер ученого, который отдал жизнь, отстаивая свободу убеждений.

Да, жестоко ошибался тот, кто думал, будто в Женеве дозволено иметь собственные мысли, не соглашаться со словами вероучителей и дерзко настаивать на своей правоте.

Шесть дней спустя после допроса в тюрьме Бруно приводят в консисторию. Он заставляет себя исполнить все, что от него требуют. Признать свою вину он согласен. Бруно знает о предстоящей церемонии

и хочет только одного: чтобы она скорее кончилась. Но дело приобретает совершенно неожиданный оборот. Теперь Бруно обвиняют не только в том, что он издал клеветническую книжонку. По поступившим сведениям, он вдобавок заблуждался в вопросах, веры и служителей женевской церкви называл педантами.

Бруно не выдерживает. Конечно, новые обвинения — дело рук мстительного де ля Фе! Бессильный опровергнуть возражения Ноланца, он хочет расправиться с ним по-своему. Есть ли на свете большая низость, чем ревностное желание разрешать ученые споры с помощью костра, удавки или тюремных цепей! От его благоразумия не остается и следа. Бруно возмущенно отвергает обвинения. Он знает, чья это работа: де ля Фе хочет злостным наветом его погубить. Если он и называл кое-кого педантами, то это не означает, что он совершил преступление против веры. Он ведь занимается философией! Или его даже лишают права отвечать людям, которые строили против него козни?

В консистории не расположены долго выслушивать Бруно. Он забыл, зачем его привели? Он и сейчас будет оскорблять должностных лиц или намерен покаяться?

Да, явившись сюда, он хотел просить прощения за самочинное издание рукописи. Но он не может примириться с клеветою де ля Фе, и раз ему предъявляют ложные обвинения, он отказывается просить прощения и не будет ни перед кем извиняться!

Ему снова разъяснили, что хулить должностных лиц или церковнослужителей равносильно отступлению от святой реформации. Если он не принесет извинений, его отлучат от церкви, и тогда он волен пенять на себя.

Бруно не ожидал такого исхода. Но он выслушивает угрозы и говорит, что готов подвергнуться осуждению.

Обвиняемого препровождают в магистрат. Здесь ему приходится совсем туго. Члены магистрата составили о нем мнение и просят применить суровые меры. Нельзя проявлять мягкости к человеку, который способен замутить весь университет. В последний раз его спрашивают, признает ли он вину.

Стоило бежать из Италии, чтобы здесь угодить в темницу? Глядеть сквозь тюремную решетку он мог и в Неаполе, там хоть было родное, благословенное небо. Сдавленным голосом Бруно отвечает, что

раскаивается в совершенном. Почему он говорит так расплывчато? Он должен отвечать без обиняков!

— Признает ли он, что оклеветал господина Антуана де ля Фе?

Кровь приливает к лицу. Он произносит с трудом:

— Признаю!

Слишком поздно! Он достаточно ясно обнаружил свое упрямство, чтобы отделаться только признанием вины. Пусть-ка он все-таки почувствует на собственной шкуре, что значит быть отлученным от церкви и подвергаться презрению общины! А там, коль перенесет заслуженную кару с должным смирением, можно будет и принять его извинения.

Их приводили в церковь на цепи, босыми, в рубище, с железным ошейником на шее. Заставляли стать на колени. Каждый, кто хотел, мог ткнуть их палкой, оскорбить, плюнуть в лицо. Непримиримость — похвальная добродетель. В любителях поизмываться не было недостатка. Милое дело — безнаказанно унижать человека и тем проявлять свою набожность!

Через две недели, 27 августа 1579 года, Бруно вновь предстал перед консисторией. Он должен смиренно просить, чтобы его допустили к причастию. Ему велели повторить, что он раскаивается в совершенном. Да, он на самом деле клеветал, клеветал как на служителей церкви, так и на господина де ля Фе. Он просит прощения.

На этот раз его тоже долго и настойчиво вразумляли. Бруно должен был все терпеливо выслушать. Последнее, что он обязан сделать, это изъявить благодарность за проявленную заботу. Если бы не их своевременно принятые, суровые, но необходимые меры, он бы с головой увяз в топи заблуждений. Его на все лады унижали и мучили, а теперь он еще должен за это благодарить!

В актах консистории отчет о деле Бруно заканчивается обычной фразой: виновный принял решение своих судей «с изъявлением благодарности».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

АКАДЕМИК НИ ОДНОЙ ИЗ АКАДЕМИЙ



Как только Бруно оказался на свободе, он немедленно покинул Женеву. Мучительные картины перенесенных унижений неотступно его преследовали. На всю жизнь впитал он в себя неприязнь к «реформаторам». Едва о них заходила речь, его охватывала ярость. Самые сильные выражения казались ему недостаточными, чтобы заклеймить проклятых, извращающих все доброе педантов. Бруно, который всегда осуждал нетерпимость и видел, во что превратили Европу попытки силой расправиться с инакомыслящими, вспоминая ревностных «реформаторов», восклицал, что их надобно давить, как гадюк и саранчу!

После того как он отведал женевской свободы, никакие разговоры об опасностях, подстерегающих иностранцев меж бранчливых французов, не могли его остановить. Да и теперь, правда, позиции

итальянцев при французском дворе снова упрочились. Год 1579 был сравнительно тихим. Пушки молчали. Но страна, обессиленная войной и разрухой, несмотря на мир, переживала тяжелое время. Деревни, уцелевшие от грабежа ландскнехтов, становились добычей мытарей. За неуплату налогов гнали в тюрьму. Многие поля лежали необработанными. На дорогах хозяйничали шайки разбойников. Путешествовать было крайне рискованно.

В Лионе, куда прибыл Бруно, жило много итальянцев. Город славился превосходными типографиями. Книг в Лионе печатали больше, чем в Париже. Однако сколько-нибудь подходящих занятий Джордано так и не нашел. Месяц, который он тут прожил, был не из лёгких. Бруно задумал ехать в Тулузу.

Через Авиньон и Монпелье он добрался до Тулузы. Город был надежным оплотом католиков, колыбелью доминиканцев. Из стен университета вышли известные теологи и специалисты по каноническому праву. Среди десяти тысяч студентов встречались люди со всех концов Европы. Они приносили изрядный доход. Это вынуждало магистрат относиться к чужестранцам, если они не проповедовали ересь, с большей долей терпимости, чем к собственным гражданам. Бруно удалось найти частные уроки. Он преподавал астрономию и философию.

Из Парижа приходили дурные вести. Весной 1580 года в столице вспыхнула чума. Болезнь начиналась с какого-то странного кашля, похожего на коклюш. Врачи советовали воздерживаться от вина, давали больным ревень, делали кровопускания. Однако эпидемия распространялась. Природа тоже не была милостива к французам. Несколько городов пострадало от землетрясения. Постигшие страну беды усугублялись тревогой. Католики и гугеноты не доверяли друг другу. Войск не распускали. Солдаты шарили по опустевшим домам.

Когда в университете освободилось место ординарного профессора философии, Бруно задумал участвовать в конкурсе. Ради этого он решил получить степень магистра искусств. На конкурсе он вышел победителем. Его утвердили в должности и разрешили читать лекции. В обязанности Бруно входило уделять в своем курсе особенное внимание книге Аристотеля «О душе».

Впервые после бегства из монастыря положение Бруно стало сравнительно благополучным. Но университетские успехи и

неприятности не очень его волновали. Когда расходились студенты и он возвращался домой, начиналась настоящая работа. Он много занимался логикой, теорией познания, психологией, Джордано задумал обширный труд «Великий ключ». Он мечтал создать «искусство искусств», овладение которым не только помогало бы человеку логически мыслить, легко запоминать все необходимое, но и воспитывать волю.

Время над книгами и рукописями проходило незаметно. Месяц летел за месяцем. В университете, пока он излагал взгляды Аристотеля и его привычных толкователей, все шло гладко. Но Бруно не мог ограничиться пересказом чужих мыслей. Он находил, что в книге «О душе» Стагирит наговорил больше не-, сообразностей, чем в других сочинениях. В лекциях Бруно все чаще и чаще звучали мысли, идущие вразрез с учениями перипатетиков. Здесь это считалось недопустимым. Страстные ревнители традиций и веры поднялись на Ноланца войной. На его лекциях стали раздаваться оскорбительные возгласы и топот. Бруно не пожелал понять предупреждения. Враждебные выходки участились. Его вынуждали покинуть кафедру:

Вызвать вражду со стороны тулузских студентов было делом весьма опасным. Воинственность и фанатизм давно снискали им недобрую славу. Еще Рабле не преминул пройтись по их адресу: «Пантагрюэль проследовал в Тулузу и там отлично выучился танцевать, выучился фехтовать обеими руками, как то принято у местных студентов, но едва он увидел, что эти самые студенты живьем поджаривают своих профессоров, точно это копченые сельди, то не стал там далее задерживаться и, отбывая, воскликнул: «Не дай мне бог умереть такой смертью! Я от природы человек пылкий, куда мне еще подогреваться на костре!»

Из Тулузы Бруно направился в Париж. Чума прекратилась. В прошлом, 1580 году она унесла только в столице и ее окрестностях больше тридцати тысяч жизней. Страна была дотла разорена войной, неурожаем, эпидемией, откупщиками. Крестьяне, чтобы уплатить недоимки, продавали последний скарб и даже солому с крыш. А король ради своих развлечений с поразительным легкомыслием опустошал казну.

Осенью 1581 года он устроил невиданно пышные празднества по случаю бракосочетания одного из своих любимцев с сестрою

королевы. Неделями продолжались балы, маскарады, водные феерии. Генрих III хотел показать, что, несмотря на все невзгоды, страна полна сил: после междоусобиц настало время, когда французы без различия вероисповедания и политических взглядов объединились вокруг трона и наслаждались миром. Этой мысли были подчинены и сюжеты гобеленов, и убранство пиршественных залов, и аллегорические танцы «Балета Цирцеи». Генрих Валуа, великий миротворец, принес Франции покой и согласие!

Молодого короля окружали алчные прожигатели жизни, распутники, дуэлянты, красивые и доступные дамы. В его походке было что-то женское, вкрадчивое, жеманное. Он подолгу просиживал перед зеркалом, подбирал украшения, выдумывал затейливые прически. Любил крепкие духи и расшитые драгоценными камнями одежды. Завивал волосы, носил на шее тяжелую золотую цепь, в ушах — жемчужные серьги, на руках — перстни. Он славился безумным мотовством и не жалел денег на подарки фаворитам.

Пресытившись развлечениями, вдруг хватался за ум, вставал чуть свет, читал государственные бумаги, носился с далеко идущими планами, не давал покоя министрам, беседовал с послами. Он был очень занят: уделив полчаса проекту важных реформ, почти целый день ломал себе голову, как сделать элегантней костюм кавалера и не заменить ли брыжжи итальянским отложным воротничком.

Приступы раскаяния наступали внезапно. В разгар пирушки он заливался пьяными слезами и велел всей компании, разгоряченной флиртом и танцами, немедленно отправляться в церковь замаливать грехи. Наступали дни религиозных процессий, самобичевания, паломничества к святым местам. Король со свитой кочевал из монастыря в монастырь, раздавал милостыню, постился.

Он был рабом настроений. Набожность улетучивалась так же быстро, как и появлялась. Он мог с ватагой своих любимцев, не снимая покаянного наряда, горланить непристойные песни. В дорогой одежде валялся на земле перед распятием, а на свадебном пиру отплясывал с четками у пояса в виде маленьких черепов. Он нередко впадал в меланхолию., бесцельно слонялся по дворцу, часами, сосредоточенный и угрюмый, играл в бильбоке.

Монарху полагалось быть меценатом — морить голодом настоящих ученых и осыпать милостями стихотворцев, воспевающих

королевских любовниц. Но роль покровителя муз не была для Генриха одной только позой. Он на самом деле интересовался научными трактатами, любил стихи, посещал концерты, изучал латынь, упражнялся в красноречии. Ему ставили в вину даже эту безобиднейшую из его страстей. Пусть откажется от короны, шипели враги, и запрется в келье со своими книжками! Попреки и издевки сыпались со всех сторон. Над ним зло потешались в эпиграммах. Король превратился в грамматика! Иноземные послы не без иронии доносили своим повелителям: Генрих III Валуа, слушая философию, теряет ежедневно по три часа.

В юности Он мечтал стать монархом-философом, не расставался с поучениями Макиавелли. Но в наследство ему досталось раздираемое смутами королевство, и он часто не знал, что делать. Слабохарактерность и жажда наслаждений брали верх над благими намерениями.

В начале царствования Генрих провозгласил, что не будет добиваться новых владений, — третья корона, после польской и французской, ждет, мол, его на небе! Он много говорил о своей ненависти к войне, обещал восстановить в стране порядок, искал соглашения с гугенотами.

Генрих III в глазах Бруно обладал одним несомненным достоинством: он стремился к миру, хотел, навсегда положить конец братоубийственной распре, которая долгие годы терзала Францию.

Золотые дни Плеяды канули в вечность. Религиозные распри обескровили Францию: некогда плодородные нивы зарастали чертополохом, гнет фанатизма душил поэзию. Молодые жизнелюбцы и бунтари превратились в придворных поэтов и состарились, служа престолу. Когда Бруно приехал в Париж, из семи поэтов Плеяды трое уже умерли. Ронсар писал мало. Любимым поэтом Генриха III был не он, а Филипп Депорт, страстный петраркист и не менее страстный католик, изощрявшийся в искусстве воспевать любовное томление. Голос опечаленного воздыхателя нередко забивался голосом благочестивого аббата: в стихах явственно звучали призывы к покаянию. Эта смесь жеманной эротики с набожностью была королю по вкусу.

Понтюс де Тиар давно отказался от поэзии и посвятил себя философии. Жан Антуан де Банф целиком отдался реформе

французского стихосложения и уверял, что если следовать выработанным им правилам, то можно достичь слияния поэзии с музыкой. Он основал общество, Академию Баифа, где часто собирались вельможи, стихотворцы и музыканты. Баиф был убежден, что реформа метрики вольет живую струю в духовную музыку и принесет большую пользу католической пропаганде.

Академией заинтересовался и король. Он стал приглашать ее членов во дворец, устраивал дискуссии, сам не прочь был поразглагольствовать на возвышенные темы. Такие встречи со временем вошли в привычку. Почти каждый день после обеда в маленькой комнате без окон собиралось при свечах избранное общество: Генрих III, его любимцы, фаворитки, несколько ученых и поэтов. Понтюс де Тиар рассуждал о движении небес, Дюперрон ораторствовал на библейские сюжеты, Ронсар держал речь о нравственном совершенстве. Беседы о добродетелях продолжались часами, а присутствие галантных дам, неизменных участниц бурных ночных увеселений, придавало им особую пикантность. Король не возражал, когда кружок этот стали напыщенно именовать Дворцовой академией.

Звание ординарного профессора Тулузского университета давало Бруно возможность начать преподавание и в Сорбонне. Обстоятельства складывались для него благоприятно. Большую роль сыграло в этом знакомство с Джованни Моро, послом Венеции при французском дворе. Человек широких умственных интересов и тонкий ценитель поэзии, Моро использовал свои обширные связи и оказал Ноланцу протекцию.

Бруно получил разрешение выступить в Сорбонне, чтобы познакомить с собою профессоров и студентов. Он прочел тридцать лекций о тридцати атрибутах божества согласно Фоме Аквинату. Лекции имели большой успех, и ему предложили стать ординарным профессором. Бруно отказался. Эта должность была сопряжена с рядом тяжких для него обязанностей: среди прочего требовалось непременно посещать мессу. Лучше он будет нуждаться, но сохранит хоть относительную свободу!

Он объявил курс мнемоники. Эти лекции еще больше, чем прежние, создали ему громкую славу. Мнемоника была в моде. Кого

же не соблазнит перспектива в короткий срок получить верный ключ к знанию? В аудитории, помимо студентов, часто сидели и профессора.

О чем бы ни шла речь: о труднейших вопросах философии или риторических приемах, он был весь — остроумие, вдохновение, страсть. Строгие доказательства сменялись шуткой, за цепью блистательных умозаключений следовали стихи, отвлеченные философские понятия облекались в плоть живых образов. Древние боги и богини прилежно служили логике. Бруно создавал целый мир аллегорий. Лекции его, глубокие и яркие, были образцом необычайного красноречия. Студенты едва успевали за ним записывать.

Однажды Бруно позвали во дворец. Сам король оказал ему честь побеседовать с ним. Он был очень любознателен, этот король! Длинное лицо с высоким лбом, чуть вздернутые, словно от удивления, брови, безвольный подбородок, живые глаза. Ему прожужжали все уши о лекциях Бруно и о том чудесном искусстве, которое он преподает! Неужели он впрямь обладает из ряда вон выходящей памятью и может развить ее в других? Джордано не заставил себя упрашивать и продемонстрировал свои способности. Генрих был в восторге. Больше всего короля интересовал вопрос, как он этого добился, естественным путем или магическими приемами?

Просвещеннейший монарх, друг философов и любитель книг, конечно, склоняется к мысли, что дело не обходится без вмешательства нечистой силы! Бруно объясняет королю суть мнемонического искусства. Каждый может развить свою память, если будет держаться правильной системы и проявит должную настойчивость. Генрих не особенно верит. Приходится доказывать, что магия тут ни при чем, а успехи мнемоники — это успехи науки. Кажется, он убедил короля. Значит, и он, Генрих, под руководством опытного наставника в состоянии постичь это искусство? Король загорелся. Он хочет попробовать, и надеется, что синьор Бруно обучит его всем тонкостям.

Бруно давал уроки королю, составлял для него задания, придумывал интересные примеры. Прилежным учеником Генрих не был. Все, что требовало усилий, быстро ему надоедало. Наскучила ему и мнемоника. Но он продолжал благоволить к Ноланцу и, когда тот попросил разрешения посвятить ему одну из книг, согласился. «О тенях идей» и «Искусство памяти» Бруно отдал печатнику.

Хотя он и называл «Тени идей» книгой о памяти, содержание ее было значительно шире. Мнемоника для Бруно — это не набор рецептов, позволяющих механически развивать память, — это наука, связанная как с психологией, так и с теорией познания. А изложение теории познания требовало и изложения ряда основных философских воззрений.

В столкновениях противоположных суждений ищет Ноланец истину. Давнее противопоставление природы и духа, материи и формы он считает ошибочным. «Едино тело всего сущего». При всем многообразии форм существования материи в основе вещей лежит, одна и та же субстанция.

Ноланцу чужда мысль о непознаваемости мира. Человек, изучая окружающее, познает не мир абстракций, универсалий, а физическую действительность. Бруно разбирает учения Платона и Аристотеля об идеях. «Вечные идеи» существуют вне материи? Для Бруно идея или душа — жизненное начало — неотделима от материи, присуща материи. Она формирует материю изнутри.

Все вокруг постоянно изменяется, но в основе своей вселенная остается неизменной. Рождаются и гибнут индивидуумы, бытие же вечно. Изменяющееся постигается чувствами, неизменное обнаруживается разумом. Интеллект не открывает какой-то особый мир идей, стоящий над реальным миром, а тот же реальный мир. Мир идей — это тот же воспринимаемый чувствами мир, только понятый в его постоянстве. Чувства и разум постигают с разных сторон одно и то же бытие. Человек способен постичь не только внешний облик, но и суть вещей.

Единство вселенной обусловливает всеобщую взаимосвязанность явлений. Цепь превращений непрерывна: сложное становится простым, простое — сложным. В мире совершается круговорот элементов: земля разжижается в воду, вода в воздух, воздух в огонь, огонь сгущается в воздух, воздух в воду, вода в землю.

«Природа может творить все из всего». Природа от единого спускается к множественному, познающий разум поднимается от множественного к единому. Постепенный переход от тени к свету необходим — он не отдаляет истины, а приближает ее, ибо человек не может сразу узреть истину во всем ее блеске и не потерять зрения.

Всеобщая взаимосвязанность вещей соответствует всеобщей взаимосвязанности понятий. Устанавливать эти связи — значит не только познавать реальный мир, но и помогать памяти.

Ноланец — враг предубеждений. Он не отринет презрительно ни тайн пифагорейцев, ни веры платоников, ни мнений перипатетиков, коль скоро они соответствуют действительности. Он не любит только тех философов, которые не находят ничего хорошего в других системах. Но он непримирим к людям, выдающим за истину собственные фантазии. Бруно высказывается против богословских учений. Христианство для него только одна из сект. Он убежден, что с прогрессом знаний религиозные доктрины разлетятся в прах.

Бруно верит в силы человеческого разума. Он не видит пределов познанию — оно, как и вселенная, безгранично!

К изложению теоретических основ, на которых он возводил здание мнемоники, было приложено практическое руководство — «Искусство памяти», снабженное рисунками, мнемоническими стихами, загадками». Бурное воображение Ноланца населило книгу множеством образов, почерпнутых из природы и мифологии. Связанные друг с другом, они помогут легко запомнить любую вещь!

В награду за посвящение книги и преподанные ему уроки Генрих III назначил Бруно экстраординарным профессором и положил ему жалованье.

«Тени идей», первая изданная в Париже книга Ноланца, вызвала много пересудов. Ее понимали по-разному. Людей, привыкших внимать словам, а не мыслям, сбивала с толку терминология. Если он расширяет Платоново учение, то почему так странно? Его «Тени» слишком темны? Ну что же, он готов это исправить: он прибавит света. Скоро, очень скоро он рассеет сомнения и положит конец кривотолкам.

В Париже Бруно снова столкнулся с ненавистным ему типом людей: богатые и честолюбивые бездельники жаждут добиться успеха с помощью оккультной философии. Эти меценаты и благодетели, слишком ленивые, чтобы всерьез заниматься наукой, хотят за деньги и обещания покровительства выведать секреты магии и поставить сверхъестественные силы на службу своим страстям. При дворе процветают всякого рода шарлатаны, звездочеты и гадатели. Королевское семейство опекает чернокнижников. Екатерина Медичи, царственная маменька, держит при себе итальянца-астролога. Король

живо интересуется алхимией. Влиятельнейшие сановники не жалеют золота на гороскопы, водятся с некромантами. Как тут не вспомнить Неаполь, где на каждом шагу можно повстречать алхимика или мага!

Много ждал Бруно от Франции, надеялся, что найдет здесь в научном мире иную, чем на родине, обстановку. Конечно, парижские профессора отличаются от итальянских. Но так ли существенны эти различия и не перевешивают ли их черты поразительного сходства? В академиях здесь, как и в Италии, верховодят педанты.

Ты жив, Манфурио! И на французской почве ты чувствуешь себя так же вольготно, как и в Неаполе! Давно, еще в монастыре, Бруно сочинял комедию. Теперь образы этой комедии вновь на него нахлынули. Он с головой ушел в работу над «Подсвечником»[9]. Под пером его оживала неаполитанская улица. Впечатления юности навсегда остались в сердце. Люди, которых он хорошо знал, стали прообразами действующих лиц. Три темы, по его замыслу, составляли основу комедии: любовь Бонифацио, алхимия Бартоломео, педантство Манфурио.

Бонифацио, уже немолодой дворянин, воспылал страстью. У него красавица жена, но он бредит не о ней. Куртизанка Виттория лишила его покоя. Он не хочет тратиться на подарки и решает добиться своего с помощью колдовства. Так-то оно будет намного дешевле! От знатока магии он выведал способ, как приворожить любимую. Виттории становится известно о его затее. Она мечтала за счет Бонифацио сколотить приданое, но воистину из камня не выжмешь вина. Пусть же любострастный скряга на собственной шкуре испытает последствия своей ворожбы! Несколько мошенников задумали погреть руки на этой истории. Они уговаривают Бонифацио, чтобы он, отправляясь на свидание, переоделся художником Джованни Бернардо.

Раздосадованная Виттория предупреждает жену своего воздыхателя. Карубина жаждет мщения. Она согласна взять на себя роль куртизанки и в ее комнате дождаться муженька. В темноте она его хорошенько проучит! Вопящий от боли, опозоренный и разоблаченный Бонифацио винит во всем подлую сводню. Тут появляется художник Джованни Бернардо, влюбленный в Карубину, и требует удовлетворения. Ведь Бонифацио, выдавая себя за него, мог совершить

любые злодейства! На шум прибегает стража. Это переодетые плуты. Они уводят Бонифацио.

Встретившись с чернокнижником, что продал ему заклинания, Бонифацио напускается на него с попреками. Но хитрый маг выходит из положения: в приключившейся неразберихе виноват, конечно, сам Бонифацио. К восковой фигурке надо было: прилепить женские волосы, но взял он не волосы Виттории, а Карубины. Потому-то в постели куртизанки и оказалась его жена.

Карубина, возмущенная неверностью мужа, проявляет благосклонность к философствующему художнику. В довершение всего Бонифацио, опасаясь огласки, вынужден ублажать мнимых стражников подарками и просить прощения у художника и собственной жены.

Основная интрига переплетается со сценами, где главные действующие лица — одержимый страстью к алхимии Бартоломео и педант Манфурио. Бруно всегда презирал людей, которые тратят жизнь на бесполезные занятия и, словно жуки, копошатся в своем педантском навозе. Манфурио — руководитель гимназии, доктор всяких наук. Он способен только тиранить школяров, изрекать сентенции и сочинять по заказу такие послания к чужой возлюбленной, что они больше походят на шифрованные записки. Профессор древней словесности, он говорит на потешной смеси итальянского языка с латынью. Простые неаполитанцы понимают его с трудом. Когда у него вырывают деньги, он не кричит «обокрали» — ученый муж должен избегать обыденных слов. Речь Манфурио пересыпана цитатами. Он ссылается на античных мудрецов и ведет себя, как последний глупец. От его книжной учености нет никакого проку. Он важен и беспомощен, многословен и скуп. Манфурио тоже становится добычей мошенников. У него отбирают тогу, шляпу, кошелек. Вдобавок он получает линейкой по ладоням и добрую порцию розог.

Участь Бартоломео не завидней. Мечтая раскрыть секрет получения золота, он потерял и сон и аппетит. Ничто ему не мило, кроме его тиглей и реторт. Пока он, весь в саже, с воспаленными глазами, возится у своей печки, жена наставляет ему рога. За «Христов порошок», который должен превращать в золото неблагородные металлы, Бартоломео отвалил одному алхимику кругленькую сумму.

Но тщетно. Богатство к нему не пришло. Он утратил и то, что имел. Остаток денег у него тоже отнимают мошенники.

Безрадостное и обычное зрелище! Люди домогаются любви и золота, власти и лавров учености. Ради этого пускают в ход любой обман: галантные вирши, колдовские заклинания, подкуп, лживые алхимические рецепты, речи, уснащенные цитатами. Но ждет их одинаковая судьба: плуты, выдающие себя за блюстителей закона, обирают всех.

…Бруно писал комедию. Париж не заслонял родного неба Италии. Он снова был среди неаполитанцев, наслаждался их сочной речью, жил среди весельчаков и острословов, ловких проходимцев, обманутых жен и одураченных мужей, среди надутых педантов, озорных школяров, недругов и друзей.

Джордано дал волю своей неприязни к литературе, где эпигонское воспевание любовных томлений занимало главное место. Прошелся по адресу подражателей Петрарки, для которых верность классическому канону была превыше собственных мыслей и переживаний. Страсть к Виттории охватила Бонифацио в апреле, именно в ту пору, когда «влюбился Петрарка и ослы начинают задирать хвосты». Бруно высмеивал пустое многословие и уморительно пародировал любовные вирши. Все эти беспрестанные вздохи и слезы, сладостные раны, сердца, изжаренные на очаге любви, — все эти плоды поэтического безумства — признак глупости и безделья. В стихах вместо подлинных чувств избитые слова. Это не столько вопрос искусства, сколько вопрос этики. Галантная поэзия никчемна и безнравственна в основе своей: в тех же трафаретных выражениях воспевают страсть и к неприступной возлюбленной и к продажной распутнице.

Он писал сцену за сценой. Перед глазами стоял Неаполь, город, где ему открылись манящие дали, познания, город бессонных ночей над книгами, город первых гонений, город счастья. Джордано и на чужбине с чувством неизменной благодарности вспоминает синьору Моргану. Прошло много лет, как они расстались, но именно ей, доброй наставнице, что так заботливо пестовала его таланты, посвящает он свою комедию.

О донна Моргана, любите Ноланца так же, как он любит вас!

Занимаясь мнемоникой, Бруно увидел, какие неожиданные возможности открывало перед ним ее преподавание. В «искусстве

памяти» многое зависело от умения создавать прочную цепь ассоциаций. Удачно выбранный образ позволяет запомнить ряд определений. Но память перегружена старыми навязчивыми ассоциациями. Слова иногда кажутся неотделимыми друг от друга — они появляются, как колодники, навечно скованные вместе. В мозгу вертятся выражения и целые фразы, почерпнутые из церковного лексикона. Одно слово вызывает в сознании целый образ. Это открывает простор для иносказаний. Даже библейские обороты, которыми так принято было уснащать речь, Бруно обращает против церкви.

Интерес к «искусству памяти» был столь значительным, что вскоре после выхода в свет первой парижской книги Ноланца возникла потребность в издании следующей. Бруно был очень занят. Жан Реньо, его друг и ученик, взял на себя труд следить за изданием новой книги; составленной в основном из лекций Бруно по мнемонике. Она называлась «Песнь Цирцеи». Волшебница Цирцея, превращавшая людей в животных, рассказывает, по каким признакам можно разглядеть звериную натуру, даже если скрыта она под человеческой личиной. Служат ли перечисления этих признаков лишь для того, чтобы, сгруппировав понятия в определенном порядке, облегчить их запоминание? Возможности эзопова языка Ноланец использовал мастерски. Он учил не только «запоминать», он учил мыслить — освобождал разум от вековечных пут веры. Имеющий уши да слышит! Одна или несколько подробностей, верно замеченных в длинном ряду перечислений, помогали понять скрытый смысл.

Бруно не преминул воспользоваться и широко известной игрой слов «доминикани — домини канес»: «доминиканцы — псы господни». Орден святого Доминика был создан как оплот церкви в борьбе с ересью. Членами инквизиционных трибуналов особенно часто были доминиканцы.

— Как распознать среди множества собачьих пород самую злую?

— Это та самая порода варваров, которая осуждает и хватает зубами то, чего не понимает. Ты их распознаешь по тому, что эти жалкие псы гнусным образом лают на всех незнакомых, хотя бы и добродетельных людей, а по отношению к знакомым проявляют мягкость, даже если эти последние и отъявленные мерзавцы!

Невинные на первый взгляд примеры имели явный сатирический подтекст.

«Балет Цирцеи», поставленный при участии королевы, прославлял согласие, достигаемое с помощью религии. А в «Песне Цирцеи», сложенной Ноланцем, звучали совсем иные ноты.

Книги, трактующие о «великом искусстве», находили громадный спрос. Нередко на Луллиево искусство смотрели как на один из разделов оккультной философии. Привкус запретного и сверхъестественного действовал маняще. Раймунд Луллий оставил много трудов, но они не отличались ни стройностью изложения, ни ясностью. Читать их, особенно новичку, было очень трудно. На книжном рынке стали появляться различные руководства и комментарии. Самонадеянные и малосведущие толкователи лишь сгущали потемки.

Годами изучал Бруно работы Луллия. Он то восхищался его разносторонностью, то в сердцах называл болтуном, который не понимал всей глубины своих идей. Джордано хотел выбрать главное из сочинений Луллия, усовершенствовать «великое искусство» и сделать его по возможности более доступным.

Свою книгу он расширил изложением основ мнемоники, знание которой считал очень полезным при овладении методом Луллия. «Краткое построение и дополнение Луллиевого искусства» Бруно посвятил Джованни Моро, венецианскому послу.

Эта книга, как и две предшествующие, увидела свет в Париже в 1582 году.

Он пользуется успехом. На его лекциях в университете присутствуют профессора. От учеников, желающих быстро и без особых усилий постичь науки, нет отбоя. Ноланец преподает королю. Перед ним открыты двери аристократических домов и ученых собраний. В Пар иже несколько обществ, которые, как и высшие школы, в подражание итальянцам именуют себя академиями: Академия Баифа, Дворцовая академия, Академия герцога Анжу. Ученые и любители наук, собираясь по вечерам, обсуждают не только литературные и исторические темы, занимаются богословием и музыкой, они проявляют большой интерес к философии и математике. У Бруно много знакомых среди образованнейших людей Парижа. Ему

известно, о чем спорят в Сорбонне, что волнует лекторов Коллеж де Камбре и кем восхищаются в Дворцовой академии.

Внимательно читает Бруно философские сочинения французских ученых. Он хорошо знает работы Пьера де ля Раме, но мнения о нем невысокого. Тот, хотя и критиковал учение Аристотеля о логике, сути его воззрений не понял и поэтому не вел с ним настоящей войны»

В ученых кругах Парижа последователи Аристотеля и Платона занимали господствующее положение. Бруно, видевший одну из своих задач в возрождении истинной античной философии, философии материалистической, выступал как против перипатетиков, так, и против платоников. В юности он испытал на себе сильное влияние Платона, но сумел его преодолеть. Существование независимых от материи «вечных идей» было для него бессмыслицей. Он отвергал веру платоников в предопределение и их теорию любви к прекрасному, столь близкую сердцу петраркистов. Все, что хоть в какой-то мере оправдывало жизнь созерцательно-пассивную, было чуждо Ноланцу.

Многие современные Бруно приверженцы Платона проявляли куда больший интерес к идеям Коперника, чем перипатетики. Это объяснялось тем, что их кумир в «Тимее» хотя и весьма туманно, но говорил о вращении Земли.

Франция не могла похвалиться новой и целостной философской системой. Монтень далеко не завершил своей работы над «Опытами», и его слава еще только начинает восходить. Натурфилософией интересуются многие. В ученых кружках нередко обсуждают вопросы мироздания. Что движется: небосвод или сама Земля? Безгранична ли вселенная? Если небо не имеет конца, то оно недвижимо, и тогда, значит, движется Земля! Книгу Коперника читают, но выводов из его теорий не сделано. Схоластические доводы частенько предпочитают наблюдениям и расчетам.

Ронеар отвергал мысль о существовании других миров и разделял мнение, что Земля неподвижна. Баиф склонен был усомниться в непогрешимости Птолемея. Больше других Коперником занимался Понтюс де Тиар. Он допускал движение Земли, но идея множественности миров казалась ему нелепой.

Гугеноты, верные букве библии, держали сторону Птолемея. Дюплесси-Морне и слышать ничего не хотел о новой теории. Дю Бартас написал целую поэму о сотворении мира. Всякий, кто

осмеливается утверждать, что вселенная не была создана господом, а существует вечно, — безбожник, всякий, кто принимает Демокритову мысль о неисчислимых мирах, тоже безбожник!

Католики замалчивают мнение Аристотеля о вечности мира, гугеноты резко его за это порицают.

Те и другие, за редким исключением, смотрят на Птолемееву систему как на один из столпов своего мировоззрения.

Бруно хорошо знает, чем занимаются в ученых собраниях, он бывает при дворе, присутствует на диспутах. Здесь ломают голову над тем; как поискусней приспособить музыку и стихи для проповеди католичества, сдабривают библию греческий мифологией, пытаются заставить Геракла служить Христу. Там, подкрепляя невежество цитатами, выдают старые ошибки за непреложные истины, подражают античным образцам, усердно кропают любовные вирши — понапрасну иссушают мозг, ожесточенно препираясь из-за пустяков, и не ищут решения действительно важных проблем.

Король благоволит к Ноланцу. Многие им восторгаются. Двери академий перед ним открыты, Да, он читает в университете лекции, но он ничем не связан.

От должности ординарного профессора он отказался, чтобы не налагать на себя новые путы. Превыше всего на свете ценит он свободу убеждений. Джордано всегда отстаивает право иметь собственные мысли, как бы ни расходились они с общепринятым мнением. Он очень дорожит этой своей независимостью. В Париже, как и в Неаполе, не упускает случая лишний раз громогласно об этом заявить. На титульном листе его новой книги красуется заглавие: «Подсвечник», комедия Бруно Ноланца, Академика ни одной из академий».

«Тени идей» были далеко не легким чтением. Ноланец толкует Платона в неподобающем духе? Кое-кто правильно понял Бруно. Начались разговоры, что он держится, мол, весьма рискованных взглядов. Но, может быть, он лишь излагает Платоново учение с присущей ему оригинальностью?

Как он ответил? Встал на сторону тех, кто узрел в нем последователя Платона? Или подтвердил наихудшие предположения?

«Песнь Цирцеи» усилила разноголосицу. Уверяли, будто новая книга сплошь издевка над религией, плод зловреднейшего безбожия. У

Бруно находились и заступники: зачем придавать скрытый смысл невинным примерам, которые лишь поясняют приемы мнемотехники? Почему в обезьяне надо непременно видеть монаха? Где твердые доказательства, что Ноланец выставляет на посмешище духовенство и церковь? Да и следует ли «Песнь Цирцеи» толковать иначе, чем «Тени идей»?

И он ответил. Бруно ценил эзопову мудрость иносказаний, но совсем не хотел, чтобы его понимали превратно. Во вступительном письме к «Подсвечнику» он объявил, что комедия должна пролить свет и на «Тени идей». Он сдержал обещание. Света на этот раз было предостаточно!

В первой же сцене Бонифацио велит слуге торопиться «во имя благословенного ослиного хвоста, которому поклоняются генуэзцы». Дальше — больше.

Восхваляя магическое искусство, Бонифацио не скупится на примеры, когда магия восполняет недостатки природы; она обращает вспять реки, останавливает море, двигает горы, повелевает солнцем. Сколько насмешки над библейскими россказнями в одной только фразе! Господь останавливает солнце, чтобы Иисус Навин мог засветло перебить филистимлян. Моисей, спасая иудеев от фараоновой погони, велит морю расступиться. Вера способна двигать горами, утверждается в евангелии от Матфея. Не вера, выходит, а магическое искусство. Значит, и библейские истории, которыми тек восторгаются верующие, не больше чем проделки ловких магов!

К священнейшим для каждого христианина вещам Бруно относится хуже иного турка. При описании сценок, откровенных до неприличия, ввертывает библейские изречения, куски молитв, литургические формулы. Современные ему комедиографы не отличались особой стыдливостью, с подмостков неслись хлесткие выражения. Публику не надо было приучать к соленым шуткам. Но в «Подсвечнике» забористые фразы произносились не для красного словца, кощунство не было самоцелью. Церковь притязала на то, чтобы каждый шаг человека сообразовывался с библией. Так почему и в самых острых ситуациях, рассчитанных на уши взрослых, не выражать своих чувств привычными словами церковных текстов? Любая мысль должна опираться на священное писание? Бруно действовал усердно и последовательно: сакраментальные формулы в

весьма вольном контексте, строка из псалма среди смачных острот, евангельский образ в окружении двусмысленных намеков. Словами священного писания можно, оказывается, одинаково хорошо говорить и о догматах веры и о плотских утехах! От предписанного благоговейного трепета мало что остается, когда, услышав знакомые выражения, надрывают от смеха животы. Жена Бартоломео, жалуясь на его нерадивость, вспоминает известную молитву. Карубина рассказывает об отмщении мужу и пользуется словами из мессы. О любовном треугольнике — Джованни Бернардо, Бонифацио и Карубине — говорится как о единосущности троицы, важнейшем христианском догмате: «И эти трое едины суть!»

Непочтительнейшим образом отзываются в комедии не только о бездельниках дворянах или королях, но и о духовных лицах. Достается не одним монахам или монахиням, чьи обители подобны домам терпимости. Достается и самому папе. Бруно вспоминает Рим, Пия V и его декреты против продажных женщин. Конечно, святой отец жаждал не выгод от обложения куртизанок, а торжества добродетели. Он заботился лишь о том, чтобы уберечь честных матрон от пагубного примера!

В комедии напыщенно прославляют Италию. Есть ли на свете другая страна, где бы так процветала проституция! В Риме, Венеции и Неаполе знаменитые куртизанки пользуются величайшим уважением. В этих трех городах — подлинное величие Италии. Мудрые правители, среди них и папа, не без корысти опекают блудниц!

«Подсвечник» не оставлял ни малейших сомнений относительно взглядов Бруно на христианскую религию. Комедия была проникнута воинственным анти-церковным духом.

Способность его делать одновременно множество дел, жить полнокровной жизнью только вызывала удивление и зависть. Он читал в университете, давал уроки королю, бывал в ученых собраниях и писал, писал… Закончив комедию, вновь обратился к темам, давно его занимавшим. Джордано работал над «Печатью печатей». Он продолжал совершенствовать «искусство изобретения» и уделял много вниманий гносеологии. Его интересовали теоретические Основы мнемоники, метафизики, естественной магии. Он изучал различные, в том числе и труднообъяснимые, стороны психической жизни человека.

Бруно писал о многообразных видах «контракции», высшем напряжении духовных сил, одержимости одной страстью, крайней внутренней сосредоточенности..

Что такое откровения и вещие сны? Может ли сосредоточенность на одном каком-либо предмете вызвать, видение? Находят ли во сне решение задачи, которое никак не давалось наяву? Почему иногда люди в забытьи, не сознавая опасности, бродят по краю пропасти? Способен ли вдруг заговорить немой? В чем сила ясновидца? Что значит быть одержимым духами? Каковы возможности внушения? Кто поддается воздействию магов? Почему когда от больного отказывается ученый доктор, его подчас спасает знахарь? Для кого опасны ведьмы?

Бруно различал дурные и похвальные контракции,,Одно и то же душевное состояние в зависимости от устремлений может приводить к противоположным результатам. Древние мудрецы, годами живя в пустыне, достигали высот умозрения, и им открывалась истина. А отшельники-монахи только множат невежество.

О чем бы Бруно ни писал, он то и дело с иронией и гневом возвращался к религии. Не чудеса создают веру — вера создает чудеса. Колдунья может навредить только тому, кто убежден в ее могуществе и панически страшится ее чар. Любой кудесник бессилен там, где его презирают. Злые духи никогда не вселяются в разумных и образованных, они предпочитают людей суеверных и темных. Вера — необходимое условие всех магических и исцеляющих действий. Те врачи, которым сильнее всего верят, добиваются наибольших успехов в лечении. В толпе скептиков нечего делать чудотворцу.

А ведьмы? Бруно интересуют не обманщицы, торгующие колдовским зельем, и не те несчастные, что под пытками признались в общении с дьяволом. Есть женщины, которые убеждены, что летают на шабаш и отдаются демонам. Они одурманивают себя растираниями и особым питьем: дикие фантазии, вскормленные суевериями, принимаются за реальность.

Особенно ненавистны Бруно различные проявления религиозной мистики. Блаженные, которым по ночам является богородица, или полоумные монашки, свихнувшиеся на своей любви к «небесному жениху», куда более опасны, чем безудержные любовницы Люцифера. Тех-то ведь не выдают за образец для подражания! Бруно пишет достаточно прозрачно, чтобы читатель понял, фантазии каких

«праведников» он считает наивреднейшими. Бредовые фантазии святош питают не только их собственную постыдную глупость, но и глупость других ослов, которые видят в них апостолов и пророков.

Бруно издевается над теми, кто, стремясь превзойти других в святости, ради благочестивой худобы морит себя голодом или осыпает не слишком сильными ударами плети. Его возмущает тяжелое душевное расстройство, вызываемое иногда культом Христа. Он имеет в виду «стигматы» — язвы или покраснения кожи, выступающие, словно следы распятия, на руках и ногах. Прибегая к иносказанию, Джордано говорит о людях, которые «сосредоточивают всю силу своего воображения на смерти какого-нибудь Адониса». С помутившимся рассудком погружаются они в сладострастие печали и доводят себя до такого состояния, что на собственном теле вызывают появление «стигматов тех пронзенных божеств».

Религиозная исступленность ненавистна Бруно. Человек должен господствовать над своим воображением, чтобы не угодить в ряды тех, «кто обманывает себя пустым почитанием призраков, умерщвляет плоть и обессиливает дух различными искусственными средствами — уединением, молчанием, темнотой, дурманящими мазями, бичеванием, холодом или жарой — и идет навстречу жалкому умственному расстройству».

Какое состояние духа самое высокое и похвальное? То, когда человек устремляет все свои силы к благороднейшей цели и может во имя этого перенести любые муки. Непоколебимо убежденный в своей правоте, он способен на великие подвиги: не побледнеет, когда его начнут травить собаками, или брошенный на раскаленную решетку назовет ее ложем из роз. Ничто так не возвышает человека, как настоящая философия, как созерцание истины. Перед этим отступает страх смерти и словно исчезает чувство боли. Чем сильнее мучали философа Анаксарха, тем злее поносил он тирана Никокреонта. Вот такое состояние духа заслуживает наивысшей похвалы и более всего подобает философу!

Эпиграфом к «Подсвечнику» служили слова: «В печали веселый, в веселье печальный». Что хотел сказать этим Ноланец? Преследуемый невзгодами, пишет он комедию, чтобы не утратить душевного равновесия? Тешит себя комедией в годину горестей? Или печалится в час веселья?

Бруно переживал сравнительно счастливую пору. Окруженный толпой учеников, допущенный в университет, принятый при дворе, обласканный королем, он получил, наконец, возможность издавать свои книги. Он мог наслаждаться днями успеха и благополучия. Но он писал комедию, которая не сулила ничего, кроме неприятностей. Одного за другим выталкивал он на сцену людей, над которыми нельзя было не смеяться. Но смех его был полон сарказма. Как бы ни были забавны ситуации и безудержны шутки, за ними всегда виделось серьезное лицо Бруно.

Придирчивый всезнайка-эрудит найдет в «Подсвечнике» влияния других писателей, обнаружит избитые сценические приемы, подчеркнет заимствования. Итальянские подмостки и прежде знали расчетливых блудниц, докучливых педантов, дворян, верящих в магию, и всякого рода пройдох. Это были персонажи уморительных фарсов. Под искусным пером Ноланца маски превратились в живые физиономии. Шутки отдавали горечью. Фарс становился обличением.

Это была пьеса с традиционным переодеванием, с колотушками, мошенническими проделками, шумной неразберихой, солью уличной речи. Бруно называл «Подсвечник» истинной комедией. Но стоило задуматься, и эта бойкая, смелая в выражениях пьеса наводила на невеселые мысли. Прообразы подобных персонажей встречались повсюду, и их, к несчастью, было слишком много. «Подсвечник» кончался хорошо. А в жизни так ли уж часто наказывался порок? Ноланец и в веселье находил печаль.

Комедия была полна дыхания неаполитанской улицы, терпких басен, словно услышанных в порту, рискованных поговорок. Некоторые сценки казались зарисованными с натуры. Тем неприглядней была общая картина. Царство суеверий, невежества, блуда. Да, Неаполь не мог похвастаться добрыми нравами. Но только ли Неаполь?

Бруно не из тех, кто имел обыкновение показывать кулак в кармане. За тридевять земель от родины обличать порядки, царящие в Партенопейском королевстве? Тратить драгоценное время лишь на то, чтобы поиздеваться над далекими земляками? Предаваться воспоминаниям и сочинять комедию, когда впереди еще столько ненаписанных книг об основах его философии?

Издавая «Подсвечник», он думал не только о Неаполе. В Париже, Тулузе или Женеве было не меньше манфуриев и бонифациев, чем на юге Италии. Реакция, вызванная появлением «Подсвечника», подтвердила, что Ноланец попал в точку.

В Париже любили итальянский театр. На актеров, выписанных из Италии, король издержал целое состояние. Когда они давали спектакли, народу собиралось в несколько раз больше, чем на проповеди самых знаменитых проповедников. Произведения итальянских драматургов были широко известны. Издание «Подсвечника», разумеется, не прошло незамеченным.

Вельможи, желающие достичь своих целей е помощью магии, имели над чем поразмыслить. А мог ли «Подсвечник» прийтись по вкусу людям, которые видели в подражании античности единственный путь науки? Комедия, написанная по-итальянски, изобиловала народными выражениями. Находить удовольствие в пьесе, где издевались над страстью к латыни и где предметом осмеяния был профессор древней словесности, для которого Аристотель являлся величайшим авторитетом? Или Манфурио порадовал тех поэтов, что мнили себя служителями Аполлона и по заказу слагали стихи в честь чужих любовниц?

Безбожная комедия задевала церковников всех мастей. Ноланец не находит ничего лучшего, как использовать для непристойного зубоскальства библейские обороты и богослужебные формулы!

Парижские педанты без труда узнавали в комедии себя. Обидам не было конца. Любой прислужник оккультных наук, от преуспевающего астролога в королевских покоях до нищего хироманта, что на улице за грош предсказывал по ладони судьбу, мог счесть себя оскорбленным. Негодующе протестовали присяжные моралисты: Ноланца винили в скабрезности выражений. При дворе, погрязшем в пороках, очень любили разглагольствовать о добродетели.

Звучавшие вызовом слова «Академик ни одной из академий» были не просто бравадой. Автор «Подсвечника» имел мало общего с людьми, что собирались в ученых кружках, где боготворили Платона и Петрарку или приспосабливали музыку к задачам католической пропаганды.

Бруно умудрился за короткий срок восстановить против себя многих. Книги синьора Ноланца весьма любопытны, но обеспечат ли они ему спасение? О каком спасении шла речь? О спасении души? Это его совсем не волновало. Или здесь крылась угроза: уберегут ли, мол, его от расправы эти книги?

Если еще до выхода в свет «Подсвечника» Жан Реньо писал, что Бруно навлек на себя подозрения, то теперь ситуация усложнилась. Он все чаще сталкивался с проявлениями враждебности. Настойчиво велись разговоры о том, что сочинения Ноланца пагубно влияют на умы. Похоже, что люди обсуждавшие значение изданных им книг, пеклись не о его душе!

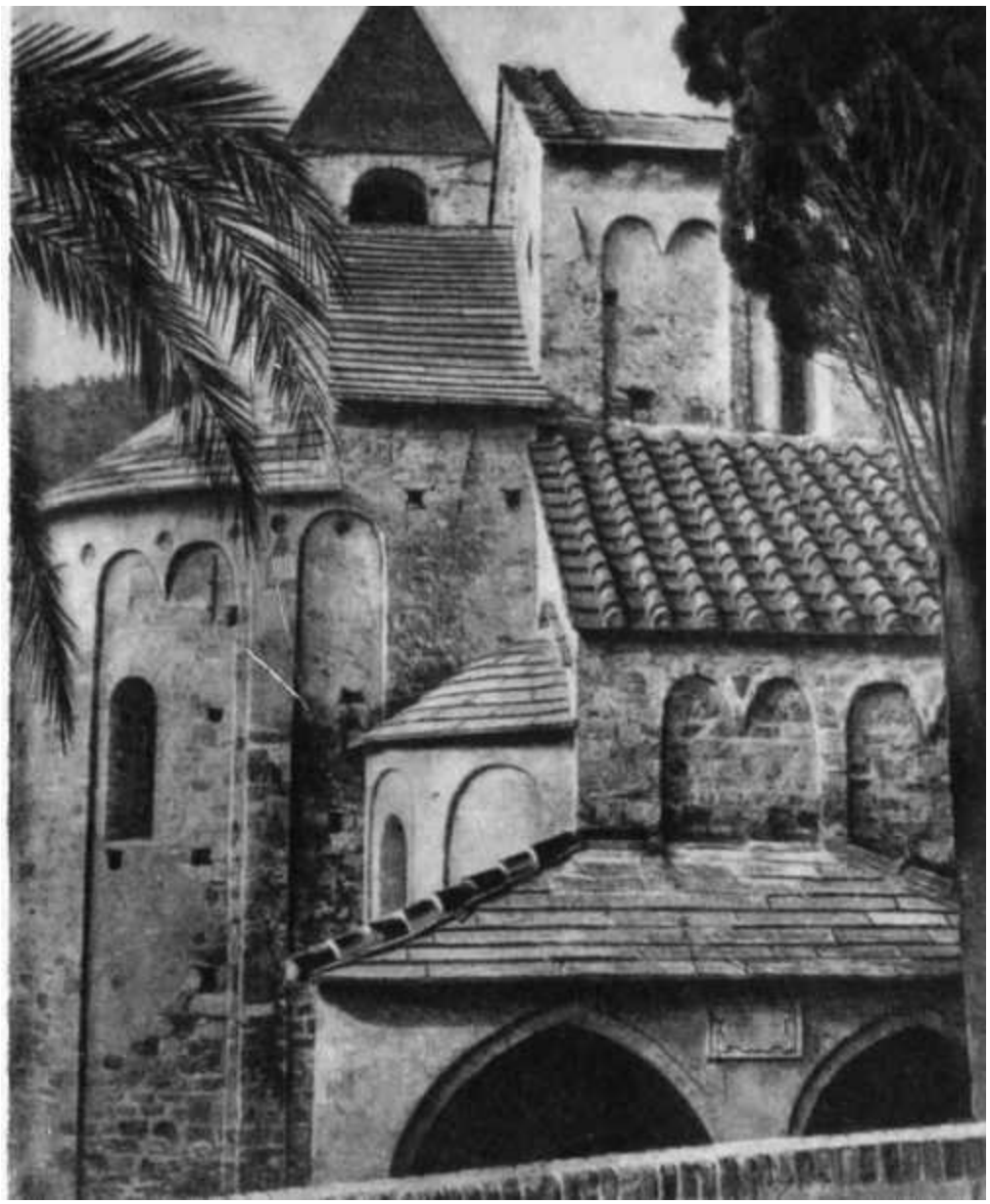
Год 1582-й прошел во Франции мирно, самый спокойный год за все царствование Генриха III. Междоусобиц не было, но напряжение сохранялось. Мало кто верил, что передышка будет долгой. Со страхом взирали на знамения. Осенью опять, как и весной, небо над Парижем вдруг озарилось каким-то необычайным светом. Не иначе, как быть великой беде! Несколько дней спустя начались ливни. Сена вышла из берегов. Пробил час второго потопа!

Наводнение вскоре прекратилось, а брожение умов не улеглось. Когда в декабре король утвердил указ о введении нового, григорианского календаря, это тоже послужило поводом для смуты. Дьявольская затея!

Джордано подумывал о поездке в Англию. Не обретет ли он там желанную свободу? У Бруно были основания поминать добром Генриха III. Волны неприязни, вздымавшиеся против Ноланца, не

заставили короля изменить своего отношения к нему. Он снабдил Бруно рекомендательными письмами, которые открывали перед ним двери французского посольства в Лондоне. Сэр Кэбхем, английский посол, в Париже, доносил 28 марта 1583 года своему правительству:

«Джордано Бруно, итальянский профессор философии, намерен отправиться в Англию. Взглядов его я не могу одобрить…»



Ноли.



Венеция.



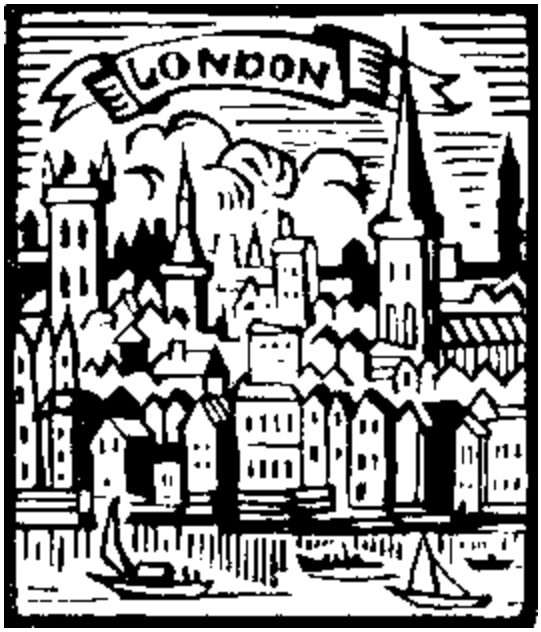
Генрих III.



Генрих Гиз.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПРОБУДИТЕЛЬ ДРЕМЛЮЩИХ ДУШ



Елизавета, королева английская, правила круто и самовластно. Четверть века сидела она на троне, хитрая, умная, осмотрительная. Годы были полны ожесточения. Небо Европы то и дело озарялось огнями пожаров и гудело раскатами пушечной канонады. Борьба за власть и торговое соперничество прикрывались красивыми словами о защите истинной веры. Библия допускала истребление иноверцев.

Отец Елизаветы, Генрих VIII, рассорившись с папой, создал в Англии независимую от Рима церковь и конфисковал земли, принадлежавшие духовенству. Борьба между сторонниками реформы и папистами стоила многих жертв. Мария, дочь Генриха от первого брака, насильственно восстановила католичество. После ее смерти Елизавета вновь ввела в стране реформацию и всеми средствами укрепляла англиканскую церковь. Королеву хвалили за мудрую

умеренность, но в этих похвалах было больше лести, чем правды. Елизавета на самом деле не поощряла религиозной резни, но не останавливалась перед казнями, если усматривала в чем-то угрозу своим интересам. Она велела парламенту провозгласить себя верховной правительницей церкви и неукоснительно требовала исполнения указов, которыми, предписывала «единообразие» культа. Каждого, кто противился этому, она рассматривала как политического преступника, покушающегося на полноту королевской власти. Здесь было ее больное место. Ревниво воспринимала она все, что касалось прав на престол. Папа отлучил Елизавету от церкви и освободил ее подданных от обязанности подчиняться еретичке. Путь Елизаветы к трону не был усеян розами. Юность прошла в вечных страхах. Елизавета пережила много унижений, постоянную слежку, необходимость притворяться. Она долго томилась в тюрьме и боялась сложить голову на плахе. Взойдя на трон, она осталась подозрительной и осторожной.

Англия набирала силы. Мануфактуры давали все больше товаров, на верфях строились отличные корабли. Предпринимателям и купцам начинал становиться тесным их маленький остров. С завистью взирали они на колонии испанцев в Новом Свете. Долго ли еще мириться с их владычеством на морях? Отношения между Испанией и Англией обострились до крайности. Среди католических монархов самым могущественным был Филипп II. Протестантский же мир видел в Елизавете свою высокую покровительницу, у нее искали поддержки и гугеноты, и германские князья, и нидерландские инсургенты. Папа не унимался, стараясь поднять против Елизаветы как ее подданных католиков, так и верные Риму государства, особенно Испанию.

Мария Стюарт порядком отравляла жизнь Елизавете. На этой распре строилось много расчетов. Шотландская королева была католичкой, и папа с послушными ему монархами возлагали на нее большие надежды. Они хотели, устранив Елизавету, посадить на английский трон Марию Стюарт и задушить реформацию. Дочь Генриха VIII от второго» непризнанного папой брака, Елизавета была в глазах католиков «незаконнорожденной» и не имела прав на корону. Поэтому Мария Стюарт к прочим титулам прибавила и титул королевы Англии. Это обошлось ей дорого. Елизавета непрестанно подбивала на мятеж недовольных шотландцев, и те в конце концов заставили Марию

отречься от престола в пользу сына и бежать из страны. В Англии она искала убежища, но нашла тюрьму. Оставлять соперницу на свободе Елизавета сочла опасным. Под благовидным предлогом ее заточили в замок. Уже пятнадцать лет она, домогаясь освобождения, утроила козни против Елизаветы и тайком сносилась с католическими государями. Теперь все большему числу людей становилось ясно, что только смерть одной из соперниц положит конец затянувшемуся конфликту. Кто решится на убийство? Какой-нибудь ярый католик по наущению Марии заколет английскую королеву или коварная Елизавета велит извести ненавистную пленницу?

Лондон с первых же шагов поразил Бруно. Огромный город встретил его совсем недружелюбно. Не понимая ни слова по-английски, Джордано, на свою беду, сразу показал, что он иностранец. Он обращался то к одному, то к другому с просьбой объяснить, как добраться до французского посольства. Ему отвечали презрительными взглядами, бранью. Интонация и красноречивые жесты не вызывали сомнений: над ним издевались. Никто не хотел помочь. Даже когда указывали дорогу, то не из добрых чувств: посылали в обратную сторону. Он кружил по одним и тем же переулкам. Британское гостеприимство оставляло желать лучшего.

Надо было держаться поближе к домам, чтобы не увязнуть в грязи. Сравнительно сухое пространство было нешироким, и разминуться на нем трудно. В Неаполе любой нищий пожелает превзойти другого в вежливости и будет настойчиво уступать дорогу. Здесь об этом не может быть и речи — тебя так и норовят обрызгать или столкнуть в лужу. Сумрачные люди все куда-то отчаянно торопятся. Не приведи господь, подвернуться под ноги какому-нибудь носильщику, он тут же постарается побольнее пихнуть тебя своим грузом. А если вовремя не заметишь разносчика воды или пива и не отскочишь, то тебя мгновенно подденут железным краном бочонка.

Он долго блуждал по большому и неприветливому городу. Наконец с великим трудом разыскал на левом берегу Темзы, неподалеку от реки, узкую улицу, Мясницкий ряд, и французское посольство, дом с королевскими лилиями на фасаде.

Послу его величества короля Франции Мишелю де Кастельно, сеньору де Мовиссьер, было за шестьдесят. Тронутая серебром голова, мясистый нос на крупном лице, остроконечная бородка, темные

проницательные глаза. За плечами Мовиссьера — богатая жизнь. Не один французский король хвалил его дипломатические способности, рыцарскую храбрость, знания, опыт. В Англии он был послом восемь лет, любил эту страну, хотя и приходилось ему здесь нелегко. Мовиссьеру вменялось в обязанность мешать попыткам Елизаветы вступать в сговор с французскими протестантами. Как будто поддержкой со стороны англичан определялись успехи гугенотов! Он должен был всеми силами помогать Марии Стюарт и верным ей католикам. Мовиссьер знал ее давно. По воле покойного короля он ездил в Шотландию, когда она была еще невестой дофина. Потом он видел ее французской королевой, и очень скоро — растерянной восемнадцатилетней вдовой. После смерти Франциска Мовиссьер сопровождал Марию на родину.

Ему взваливали на плечи разнообразные и сложные поручения, но не помогали их выполнять. Даже ограниченные средства, обещанные казной, приходили с задержкой и в весьма урезанном виде. Еще больше, чем недостатком денег, положение Мовиссьера усложнялось внутренней неустойчивостью французского королевства. Все его искусство дипломата, обширные знакомства и обаяние частенько оказывались бессильными перед умными советниками Елизаветы, ее полной казной и разветвленной сетью проворных шпионов.

От политических неудач, которые приключались все чаще, Мовиссьер находил утешение в обществе ученых людей. Он был широко образован, любил латынь, занимался переводами, в назидание сыну писал мемуары.

Джордано рассказал ему о себе, дал свои книги, познакомил с рукописями. Мовиссьер быстро распознал необыкновенную одаренность итальянского ученого. А его обходительность, неунывающий характер и остроумие окончательно покорили посла.

Бруно попросил дозволения посвятить Мовиссьеру свою книгу «Толкование тридцати печатей». Тот дал согласие, обещал помочь найти издателя и пригласил Джордано поселиться у него в доме. Бруно был признателен за гостеприимство, однако не стал скрывать, что хотел бы прежде какое-то время провести в Оксфорде, почитать лекции и познакомиться с царящим там духом.

Заручившись при содействии Мовиссьера поддержкой ряда влиятельных лиц, Бруно поехал в Оксфорд. Кто он? Беглый монах,

непоседливый вольнодумец, странствующий философ, Академик ни одной из академий? Но что ему тогда делать в Оксфорде? Даже его внешность не внушает доверия: потертое платье, далеко не новая обувь. Он больше похож на разорившегося дворянина, чем на ученого. Он не носит ни докторского берета, ни перстня. Есть ли у него вообще ученые звания? Сколько угодно! Джордано составляет напыщенное обращение к вице-канцлеру и преподавателям университета. Без ложной скромности величает себя доктором совершеннейшей теологии и профессором непорочной мудрости. Его, философа, который чужд только варварам, с почестями принимали славнейшие академии Европы. Он пробуждает спящие души и обуздывает строптивое невежество. Людей он ценит не по их титулам, чинам, происхождению. Ноланец одинаково любит итальянцев и англичан, судейских и военных, монахов и мирян, — он всегда смотрит на истинное лицо человека: на силу ума и величие сердца. Его ненавидят те, кто множит глупость и служит лицемерию, но он дорог тем, кто любит честность и труд.

Бруно настойчиво подчеркивает, что движет им не столь убежденность в своих познаниях, сколь стремление показать ложность вульгарной философии. Он будет защищать мнения Пифагора, Парменида, Анаксагора и многих других наилучших философов и излагать собственные взгляды. Если ему дозволят участвовать в диспутах, то станет ясно, что его воззрения отвечают здравому смыслу, истине и сути вещей, как бы их ни оспаривала крикливая толпа лжемудрецов!

В Оксфорде Бруно познакомился с несколькими молодыми преподавателями, С одним из них, Джованни, или, на английский лад, — Джоном Флорио, сошелся он особенно быстро. Флорио был итальянцем, но родился в Англии, куда отец его приехал, спасаясь от религиозных преследований. Младенцем Джованни увезли на континент. Когда он вернулся, в Лондон, то не мог изъясняться по-английски, а сейчас Флорио считался большим знатоком не только итальянского, но и английского языка. Он зарабатывал на жизнь преподаванием и переводами. Пять лет тому назад вышли в свет его «Первые плоды», итальянский учебник для англичан, с параллельными текстами занятных диалогов прогуливающихся по Лондону собеседников и краткой грамматикой. Талантливый и

трудолюбивый Флорио видел свое призвание в том, чтобы распространять культуру родной Италии. Он мечтал создать хорошие словари, учебники, сборники пословиц.

Они подружились.

Бруно обычно не терпел составителей бесполезных лексиконов, но о работе Флорио отзывался с похвалой. Тот интересовался живой речью, народными поговорками, делал большое и полезное дело, помогая общению людей разных стран. Если бы ученые одного государства, говорил Бруно, не понимали ученых другого, наука потерпела бы величайший урон. Без преемственности немыслимо развитие знаний. Ученые разных народов взаимно обогащают друг друга. Нельзя преуменьшать заслуги греков в философии, математике, логике, астрономии, музыке, но ведь они многое почерпнули от египтян, а те, в свою очередь, от халдеев.

Флорио слушал Бруно и восхищался его горячностью. Ноланец ведь приехал в Англию не затем, чтобы увеличить бесчисленную рать охранителей господствующих заблуждений, — он приехал будить дремлющие души!

Обо всем, что происходило в Оксфорде, Флорио был превосходно осведомлен. Оксфорд — далеко не то место, где, провозглашая новые теории, можно пожинать лавры успеха. Людей, которые согласятся терпеливо слушать его ниспровергательские речи, он скорее найдет в Лондоне.

Но разве здесь одни лишь закостеневшие в самодовольстве профессора? Не педантам и слепым грамматикам собирается он излагать свои мысли, а людям, жаждущим познать истину!

Джордано добивался разрешения читать лекции о бессмертии души и о небесных сферах. Ему позволили выступать перед студентами. Казалось бы, человек, отрекомендовавший себя доктором совершеннейшей теологии, должен излагать мнения учителей церкви или, на худой конец, Аристотеля и Платона. Он действительно рассуждал о душе, но что это была за «душа»! Оставалось только развести руками. Вязались ли его слова с христианскими представлениями о бессмертии? Он говорил о «мировой душе», о жизненном начале, которое присутствует во всем — ив куске дерева и в человеке. И хотя Бруно постоянно упоминал о боге, бог как-то растворялся во вселенной. Джордано пересыпал речь библейскими

выражениями и цитатами из Аристотеля, пользовался мифологическими образами, часто прибегал к не очень-то понятным аллегориям. Странная манера излагать свои мысли! То предельно ясная, то будто нарочно затуманенная. Сразу нельзя было сказать, что он в своих лекциях прямо выступает против богословия. Он поносил бесплодных комментаторов Аристотеля и с неслыханной в Оксфорде непочтительностью рассуждал о воззрениях «князя перипатетиков». Латинский язык Ноланца, образный, сочный, подчас озорной, был непривычен для людей, воспитанных чопорными грамматистами.

Бруно не уставал выражать чувство признательности к ученым прошлых поколений. Однако его речи слишком явно отдавали душком нездоровой новизны. Богословы были первыми, кто стал за спиной Ноланца неодобрительно о нем отзываться. В диспуты с ним не вступали, пренебрежительно пожимали плечами, но зато охотно распускали о нем всякие слухи. Теперь Джордано каждый день на собственном опыте убеждался, сколь правы были люди, которые предупреждали его, что здесь он найдет далеко не лучшую часть английских ученых. Знаменитый на всю Европу университет переживал годину застоя. Оксфордцы со всех кафедр велеречиво вещали о расцвете наук, а науки пребывали в весьма жалком состоянии. То, что в старину было славой университета — изучение философии и математики, — находилось в упадке. Распря протестантов с католиками нанесла Оксфорду немалый вред. В погоне за крамолой протестантские комиссары и тут основательно почистили книгохранилища. Они особенно рьяно набрасывались на сочинения с математическими чертежами и схемами как на папистские и дьявольские. Книги безжалостно уничтожались, страсть к математике вызывала подозрения.

Известная картина! Опять то же самое, что и во Франции: засилие духовенства — не велика разница, католического или англиканского! — и торжество новой схоластики, которое выдают за возрождение науки. Любой педант без крупицы собственной мысли, с головой, набитой салатом из греческих и латинских фраз, считает себя ученым и берется как судья одобрять или порицать чужие мнения. У них на все своя мерка: верность античным образцам важней оригинальности и свежести суждения. Они негодующе отринут великое открытие, если оно изложено не Цицероновой латынью или,

не дай бог, противоречит какой-нибудь фразе Аристотеля. Во всеоружии своих грамматических правил они беспощадно оскопят самую живую и плодотворную мысль. Античные каноны превыше всего!

Преподавателей, которые, толкуя Аристотеля, совершали ошибки, штрафовали на пять шиллингов, а тех, кто умышленно отходил от его идей, вовсе изгоняли из университета. В статутах было так и записано, что к ученым степеням по философии и теологии допускаются только лица, черпающие из источника Аристотеля. Это, слава богу, шутил Бруно, не требовало особых усилий. Три фонтана, снабжавшие Оксфорд водой, носили имена Аристотеля, Пифагора и Платона. Каждый, кто пробыл в одном из колледжей хоть несколько дней, волей-неволей приобщался к источникам мудрости. Отсюда же брали воду для приготовления пива, отсюда же поили лошадей и быков. Стало быть, в Оксфорде не найти живого существа, кто не испил бы водицы из Аристотелева источника.

Городок полон ученых. Куда ни повернись, везде увидишь докторскую мантию. Добиться ее может любой педант, лишь бы он отличался благочестием и был тверд в библии. Английские священники больше не довольствуются поучениями паствы, они хотят задавать тон во всех науках. Им мало власти над душами, они желают господствовать и над умами. Кто признан в Оксфорде корифеем наук? Джон Андерхилл, бывший капеллан королевы, влиятельнейший вельможа и доктор богословия. Духовные лица легко получают степени: магистрами и докторами хоть пруд пруди. Докторская степень не свидетельствует о глубине познаний и благородстве ума, а скорее заставляет подозревать в противоположных качествах, если носящий ее человек не зарекомендовал себя с хорошей стороны. Естественно, что настоящие ученые пренебрегают степенями, рвут с Оксфордом и, переселившись в Лондон, ищут покровительства двора.

Флорио познакомил Бруно со своими друзьями. Джордано нравился Мэтью Гвинн. Молодой валлиец был разносторонним человеком. Он не только преподавал музыку и превосходно знал медицину, писал о химии, усердно занимался физикой. Оратор, философ и драматург, Гвинн страстно любил поэзию. Разноязычной была его муза: он писал стихи английские, французские, итальянские.

Очень полюбил Бруно — «словно собственные глаза!» — и Александра Диксона, который под влиянием его книги «Тени идей» написал сочинение по мнемонике.

Многие студенты и молодые преподаватели внимательно прислушивались к Бруно. Кое-кто открыто восхищался Ноланцем. От этого его положение становилось еще неустойчивее. Холодок, с которым встретили незваного пришельца уважаемые доктора, сменился явной враждебностью. Первые же его лекции о строении вселенной породили немалое удивление. Он вызвался читать о небесных сферах, а выходит, что их вовсе и не существует!

На английской земле давно знали о Копернике. Им занимались главным образом математики. Метод астрономических расчетов интересовал их куда больше, чем философские выводы, которые можно было сделать из его теории. Томас Диггс, высоко ценивший Коперника, писал, что область фиксированных звезд находится на бесконечно далеком расстоянии от Земли. Однако вселенная в его представлении оставалась конечной: она имела сферическую форму. Взгляды Диггса не получили в Оксфорде признания. Ему пришлось расстаться с университетом и уехать.

Убеждение, что неподвижная Земля лежит в центре мира, господствовало в Оксфорде по-прежнему безраздельно.

А тут появляется этот сомнительный итальянец и начинает с апломбом поучать, что Земля-де не только движется, но и находится в безграничном пространстве. Миров бесчисленное множество! Ноланец даже ссылается на авторитеты: древние философы тоже говорили о бесконечности вселенной. Нелепейшие выдумки! Он хочет, чтобы обрубленные корни старых фантазий дали новые побеги. Он, видите ли, один узрел истину, а остальные пребывают во тьме заблуждений. Земля движется, вселенная бесконечна!

Мало ли на свете сумасшедших, но зачем же позволять с кафедры нести подобный бред!

Уважающие себя оксфордские доктора считали ниже своего достоинства вступать с Бруно в споры. Слабость его философской позиции казалась им столь очевидной, что они отказывались ему возражать и не хотели вникнуть в суть выдвигаемых им доводов.

О чем тут рассуждать, когда все абсолютно ясно? Все, что нужно знать о строении мира, есть в библии и у Аристотеля.

Но на лекции Бруно ходило много народу. Даже те, кого возмущали его немыслимые суждения, не могли отказать ему в широте знаний и — смелости. Университетское начальство с неприязнью взирало на его успехи. Если бы не рекомендации сидящих в Лондоне высоких покровителей, Ноланца не потерпели бы здесь и недели. Оставалось только найти подходящий повод, чтобы навсегда выставить его за ворота.

В середине июня в Оксфорде состоялись празднества по случаю приезда знатного гостя, польского графа Альберта Лаского. Преисполненные достоинства доктора в пурпурных мантиях, в четырехугольных, украшенных бахромой лиловых и красных беретах выходили навстречу гостю и приветствовали его латинскими речами. В честь графа устраивали помпезные приемы, обеды, диспуты. В них участвовал весь цвет университета — теологи и философы, медики и юристы. Среди прочего спорили и о том, можно ли по звездам предсказывать судьбу, и кто живет дольше, мужчины или женщины. Альберт Лаский показал себя любознательным человеком, охотно рассматривал различные университетские постройки, беседовал с профессорами, проявлял большой интерес к оккультным наукам. Поговаривали, что он намерен увести с собой в Польшу алхимиков, которые наверняка умеют делать золото. Граф смеялся, когда давали фарс, хвалил диковинные потешные огни, не дремал на трагедии о злоключениях Дидоны. Во время длиннющего представления зрители не раз бурно выражали восторг: механики с невиданным искусством оборудовали сцену — Меркурий то и дело спускался и взлетал на небеса, снег сменялся градом, град — дождем.

Но главное место в торжествах занимали ученые споры. Словесные поединки напоминали праздничный турнир: сверкали мечи, гремели доспехи, было много воинственного треска, но не было жертв. Диспутанты изящно нападали и красиво защищались. Все должно было показать почетному гостю, каких блистательных вершин достигла английская наука. Каждого выступавшего награждали аплодисментами. Даже побежденный оставался образцом учености.

Диспут, в котором должен был участвовать профессор Андерхилл, собрал особенно много народу. Джон Андерхилл, блестящий богослов, любимец королевы, друг влиятельнейших сановников, славился умом и красноречием. Спор касался сложных теологических и философских

вопросов. Несколько докторов оспаривали пальму первенства. Все шло гладко, пока не выступил Бруно. Он не благоговел перед пурпурными мантиями и не прочь был показать, что пышные береты прикрывают скудные мозги. Одного за другим он поставил высокоученых теологов в весьма затруднительное положение. Тогда Андерхилл счел своевременным вмешаться. Конечно, он без большого труда положит на лопатки приезжего итальянца. Бруно отвечал сдержанно и учтиво. Может быть, он нарочно ввязался в спор, чтобы, содействуя красивой победе Андерхилла, снискать тем самым благоволение одного из влиятельнейших людей университета?

Однако итальянец не проявил никакой охоты добывать Андерхиллу венок победителя. Напротив, он то и дело припирал его к стенке. Андерхилл начал злиться. Теперь его яростный натиск не напоминал турнирной атаки, он только искал случая, чтобы смертельным ударом сразить наглеца. А тот, как назло, невозмутимо спокойный, умело отбивал все нападки. Рассерженный Андерхилл осыпал его грубостями.

Ну и свинья же этот оксфордский корифей! Джордано едва сдержался, чтобы не ответить в крепких выражениях. Истый неаполитанец, воспитанный под благословеннейшим небом, обязан всегда помнить о вежливом обхождении. Здесь не место для перебранки. А разъяренного педанта он и так сумеет осадить. Бруно перешел в наступление. Он выбрал пятнадцать тезисов Андерхилла и с железной последовательностью на глазах у всех пятнадцать раз посадил его в лужу.

Неслыханный скандал! Так оконфузить человека, гордость Оксфорда, осрамить не в тесном кругу ученых, а на публичном диспуте, в церкви, перед лицом именитого чужестранца, в присутствии развеселившихся дворян и галдящих студентов! Пышное торжество обратилось в фарс. Парад провалился.

Какой еще нужен повод, чтобы избавиться от этого строптивого итальянца? На зданиях еще красовались праздничные гирлянды, когда Бруно поставили в известность, что лекции его по философии и астрономии прекращаются. Ему посоветовали немедля убраться из Оксфорда.

В какой раз ему пытаются заткнуть рот, не дают читать лекции, вынуждают уехать! В Италии он чуть было не попал в лапы

инквизиции, в Женеве его ставили на колени, в Тулузе натравливали на него студентов, в Париже порицали за безбожие. Повсюду против него ополчаются ученые мужи разных колледжей, академий и университетов. Ему нигде не могут простить, что он защищает мысли, которые не вяжутся с общепринятыми воззрениями. А это одинаково не нравится и тулузским католикам и английским протестантам.

В Оксфорде процветают светские науки? Хороши же эти науки, которые только и могут, что прислуживать богословию! Любой осел из богословской академии куда скорее придется здесь ко двору, чем человек, имеющий наглость держаться собственных взглядов. Попы легко получают здесь ученые степени и принимаются проверять физиков и поучать математиков. Завидный расцвет наук!

Джордано был не в силах побороть возмущение. Он отвел душу в памфлете. «Килленский осел» помог ему снова обрести хорошее настроение.

Осел вдруг заговорил. Заговорил Осел! Он хочет не больше, не меньше, как стать членом какого-либо колледжа или академии. Присущие ему способности достаточно известны, чтобы не разбирать его взглядов и не взвешивать слов. Он обращается к сбежавшимся людям с речью:

— О вы, носящие тогу, докторские береты и перстни, ученые и архиученые, герои и полубоги науки! Хотите ли вы, угодно ли вам с открытым сердцем принять в ваш союз, в ваше общество и товарищество, под знамя вашего единения этого Осла, которого вы видите и слышите?

Президент объясняет ему, что в академию принимают только на определенных условиях. Осел не унимается. Его гонят прочь: он не отвечает целому ряду требований. Осел возмущен несправедливостью.

— Ведь запрещением мне вступить в вашу школу вы разрушаете принцип, основы и суть вашей философии. В самом деле, какую разницу вы находите между нами, ослами, и вами, людьми, если вы судите не поверхностно, не лицемерно и не по видимости? Кроме того, скажите, неспособные судьи, разве мало вас шатается по академии ослов? Разве мало обучается в академии ослов? Сколь многие из вас извлекают пользу из академии ослов, становятся докторами, загнивают и умирают в академии ослов? Сколь многие получают привилегии, повышения, возвеличения, канонизации, прославления и

обожествления в академии ослов? Если бы не было ослиных академий и не было ослов, не знаю, что было бы и как было бы с вами самими. Разве мало почтеннейших и знаменитейших университетов, где читают лекции о том, как надо наослиться, чтобы получить блага не только в здешней временной жизни, но и на том свете…

Скажите, скольким ученым было запрещено преподавание, сколько их было исключено, выброшено и подвергнуто поношению за то, что они не обладают ослиной способностью и не причастны к ослиному совершенству?

Так почему же будет незаконно, если кто-нибудь из ослов или по крайней мере хоть один из них войдет в академию людей?

— Хотя без затруднения и без особых угрызений совести, — отвечают ему, — все люди принимаются в академию ослов, но нельзя так действовать в академиях людей.

— Но, синьор, — настаивает Осел, — позвольте мне узнать, что более достойно: когда человек превращается в осла или когда осел превращается в человека?

Тут появляется Меркурий. Он давно знает Осла и прежде оказывал ему милости. Теперь Меркурий назначает Осла академиком и главным догматиком. Отныне никто не посмеет показать ему на дверь. Он сможет входить куда угодно» говорить с кем угодно, высказывать свои соображения математикам, поучать физиков.

— Сливайся со всеми, — повелевает Меркурий, — властвуй над всеми, будь всем!

— Вы поняли? — спрашивает торжествующий Осел.

— Мы не глухие.

Возвратившись в Лондон, Бруно нашел пристанище в доме французского посла. Гостеприимный хозяин уговорил Джордано остаться у него: он будет числиться в свите, но ничто не помещает ему свободно располагать своим временем. Мовиссьер, восхищенный Ноланцем, старался сделать все, чтобы тот спокойно работал. Зачем обременять его поручениями, которые в силах выполнить другие? Да и какие услуги могут сравниться с честью получить посвящение еще одной, из его удивительных книг?

Бруно часто беседовал с Мовиссьером. Чем ближе он его узнавал, тем больше тот ему нравился. Мовиссьер отличался широтой взглядов. Послу наихристианнейшего короля пристало бы люто ненавидеть

Елизавету, эту еретичку, а он, напротив, расточал по ее адресу хвалы, ценил ее ум, в скупости видел рачительность хозяйки, одобрял меры, направленные на развитие торговли и промышленности. Елизавета крепко держала в руках бразды правления, и Англия не знала тех кровавых внутренних распрей, которые обессиливали другие страны. Воздавая должное Елизавете, Мовиссьер все же предпочитал не попадать в сети ее интриг.

Ему по-разному приходилось бороться за интересы Франции: и на поле брани и в посольствах. Он изведал весь ужас иноземных вторжений и междоусобиц, отличался в битвах, был в плену. Он хорошо знал многие страны, замечал скрытые пружины высокой политики, лживость вероучителей и убожество монархов. Всю жизнь Мовиссьер служил делу католиков, но терпеть не мог Филиппа II и его именитого палача, кровавого герцога Альбу. Он видел, какие неисчислимые бедствия несли народам фанатизм и нетерпимость. Воздействовать на иноверцев надо не насилием, а добрым примером. Меч не может доказать правоту тех или иных убеждений. В этом Мовиссьер полностью сходился с Бруно. Он, как и Ноланец, осуждая крайности католиков, не жаловал и рьяных кальвинистов. Гость и хозяин прекрасно понимали друг друга.

Мовиссьер был очень внимателен к Бруно. Он поистине старался превратить для него Англию в Италию, а Лондон — в Нолу. В доме постоянно слышалась итальянская речь. Осенью Мовиссьер принял к себе на службу Флорио, который, выполняя обязанности его секретаря, стал в то же время и учителем дочери. Бруно восхищался очаровательной девочкой. Ей не было еще и шести лет, а она удивляла всех своими музыкальными способностями, бойко говорила по-французски и по-английски, делала поразительные успехи в итальянском. Бруно всей душой привязался к семье Мовиссьера. Добрая и умная хозяйка дома немало способствовала той обстановке радушия, что неизменно окружала Ноланца в посольстве.

В комнате на верхнем этаже, которую ему предоставили, ничто не мешало работать. Теперь он мог целые дни спокойно посвящать занятиям. Джордано привез из Франции много рукописей, но еще больше замыслов. Лекции, выступления на диспутах, жаркие споры в частных домах — это лишь первые шаги. Ему тридцать пять лет. Настало время заговорить во весь голос.

Он много пишет. Нет, он не продолжает только изощряться в искусстве логики. Джордано не хочет походить на тех мастеров, что, создавая превосходные шпаги, не умеют ими пользоваться. Ноланец должен изложить теперь суть своих философских взглядов. Он, разумеется, совершенно не притязает на то, чтобы дать исчерпывающую картину мира. О многих вещах он говорит предположительно и подчеркивает, что дальнейшие исследования принесут новые плоды. Пути познания истины различны.

«Лишь честолюбцу и уму самонадеянному, пустому и завистливому, — пишет Бруно, — свойственно желание убедить других, что имеется один лишь путь исследования и познания природы, и лишь глупец и человек без размышления может убедить в этом себя самого».

Бруно не одобрял ряда философских учений, но считал полезным знакомство с ними. Назначение же истинной философии состоит в том, чтобы делать жизнь более счастливой!

«Между видами философии тот наилучший, который наиболее удобным и высоким образом выражает совершенство человеческого интеллекта и наиболее соответствует истине природы и, насколько возможно, сотрудничает с ней, угадывая или устанавливая законы и преобразуя нравы».

На смену религиозному мировоззрению должна прийти законченная философская система, которая ответит на коренные вопросы бытия. Ноланская философия и призвана вызволить людей из тьмы предрассудков. Она станет философией рассвета, возвестит о приближении времени, когда будет сокрушена власть нелепой религии и наука сделает человеческие души воистину героическими.

Веками идея бога была прикрытием всякого незнания. Любое непонятное явление легче всего было приписать непостижимым действиям божества. Вера в существование бога давала возможность хоть как-то осмыслить окружающий мир. Господь создал все, движет всем, повелевает всем. Бог — начало и причина всего.

Еще в юности Джордано отказался от мысли о творце и верховном распорядителе вселенной. Ссылки на движущую всем потустороннюю силу казались, ему примитивными. Мир должен быть объяснен, исходя из присущих ему внутренних законов. Джордано был многим обязан греческим атомистам и учению Николая Кузанского о совпадении

противоположностей. Они помогли ему найти те основные принципы, которые стали краеугольными камнями ноланской философии.

Люди, полагал Бруно, не поймут окружающего бытия, если будут постоянно противопоставлять телесное духовному, материю — душе, живую природу — неживой. Природа едина. В основе всего лежит одна и та же первичная субстанция. Заблуждаются философы, думающие, что некое духовное начало, стоящее над материей, извне формирует ее. Они принижают материю. Однако в ошибку впадают и те, кто говорит, будто формы — это лишь акциденции материи: они принижают жизненное начало, присущее первичной субстанции. Эта основа основ, первичная субстанция, немыслима как без материи, так и без жизненного начала. Жизнь наполняет всю материю. Все, что существует, обладает жизнью, душой или по крайней мере жизненным началом. Это неотделимое от материи и находящееся во всех вещах жизненное начало Бруно называет «душою мира». Бруно предостерегает против вульгарного истолкования его мысли:

«…Ни стол как стол не одушевлен, ни одежда, ни кожа, ни стекло как стекло; но как вещи природные и составные они имеют в себе материю и форму. Сколь бы незначительной и малейшей ни была вещь, она имеет в себе части духовной субстанции…»

Прежде Бруно склонялся к мнению, будто формы не что иное, как лишь случайное расположение материи. Но теперь он думает не так: «Необходимо признать в природе два вида субстанций: один — форма и другой — материя…»

Один из двух видов субстанции, субстанциальная, или всеобщая, форма, и есть душа, находящаяся в каждой вещи. Материя и душа являются постояннейшими началами. В мире все непрестанно меняется: одни материальные формы разрушаются, а другие возникают, первичная же субстанция всегда остается той же.

Вселенная не хаотическое смешение преходящих форм, которые случайно обретает материя, это удивительно согласованное целое, где все подчинено известному порядку и закону.

Христианскому богу, творцу и верховному повелителю мира, нет места в ноланской философии. Коренное отличие ноланской философии как раз и заключается в том, что Бруно отрицает всякое вмешательство какой-либо потусторонней силы в дела природы. В понятие «души мира» он вкладывает смысл, противоположный

«божественному началу» теологов. Материя не формируется извне, она изнутри обретает форму посредством того жизненного начала, которое находится в неразрывном единстве с материей и образует вместе с ней первичную субстанцию.

Богословы говорят, что бог вдохнул душу, бог дал жизнь. Они понимают под душой нечто привнесенное извне. Бруно же не устает повторять, что «душа мира» заложена в самой первооснове всего сущего, она в конечном итоге и причина и начало всех вещей.

Все порожденное, порождающее и то, из чего происходит порождение, всегда принадлежат к одной и той же субстанции. Хотя в природе, настойчиво подчеркивает Бруно, мы и обнаруживаем двойную субстанцию — одну духовную, другую телесную, но в последнем счете и та и другая сводятся к одному бытию и одному корню.

Первое начало вселенной должно быть понято как такое, в котором уже не различаются больше материальное и формальное, оно есть абсолютная возможность и действительность. Поэтому мыслить вселенную конечной — значит не только придумывать несуществующий предел, но и усомниться в безграничной потенции, присущей первичной субстанции.

«Вселенная едина, бесконечна, неподвижна. Едина, говорю я, абсолютная возможность, едина действительность, едина форма или душа, едина материя или тело, едина вещь, едино сущее, едино величайшее и наилучшее. Она никоим образом не может быть охвачена и поэтому неисчислима и беспредельна, а тем самым бесконечна и безгранична и, следовательно, неподвижна. Она не движется в пространстве, ибо ничего не имеет вне себя, куда бы могла переместиться, ввиду того что она является всем. Она не рождается, ибо нет другого бытия, которого она могла бы желать и ожидать, так как она обладает всем бытием. Она не уничтожается, ибо нет другой вещи, в которую она могла бы превратиться, так как она является всякой вещью. Она не может уменьшиться или увеличиться, так как она бесконечна».

Центр ее повсюду и нигде. Представления о времени и пространстве, привычные на Земле, не подходят для вселенной: «В бесконечной длительности час не отличается от дня, день от года, год от века, век от момента; ибо они не. больше моменты или часы, чем

века, и одни из них не меньше, чем другие, в соизмерении с вечностью. Подобным же образом в бесконечности не отличается пядь от стадия, стадий от парасанга; ибо парасанги для соизмерения с безмерностью подходят не более чем пяди».

Беспредельная вселенная охватывает неисчислимые миры. Одни из них могут быть больше Земли, другие меньше, но основа у них та же: «Сущность вселенной едина в бесконечном и в любой вещи, взятой как член его. Благодаря этому вселенная и любая ее часть фактически едины в отношении субстанции…»

Бруно закладывает краеугольные камни ноланской философии — он работает над книгой «О причине, начале и едином».

Вскоре по приезде Бруно в Англию один из лондонских издателей выпустил в свет три его работы. На берегах Темзы Ноланец начал с того же, что и в Париже, — представил на суд читателей сочинения, в которых много писал об «искусстве изобретения» и мнемонике. Опубликованы были вместе: «Новое и полное искусство памяти» — частичное переиздание «Песни Цирцеи», «Толкование тридцати печатей» и «Печать печатей».

Эта книга, а еще больше лекции и диспут в Оксфорде сделали Ноланца предметом оживленных разговоров. Весьма оригинальный ум объявился на английской земле! О Бруно высказывались самые противоречивые суждения. Одни называли его безумным сумасбродом, нагло пытающимся сотрясти основы мироздания, другие видели в нем человека необыкновенных талантов.

Мовиссьер знакомил Бруно со своими гостями. Многие джентльмены стали приглашать его в свои дома. Джордано охотно принимал приглашения: они позволяли ему постигать ту духовную атмосферу, в которой жила британская знать. Но он не обольщался успехом. Вероятно, он вызывал бы куда больший интерес, если бы не рассуждал о вселенной, а кропал любовные стишки. Все итальянское было в моде: галантная поэзия и ученые книги, элегантные чулки и философские трактаты. Считалось хорошим тоном воздавать должное итальянской культуре, говорить на языке Петрарки, украшать гостиные картинами венецианской кисти. При дворе часто слышалась итальянская речь. Дамы и кавалеры соревновались в изяществе стиля и красоте произношения. Сама Елизавета охотно беседовала по-итальянски.

В Лондоне Бруно встречал больше понимания, чем в Оксфорде. Там его мысли вызывали возмущенные крики, а здесь кое-кто из знати не скрывал своего интереса к идеям Коперника и с любопытством внимал Ноланцу. Засилье в Оксфорде обскурантов и «грамматиков», слепых, но воинственных приверженцев плохо понятого Аристотеля мешало настоящим исследованиям. Ученые, восставшие против бесплодного риторического треска, находили, поддержку при дворе. Среди аристократов стало тоже модным покровительствовать наукам, и неизвестно, чего тут было больше: тщеславия или политического расчета. Борьба с Римом подогревала патриотические чувства и питала вражду к ненавистной латынщине. Состоятельные джентльмены начали щедро вознаграждать ученых, которые, отказавшись от латыни, писали трактаты на родном языке.

В общении с Филиппом Сиднеем Бруно находил большое удовольствие. Это была заметная фигура как при дворе, так и в ученых собраниях. Сэр Филипп принадлежал к богатой и влиятельной семье. Отец его был правителем Ирландии, а дядя, граф Лестер, — фаворитом королевы. Восемнадцатилетним юношей Филипп отправился путешествовать. В Париже ему довелось пережить Варфоломеевскую ночь. Он, протестант, избежал смерти, благодаря тому, что успел укрыться в английском посольстве. Тогдашний посол, Френсис Уолсингем, был теперь первым государственным секретарем и ближайшим советником Елизаветы. Недавно Сидней женился на его дочери.

Ужас братоубийственной резни, свидетелем которой он был в Париже, еще сильнее укрепил Сиднея в ненависти к папистам. Из Франции он направился в Германию. Он странствовал по Италии, жил в Венеции, Генуе, Милане, изучал право в Падуе. Три года продолжались его путешествия. Вернувшись на родину, он был ласково встречен королевой. Вскоре Филипп Сидней, блестящий кавалер и одаренный поэт, сделался любимцем двора. Полагаясь на его ум и обходительность, ему доверяли дипломатические миссии. Елизавета благоволила к нему. Он участвовал в дворцовых увеселениях и, чтобы позабавить королеву, написал маленькую пастораль. Но Сидней чуть совершенно не погубил свою карьеру, когда осмелился выступить против предполагавшегося брака Елизаветы с герцогом Анжу. Выйти замуж за еретика-католика! Вокруг

брачного проекта разбушевались страсти. Их тайком подогревал и Лестер, все еще мечтавший стать законным супругом Елизаветы. Королева строго-настрого запретила кому бы то ни было обсуждать эту тему. Филипп ослушался и угодил в опалу. Других карали за дерзость строже. Не спасали и верноподданнические чувства. Пуританину Стеббсу палач отрубил руку, которой он писал свои возражения. Тут же, у плахи, Стеббс левой рукой сорвал с головы шляпу и закричал на всю площадь: «Да здравствует королева!»

Сидней уехал в поместье сестры. Вынужденный досуг пошел ему на пользу. Долгие зимние вечера он отдавал литературе, писал любовные сонеты и сочинял пастушеский роман.

Когда королева сменила гнев на милость, Филипп снова появился при дворе. Его обуревала жажда деятельности, он мечтал о баталиях и заморских странах. Ему необходим был размах, он добивался высокого административного поста, а выполнял второстепенные поручения. Стихи его и проза оставались ненапечатанными. Он носился с широкими и разнообразными планами, но не изменял своей любви к наукам, собирал вокруг себя ученых, поощрял писателей. О нем говорили, что он во всем ратует за хороший вкус, и в политике и в литературе, возвышает свой голос как против крайностей фанатиков, так и против напыщенных подражательских виршей. Людей, несправедливо обвиненных, он защищает от клеветы, поэзию — от злых наскоков пуритан.

Имя Филиппа Сиднея Бруно впервые услышал еще в Милане. О нем, знатоке и ценителе итальянской культуры, отзывались с восторгом. Позже Бруно был свидетелем, что и во Франции Сидней оставил о себе, наилучшую память. Познакомившись с ним лично, Джордано на собственном опыте убедился в изяществе его ума и прекрасных душевных качествах.

С одним из своих друзей Сидней был неразлучен. Еще на школьной скамье подружился он с Фулком Гривеллом. Фулк был страстным поклонником его таланта, сам писал стихи, но не ставил их ни в какое сравнение со стихами Филиппа. При дворе Гривелл исполнял обязанности королевского шталмейстера. Знакомство Сиднея с Бруно не оставило Гривелла безучастным. Он тоже стал проявлять к Ноланцу внимание.

В домах, где бывал Бруно, его принимали по-разному: иногда давали свободно высказаться, иногда перебивали с поразительной неучтивостью. Вместо возражений по существу бросали обычную фразу: «Аристотель не может ошибаться!» Бруно стоило большого труда держать себя в руках. Но даже когда разговоры велись в обстановке вежливости и радушия, в них было мало утешительного. Вопреки завидной репутации ученых его собеседники часто оказывались людьми неотесанными и недалекими. Хорошим воспитанием они тоже похвалиться не могли.

Многое в Англии приходилось Бруно не по нутру. И он был столь неблагоразумен, что говорил об этом во всеуслышание. Его возмущали и облеченные властью плуты, корчившие из себя вельмож, и угодничество дворян, и пуританское лицемерие. С подобными праведниками он уже сталкивался в Женеве. Терпеть не мог он этих «реформаторов», которые, латая ветхую религию, прибавляли к старым суевериям кучу новых, не менее постыдных.

Джордано постоянно вспоминал родину. К счастью, в Лондоне много итальянцев. Правда, по большей части это кальвинисты, спасавшиеся на чужбине от гонений католической церкви. Но среди них были и люди, с которыми Бруно охотно встречался. Алессандро Читолини, глубокий, восьмидесятилетний, старик, не прекращал своих ученых занятий. Но не страстью к грамматическим изысканиям и любовью к мнемонике нравился он Бруно. Читолини был ярым поборником литературы на родном языке. Даже ученые трактаты надо писать не по-латыни, а по-итальянски!

К землякам Джордано питает естественную тягу. Однако у него и впрямь несносный характер. Он и им, как и англичанам, не делает никакой скидки. Бруно быстро замечает, что среди выходцев из Италии вдосталь разных самозванцев, полуграмотных невежд, выдающих себя за учителей, неразборчивых авантюристов. Они неплохо устраивались, втираясь в доверие к влиятельным придворным, и без излишней щепетильности брали на себя весьма сомнительные поручения. Вот два преуспевающих флорентийца: Убальдини и Сассетти. Первый — человек далеко не бездарный, искусный миниатюрист и бойкий писатель. В разносторонности его талантов изрядная доля шарлатанства. Оц долго служил в наемниках, но теперь, устав от ратных дел, вместо шпаги продает перо. Второй — капитан Сассетти

— и вовсе темная личность. Поговаривают, что Лестер, покровительствующий чужестранцам, которым нечего терять, с его помощью обстряпывает свои делишки. В Ирландии Сассетти сражался за королеву, а в Лондоне чуть было не пропал. За убийство его приговорили к смерти. Но Лестер помог ему избежать виселицы. Земляки? Обладают сильными связями при дворе? Да будь они хоть трижды земляками — ничто не помешает Ноланцу откровенно высказывать о них свое мнение!

Устав от работы, Бруно отправлялся проведать кого-нибудь из друзей. Но опасности подстерегали на каждом шагу. В Неаполе Джордано любил улицу с ее шумной толчеей, но здесь, в Лондоне, улица была враждебной. И эту враждебность он почувствовал с первых же дней. Как только в нем узнавали иностранца, начинались насмешки и оскорбления. Мальчишки строили рожи. Лавочники и мастеровые, высунувшись из своих нор, осыпали его бранью. Он научился различать кое-что из ругательств, которые неслись вдогонку: «собака», «предатель», «чужак».

Иностранец всегда виноват. Толкнет нечаянно прохожего — не оберется беды, вступится за собственную честь — поплатится побоями. Его могут нарочно сбить с ног на потеху зевакам. В Англии Читолини жил давно, выполнял, случалось, поручения королевы. Но для толпы он так и остался ненавистным чужаком. Никто не посмотрел на его седины: ему на площади под смех и одобрительные возгласы зверски сломали руку. Когда же он обратился с жалобой к одному из судейских, его утешили признанием, что подобное здесь не в диковинку.

Вспыльчивость Бруно служила ему плохую службу. Он не привык спускать обидчикам и частенько попадал в рискованные переделки. Нельзя было ответить ударом на удар или поднять палку, чтобы защищаться. В мгновение ока, точно из земли, вырастал целый лес кольев, рогатин, алебард. Вооруженные люди, не разобравшись, в чем дело, с яростью набрасывались на иностранца. А когда ему, избитому, посчастливится вырваться, подоспевшие стражники сочтут его же виновным и, награждая тумаками, потащат в каталажку!

Бруно не раз имел неприятности с властями, и только заступничество Мовиссьера избавляло его от еще больших бед. Грубость англичан выводила Джордано из себя. В самых резких выражениях порицал он лондонские нравы. Но он, разумеется, был далек от того, чтобы неприязнь к заносчивым грубиянам распространять на всех лондонцев. Среди них он нашел немало культурных и благожелательных людей. Бруно вызывал к себе интерес не только в ученых кругах. У женщин Ноланец, остроумный и пылкий, пользовался неизменным успехом. О нимфы Англии, прелестные создания! Им, милым и ласковым женщинам, вдохновлявшим его на чужбине, посвящал он строки, полные страстной признательности.

Споры нередко приносили Бруно разочарование. «Пробудитель дремлющих душ» прослыл любящим парадоксы острословом. Занятно излагает он хитрые домыслы Коперника! Такая слава бесила Бруно. Это он-то изощренный софист и любитель парадоксов!

Он проповедовал мысль, что истинный философ должен полагаться на собственный разум и чувства, а не на догматы, которые заставляют принимать не рассуждая. Он отстаивал свободу мысли и был врагом предубеждений, а о нем все чаще говорили как о человеке, чуждом всякой вере. Случалось, он и сам давал пищу для подобных толков.

Однажды гости, собравшиеся у Мовиссьера, затеяли игру в гадания. Гадали по книге Ариосто. Когда настала очередь Бруно, ему выпал стих: «Враг всякого закона, всякой веры….» Ноланец был очень доволен: как хорошо эта строфа передает суть его натуры. Он смеялся и шутил.

Мэтью Гвинн всплеснул руками:

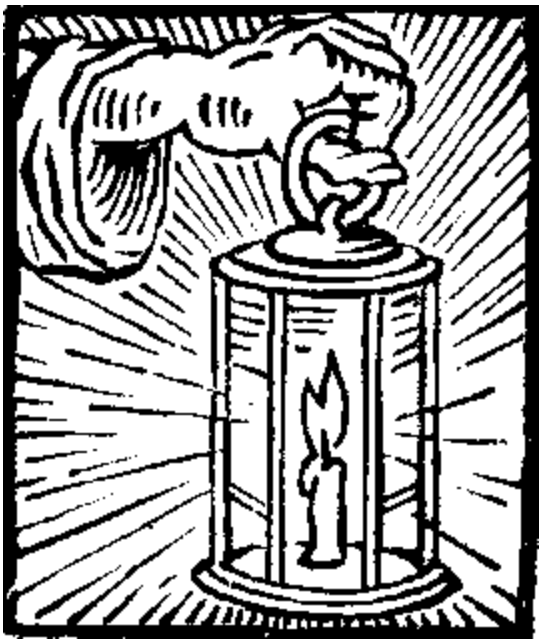
— Видно, синьор Джордано, вы не верите ни во что на свете!

— А вы верите во все на свете?

Выпавшую ему строку из Ариосто «Враг всякой веры…» Бруно повторял неоднократно и с явным удовольствием.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПИР НА ПЕПЛЕ



Шпионы Уолсингема доносили со всех сторон, что против королевы опять готовится заговор. Прежний план совершить вторжение на Британские острова вновь нашел сторонников среди католических князей. Но теперь речь шла не о высадке в Шотландии. Герцог Гиз собирался перебросить из Фландрии прямо на английский берег несколько тысяч отборных солдат. В другом месте должны были высадиться немецкие наемники и англичане-эмигранты. Филипп II выделил крупные суммы, чтобы снарядить войско для операций в Ирландии. Но основной удар Елизавете предполагалось нанести внутри страны: ее подданные-католики восстанут против еретички и вернут Англию в лоно истинной веры.

Уолсингем не дремал. Его люди без излишнего шума арестовывали подозрительных. Вдохновительницей этих заговоров, мнимых и действительных, обычно считали Марию Стюарт. За французским посольством велась неусыпная слежка. Было известно, что Мовиссьер

помогает пленнице поддерживать тайную переписку с ее сторонниками. На посла нередко взваливали вину за интриги, к которым он не был причастен.

Мовиссьер давно предупреждал Генриха III, что как бы ни складывались отношения с Елизаветой, пренебрегать шотландскими делами нельзя. Упрочение древнего альянса Франции с Шотландией было той уздой, которая позволяла хоть в какой-то степени сдерживать непомерные домогательства англичан. Но король остался глух к этим советам. Елизавета, чтобы выгадать время, водила его за нос, принимала ухаживания герцога Анжу и обсуждала возможность их брака, а сама старалась под шумок прибрать Шотландию к рукам. Когда, наконец, Генрих III понял, что французское влияние в этой стране может совершенно ослабнуть, то велел Мовиссьеру предпринять энергичные шаги, добиваться освобождения Марии Стюарт и предложить свое посредничество в попытке примирить пленницу с сыном. Если будет необходимо, пусть посол лично отправится в Шотландию.

Аудиенция на этот раз была весьма бурной. Елизавета и слышать ничего не хотела о помощи Мовиссьеру в миссии, возложенной на него королем. Она обвиняла Марию в тяжких преступлениях и с гневом Говорила о ее бесконечных интригах. Королева напустилась на Мовиссьера: не слишком ли ретиво участвует он во всех этих аферах и не злоупотребляет ли свободой, ему предоставленной?

Резкий тон Елизаветы возмутил Мовиссьера. Он не замедлил ответить, что своим поведением никогда не походил на английских послов: те, подстрекая гугенотов, действовали во Франции не как дипломаты, а как враги. Его же усилия направлены на то, чтобы поддерживать мир. Он меньше всего хочет военного столкновения и поэтому вынужден на многое закрывать глаза.

«Я знаю, — дерзко добавил Мовиссьер, — что ваше величество не прочь половить рыбку в мутной воде!» Елизавета сдержалась. Вернувшись к основному предмету беседы, посол повторил, что необходимо начать переговоры и освободить Марию Стюарт из ее долгого заточения. Королева уже полностью владела собой. Она перевела разговор на другую тему. Отпуская Мовиссьера, все же обещала поразмыслить над предложением о его поездке в Шотландию.

Несколько дней спустя в Лондоне разразился величайший скандал. Один из схваченных по подозрению в заговоре сделал важные разоблачения. Когда его пытали в четвертый раз, он не выдержал и признался, что был осведомлен о планах иноземного вторжения. Его посвятили в это герцог Гий и дон Бернардино Мендоса, испанский посол.

Посла вызвали в королевский совет. Хорошо же он пользуется своими правами дипломата — подбивает людей на мятежи и готовит свержение законной власти! Ему приказали в две недели покинуть страну. Мендоса категорически отрицал свое участие в заговоре. Перед обвинителями он не остался в долгу: на него возводят напраслину, а сами только и делают, что строят козни против монарха Испании!

Члены совета повскакали со своих мест. Пусть он тотчас же подобру-поздорову убирается из Англии и не ждет, чтобы королева его покарала!

— Ни королева, ни кто-либо на свете, — с жаром воскликнул Мендоса, — не имеет права меня обвинять! И пусть никто из вас не позволит себе заходить слишком далеко, коль нет у него в руках шпаги. Ваша королева покарает меня? Меня? На такую угрозу я могу отвечать лишь усмешкой. Я буду счастлив отсюда уехать, как только получу паспорта.

Раз я не угодил вашей королеве, — зловеще закончил Мендоса, — как посланник мира, то я сделаю так, что она найдет, во мне посла войны!

Однажды Флорио и Гвинн, придя к Бруно, сказали, что их прислал королевский шталмейстер. Он горит желанием побеседовать с Ноланцем, очень интересуется его новой философией, желает постичь выдвигаемые им парадоксы, Коперниковы и все прочие. Бруно резко ответил, что хотя и обязан многим Копернику, но смотрит на мир не его глазами и не глазами Птолемея, а своими собственными.

Фулк Гривелл не думал отступать от своего намерения. При встрече с Бруно он повторил, что охотно бы услышал из его уст доводы в защиту мысли о движении Земли. Сэр Фулк, избалованный успехами при дворе, не привык, чтобы ему отказывали. Бруно ответил с подкупающей прямотой: не зная его способностей* он не собирается приводить какие-либо доводы и не хочет уподобляться человеку, который убеждает статую или беседует с мертвецами. Прежде чем

излагать взгляды относительно вращения Земли, он желал бы выслушать аргументы, подкрепляющие противоположное мнение, и оценить по достоинству способности своего собеседника. Несостоятельность Птолемеевой теории он докажет, исходя из тех принципов, которыми будут ее обосновывать.

Гривелл был в восторге от такого ответа и заявил, что принимает предложение. Через неделю, в первый день великого поста, он соберет в своем доме многих джентльменов и ученых. Надо надеяться, синьор Бруно получит достаточно материала, чтобы обнаружить всю силу своей аргументаций.

Джордано не хотел приумножать горький свой опыт и откровенно сказал Гривеллу: он принимает приглашение, но просит устроить так, чтобы ему не пришлось выступать перед малосведущими или грубыми субъектами.

Сэр Фулк поспешил рассеять его сомнения и уверил, что запасется наилучшими оппонентами, людьми высокой учености и безупречного воспитания.

Наступил первый день великого поста, который католики зовут днем пепла или днем поминовения, — 14 февраля 1584 года. Бруно напрасно ждал вестей от Гривелла. Прошло время обеда, но никто так и не явился. Джордано решил, что Фулк, занятый другими делами, забыл об их разговоре или почему-то не смог исполнить задуманного. Бруно отправился проведать друзей итальянцев. Вернулся он в сумерках. У дверей встретил Флорио и Гвинна. Они сбились с ног, разыскивая его.

— Идемте же скорее, вас ждут!

Они направились к Темзе в надежде сократить путь и отыскать лодку, которая доставила бы их прямо ко дворцу, где находились апартаменты, занимаемые Фулком Гривеллом. Выйдя на набережную, спустились к причалу и очень долго звали лодочника. Наконец издали откликнулись двое. Медленно, словно их ждала виселица, подплыли к берегу. После бесконечных препирательств из-за платы один дал руку Ноланцу, другой помог остальным.

Ветхая ладья застонала под грузом. О, лишь бы она не стала ладьей Харона! Бруно все время смеялся и шутил. Стариков лодочников он называл перевозчиками из Тартара, уверял, что лодка, конечно, обломок, оставшийся после всемирного потопа.

Погода стояла премерзкая. Поздний февральский вечер на реке, холодный и ветреный. Лодка скрипела. Чем заглушить эту унылую музыку? Флорио затянул песню, сложенную на стихи Ариосто. Бруно ее подхватил.

Размашистые движения гребцов могли обмануть только простака. Весла едва касались воды, и лодка плыла с поразительной медлительностью. Около Темпля перевозчики вдруг пристали к берегу. Бруно спросил, каковы их намерения. Они хотят немного отдышаться? Он должен был ждать, пока Флорио переведет их ответ. Лодочники сказали, что дальше не поедут: здесь их стоянка. Все уговоры были напрасны. С ними пришлось расплатиться и даже поблагодарить, чтобы не нарваться на неприятность.

Бруно и его спутники двинулись дальше и сразу же угодили в лужу. Не успели из нее выбраться, как попали в худшее болото. Свернуть некуда: по обе стороны высилась каменная ограда. Переулок не освещался, фонарей у них с собой не было. Им не оставалось ничего иного, как идти наугад. Поминутно скользя и оступаясь, они шли вперед, пока не выбрались на улицу. К своему изумлению, они обнаружили, что находятся почти там же, откуда начали поиски лодки. Французское посольство было рядом.



Мигель Сервет.



Жан Кальвин.

Все, казалось, настойчиво советовало отказаться от дальнейшего путешествия: и неудача с лодочниками, и поздний час, и туман, и близость дома. Но ведь их ждут! Бруно верен своему слову. Он обещал прийти. Разумеется, люди, которые при таких обстоятельствах не догадались прислать за гостями лошадь или лодку, и в случае их неприхода на них же взвалят вину. Они припишут Ноланцу неведомо что. Но разве только в этом дело? Он жаждет послушать ученых мужей, которых Фулк Гривелл вызвался собрать у себя для беседы. Надо идти.

С великим трудом добрались они, наконец, до дворца. Толпившиеся в прихожей слуги встретили их без всякой почтительности. Не кивнув даже головой, с видом одолжения показали, как подняться наверх. Конечно, какие тут почести: явился чужеземец в весьма заурядном наряде. У него не увидишь на груди знаков отличия, скорей уж заметишь, что недостает пуговицы.

Гости сидели за столами. После небольшой заминки разместились и вновь пришедшие. В ученых людях, как и обещал Фулк, недостатка не было. Разодетые в бархат, в длинных мантиях, они воплощали достоинство и гордыню. Кто эти доктора? Медики и философы? Из Оксфорда? Неужели в Лондоне не нашлось знатоков философии? Но оксфордские доктора были весьма внушительны, и Бруно едва сдержал усмешку. Важнейшие персоны!

У того, кто сидел слева от Джордано, шея была украшена двумя золотыми цепями и орденом, другой, восседавший наискосок, походил на богатейшего ювелира. Пальцы его были унизаны перстнями и кольцами. Словно он приехал на ярмарку торговать драгоценностями.

Гости продолжали о чем-то беседовать. Потом доктор с перстнями, приосанившись, огляделся вокруг и со снисходительной улыбкой спросил по-латыни Ноланца, разумеет ли синьор, о чем идет речь. Джордано ответил, что не понимает английского. Разговор, пояснил оксфордец, касается следующего: Коперник, по их мнению, вовсе и не держался мысли, что Земля движется. Это неприемлемо и невозможно. Он приписал движение Земле, а не восьмому небу, лишь для того, чтобы удобней производить астрономические расчеты.

Так вот как английские доктора толкуют Коперника! Знакомая песенка! Они действительно вертели в руках его книгу, запомнили год

и место издания и набрались премудрости из дурацкого предисловия какого-то самонадеянного осла, который хотел, чтобы подобные ему четвероногие нашли и здесь латук себе по вкусу. Невежда, накропавший предисловие, извратил основную идею Коперника!

Диспут начинается совсем не так, как предполагал Бруно, когда уславливался с Фулком: приверженцы Птолемеевой системы не приводит доводов в защиту своих взглядов, а твердят, что сам Коперник не верил в движение Земли. Коперник, с пылом возражает Бруно, не только был убежден во вращении Земли вокруг Солнца, но и всеми силами доказывал это.

Джордано воздает должное Копернику и другим великим ученым, говорившим о движении Земли. Но он, Бруно, рассматривая вселенную, исходит из собственных принципов, которые опираются не на авторитеты, а на живое чувство и разум.

Кое-кто из слушателей — насмешливо переглядывается. С какой горячностью Ноланец излагает свои взгляды! Да он и впрямь неистощим на парадоксы. Ему мало, что он заставляет Землю вращаться вокруг Солнца, он еще допускает, будто на земной шар можно взглянуть со стороны!

С увлечением развивает он свою диковинную мысль. Какой покажется Земля человеку, если он будет смотреть на нее из какой-нибудь точки мирового пространства? Чем больше будет он удаляться от Земли, тем шире сможет охватить ее своим взглядом, а уйдя на определенное расстояние, увидит, что Земля — шар.

— Мы увидим Землю, — восклицает Джордано, — с такими же подробностями, с какими видим Луну, ее светлые и темные части!

— Однако увеличивающееся расстояние, — продолжает Бруно, — будет все больше мешать нам различать детали. Луна по мере удаления от нее потеряет привычный нам облик. Пятна ее будут становиться все меньше и меньше, и, наконец, Луна покажется нам маленьким светящимся телом. А совсем издалека и наша Земля будет казаться нам звездой, одной из бесчисленных звезд бескрайнего неба.

О чем бы ни рассуждал Ноланец, он как-то так поворачивает любую тему, что она становится странной. Он говорит об освещенности Луны и вдруг задает вопрос: как бы мы воспринимали лунный свет, находясь на Луне? И тут же высказывает предположение, что свет, отражаемый Землей, может быть сильнее лунного, хотя люди

и не замечают этого. Но его видят те, бросает он вскользь, кто находится на Луне.

Те, кто находится на Луне! Но и этого Ноланцу мало. Он уверяет, что существуют и другие небесные тела, подобные нашей Земле, и что их неисчислимое множество. Поразительные речи! Для большинства присутствующих даже Коперниково учение представляется хитроумной выдумкой. Но если оно, по рассказам, облегчает исчисления, то пусть им и занимаются досужие математики. Ноланец думает иначе. Он во что бы то ни стало хочет убедить людей считать Землю одной из планет, вращающихся вокруг Солнца, хочет заставить человека мысленно побывать в бесконечном — бесконечном! — эфирном пространстве и взглянуть оттуда на земной шар. Кто он, этот итальянец, с его быстрой речью, выразительными жестами и необыкновенно живым и умным лицом? Кто он? Безудержный выдумщик, нашедший у Коперника пищу для своих немыслимых фантазий? Зряшный хулитель общепринятых мнений? Корыстный насмешник, который нарочно дурачит честную компанию, чтобы потешиться над нею в своей новой комедии?

Совершенно невероятные вещи он излагает с такой убежденностью, что вызывает противоречивые чувства. Ему нельзя отказать в известной логике. Поразительно его умение доказывать недоказуемое. Трудно следить за потоком выдвигаемых им аргументов. Он сведущ в различных науках — не понятый ни на родине, ни на чужбине пророк, которого оценят через столетия? Или бродячий софист, ловко жонглирующий идеями?

Когда Бруно кончил, воцарилось молчание. Украшенный перстнями доктор не сразу нашелся что ответить. Несколько помедлив, он заявил, что мысль о движении Земли неправдоподобна. Земля, как известно, центр вселенной, неподвижная и постоянная основа всякого движения.

Центр вселенной! И это довод! Бруно снова ринулся в спор. Где такой центр? Коперник, например, считает Солнце центром. Так думают и многие другие ученые, убежденные в ограниченности вселенной. Здесь корень всех расхождений. Он, Ноланец, полагает вселенную бесконечной, а раз она бесконечна, то нет и тела, которому было бы абсолютно необходимо пребывать в центре. Небесному телу лишь свойственно находиться в неких отношениях с другими телами.

Сколько придумали лекарств и припарок, чтобы заставить природу идти в услужение к маэстро Аристотелю! Но напрасны усилия тех, кто, измышляя различные уловки, тщится доказать, будто всякое перемещение небесных тел есть правильное, без малейших отклонений, движение по идеальному кругу. Только леность мысли и старые привычки заставляют людей отрицать явления природы, которые кажутся необычными. Нельзя на мысль о движении Земли отвечать одним только возгласом, что это-де невозможно и неприемлемо. Пусть ему приведут аргументы, подтверждающие, что вселенная имеет предел, что звезд в мировом пространстве ограниченное число, что Земля центр вселенной и что она совершенно неподвижна!

Противник оторопел, но он хочет скрыть свою беспомощность. Бруно упоминал, что существуют бесчисленные миры, подобные нашему. Ловкий диспутант находит выход. Тягостное молчание он прерывает, потоком вопросов. Каковы, по мнению Ноланца, другие небесные шары? Каковы их свойства? Из какого вещества они состоят? Почему…

Спасительный выход. Засыпать другого вопросами и самому ничего не доказывать. С помощью «как» и «почему» любой осел может участвовать в диспуте! Джордано понимает его уловку, но ограничивается тем, что просит держаться главной темы. Ему ведь так и не показали, каким разумным основаниям противна мысль о движении Земли. Относительно же вопросов, коими его засыпали, он охотно выскажет свои соображения, хотя о многом может говорить лишь предварительно. Он думает, что одни небесные тела излучают свет, а другие его только отражают. Огненные шары похожи на Солнце, а шары, светящиеся отраженным светом, — земли, которые отличаются от нашей лишь размерами.

В природе, объясняет Бруно, не существует ни сфер, к которым будто бы пригвождены светила, ни двигателей, вращающих сферы. Небесные тела, как огромные живые существа, дают жизнь и питание всем вещам, которые получают от них материю и им же возвращают ее. Они движутся не по воле какого-то внешнего двигателя, а находятся в самодвижении.

Джордано приходится отвечать и на обычный довод, высказываемый в опровержение мысли о движении Земли. Если бы,

мол, Земля вращалась, то тучи всегда бы стремительно неслись к западу. Он подчеркивает, что воздух, окружающий Землю, есть часть Земли, и, поэтому говоря о ее вращении, надо понимать весь организм в целом.

Противник не прерывает Бруно, но всем своим видом показывает, что тот городит несусветные вещи, он насмешливо прищуривает глаза, презрительно ухмыляется, надменно поднимает брови. На вопрос, почему он смеется, отвечает, что россказни о существовании других земель заимствованы у Лукиана.

Опять эта завидная ученость! Бруно говорит о серьезных вещах, пытается по-новому осмыслить все мироздание, а буквоед, живущий одними цитатами, не зная, как возражать, отпускает оскорбительные шуточки. Когда Лукиан зубоскалил над философами, учившими о множественности миров, он лишь разделял общее невежество.

— В честном споре, — желчно бросает Бруно, — не подобает издеваться над тем, чего не понимаешь. Как я не смеюсь над вашими фантазиями, так и вы не должны смеяться над моими мнениями. Если я дискутирую с вами вежливо и с уважением, то и вы должны отвечать мне тем же!

Напрасные призывы. Второй оксфордец ведет себя еще более нагло. Поправив бархатный берет и подкрутив усы, он поднимается из-за стола. Принимает воинственную позу, словно собирается драться на шпагах, левой рукой подпирает бок, а правой делает выпад. Жест и слова полны презрения:

— Так это вы и есть пресловутый учитель философов?

Бруно сразу же его обрывает. Даже если бы он был им, то разве отсюда следует, что Земля неподвижный центр мира? Они ведь собрались здесь не для того, чтобы обмениваться колкостями. Времени потрачено много, но он еще не слышал, чтобы кто-нибудь опроверг его взгляды. Или его противники пришли на диспут не во всеоружии аргументов, а лишь с запасом убогих острот?

Присутствующие стали просить оксфордца перейти к существу спора. Подумавши, тот с важностью изрек:

— Если Земля движется, то почему Марс кажется то больше, то меньше?

Бруно ответил, что главная причина этого в движении Земли и Марса по собственным орбитам. Они то приближаются друг к другу,

то отдаляются.

Второй из докторов решил прибегнуть к той же тактике, что и первый. Он намерен был засыпать Бруно бесконечными вопросами: смотришь, и найдется какой-нибудь, на который тот не ответит. Действительно, надо иметь много терпения, чтобы не встать и не уйти. Но разве дело в этих докторах? Разве среди слушающих нет людей, ради которых стоит остаться? Джордано еще раз попытался ввести спор в правильное русло. Он ведь пришел сюда не для того, чтобы читать лекции об общеизвестных истинах или вступать в тяжбу с математиками о точности тех или иных расчетов. Речь идет об основных принципах строения вселенной. Можно всю ночь рассуждать о «блужданиях» планет и не продвинуться ни на шаг в главном вопросе. Зачем понапрасну тратить силы? Пусть его противники оперируют любыми расчетами и наблюдениями, но пусть они выдвинут серьезные возражения против защищаемых Ноланцем идей.

Оксфордцы переговариваются между собой, спрашивают о чем-то других. Из-за чего происходит задержка? Оказывается, они не знают, какие, собственно, положения намерен защищать Ноланец! Что они, издеваются над ним? Он уже столько объяснял. Если у них нет доводов, то это их собственная вина. Он им дал достаточно материала. Ну, а если они уверяют, что не поняли, в чем суть его несогласия с вульгарной философией, то он так и быть повторит еще раз.

И Бруно снова говорит о бесконечности вселенной, о неисчислимом множестве небесных тел, таких же огненных светил, как Солнце, или таких же холодных, как Земля, Луна, Венера; повторяет, что одни тела движутся вокруг других без всякого внешнего двигателя, а лишь в силу присущего им жизненного начала, объясняет суточное и годичное движение Земли. Он говорит терпеливо и обстоятельно, хотя один из докторов все время ему мешает возгласами: «К делу! К делу!»

Бруно заканчивает. Его противник мог бы еще кричать, если бы он не по существу отвечал на вопросы, но он ведь высказывал свои собственные положения. Это и есть суть дела. Пусть-ка теперь его нетерпеливый оппонент, усмехаясь, бросает Бруно, сам выскажет что-нибудь относящееся к делу!

Доктор с виду очень воинствен, он здорово орет, когда перебивает другого, но сейчас он в замешательстве. Его очередь выступать, он должен опровергнуть Ноланца, должен сам и впрямь высказаться о существе дела. Джордано улыбается: пожалуйста, все ждут… Ведь оппонент, вероятно, не может надеяться, что его шумные возгласы будут приняты за аргументы, а зычный голос в сочетании с золотой цепью полностью удовлетворит собрание?

Оксфордец, который только что так упрямо перебивал Бруно, выходит из себя. Он вскакивает с места, словно хочет закончить спор кулачной расправой, и обрушивает на Джордано поток злых и язвительных слов. Ноланец стремится быть основателем какой-то новой философии? Он, видите ли, не уступает в величии ни Птолемею, ни другим прославленным астрономам и философам. Не тешит ли он себя пустой мечтой и не тратит ли понапрасну время? Только одно делает Ноланец наверняка: он плывет в Антициру!

Даже здесь этот доктор не в силах удержаться, чтобы не блеснуть книжной ученостью. Другой сказал бы, что Ноланец попросту спятил, а он обязательно должен щегольнуть Эразмовой поговоркой. «Плыть в Антициру» означает лишиться рассудка. Это его, Бруно, называют безумцем! Он хочет, чтобы его поняли, с редким долготерпением растолковывает свои мысли, ждет серьезных возражений, а его снова прерывают насмешливыми возгласами, а затем вообще называют безумцем! Если на диспуте в Оксфорде он сохранял учтивость и спустил университетскому корифею оскорбительные наскоки, то это совсем не значит, что он всегда будет в вежливых выражениях отвечать на грубость. Он так разделает этого надутого педанта, что тот надолго откажется от своих плоских острот и не захочет состязаться с Ноланцем в сочности выражений. Ведь этому ослу вместо золотой цепи следует накинуть на шею петлю и в память о сегодняшнем вечере отсчитать сорок палочных ударов! Бруно осыпал противника градом насмешек. Ему здесь больше нечего делать. Хорош же ученый диспут, где бранью отвечают на его аргументы! Вставая из-за стола, Бруно попрекнул и хозяина: неужели тот не мог запастись лучшими оппонентами!

Все поднялись. Раньше, когда над Джордано смеялись и дурацкими репликами мешали ему говорить, большинство гостей одобрительно улыбалось. А теперь, когда Бруно ответил грубостью на грубость, они

начали возмущаться и обвинять Ноланца в нетерпимости. Конечно же, он виноват! Он не носит докторского берета, он иностранец, он защищает какие-то сомнительные парадоксы! Джордано взял себя в руки. Пусть и на этот раз он победит вежливостью тех, кто жаждет одолеть его с помощью брани. Примирительно говорит оппоненту, что понимает его: он сам мальчишкой, будучи новичком в философии, разделял подобные заблуждения.

Заблуждения! Оксфордцы горячатся. На их стороне не только Аристотель и Птолемей, но и другие ученейшие философы. Вечный довод защитников вульгарной философии! Многое, что делается под знаменем Аристотеля, не имеет к нему отношения. Бруно, как и Телезио, всю жизнь ведет почетнейшую войну со взглядами Стагирита, но он всегда помнит, что самые ревностные перипатетики часто совершенно не знают сильных сторон Аристотеля, и не понимают толком даже заглавия его книг. Они разделяют лишь его ошибки.

Да и в самом деле, неужели оксфордцы не выскажутся по существу? Преисполненный августейшего величия доктор с орденом вопрошает:

— Где находится апогей Солнца?

Почему его об этом спрашивают? Опять та же манера: не приводить фактов, а только с важным видом спрашивать и спрашивать! Так легко производить впечатление на простаков. Джордано пародирует его вопросы. Их можно задавать без конца. Бывает ли противостояние над колокольней святого Павла? Сколько таинств церкви? Почему бы Ноланцу не знать, сколько звезд четвертой величины?

Его словно нарочно не желают понимать. Весь вечер Бруно доказывал, что не Солнце движется вокруг Земли, — наоборот, Земля вокруг Солнца. А ему твердят: где высшая точка подъема Солнца? Это все равно, что человеку, убежденному в неподвижности Земли и движении Солнца, задавать вопрос, где апогей Земли!

Ведь даже новичок, только еще начинающий постигать искусство аргументации, знает, что вопросы надо ставить, исходя не из собственных предпосылок, а из положений, выдвинутых противником.

Ему не возражают. Как бы убедительно он ни говорил, оксфордцы всем своим поведением показывают, что не придают веса его речкам.

Вот и сейчас они о чем-то совещаются. Бруно сидит тут же, за одним столом с ними. Они прекрасно знают, что гость не понимает по-английски, и нарочно, оставив латынь, говорят между собой на своем языке. И подобные люди еще гордятся хорошим воспитанием! Но что это? Слуга принес чернильницу и бумагу. Один из докторов чертит окружности, рисует планеты, делает поясняющие надписи: «Солнце», «Восьмая подвижная сфера», «Птолемей». Он продолжает чертить и хочет изобразить на бумаге схему Коперника. Почему он так старается?

— Молчите, — обрывают Бруно, — и учитесь доктринам Птолемея и Коперника.

Ноланец вспылил. Выводят буквы и берутся обучать грамоте того, кто знает ее лучше их! Люди, которые видят в теории Коперника только отвлеченную гипотезу, удобную для упрощения расчетов и не имеющую под собой реальных оснований, желают по-своему толковать Коперниковы идеи. Да Коперник дал бы скорее перерезать себе горло, чем согласился с подобными комментаторами! Разглядывать в книге Коперника рисунок — это еще не значит понимать его учение.

Спор снова становится острым. Раздаются взаимные попреки, резкости, насмешки. Оксфордцы лезут в сочинение Коперника, читают отдельные фразы и опять, не обращая внимания на Бруно, что-то обсуждают по-английски. Потом они поднимаются, важно раскланиваются со всеми присутствующими — со всеми, кроме Ноланца! — и идут к дверям.

Это ли не публичное оскорбление? Джордано находит в себе силы обуздать гнев. Он обращается к одному из знакомых, просит нагнать почтеннейших докторов и передать им от его имени привет.

Испытывая неловкость из-за неучтивой выходки оксфордцев, несколько человек хотят успокоить Бруно. Пусть он не волнуется из-за этих дерзких невежд и будет снисходителен к Англии, которая овдовела во многих науках и особенно в философии. Ему не легче от этих утешений. Слепые ослы, выдавая себя за зрячих, лезут в философию и тащат туда вместо фонарей мочевые пузыри!

Джентльмены, прощаясь с Ноланцем, расходятся. Внизу Бруно ждет новое унижение. На дворе глубокая ночь. Слуги с факелами

встречают своих господ. Одним подают лошадей, другие идут пешком в окружении целой свиты.

Сэр Фулк не находит нужным позаботиться о своем беспокойном госте и дать ему провожатого. Его, видимо, совсем не тревожит мысль, как Джордано, плутая в потемках, будет разыскивать Мясницкий ряд в бесконечном лабиринте лондонских улиц.

Он тут же, не откладывая, взялся за перо. Терпение его истощилось! Он десять месяцев живет в Англии, пытается, как только может, будить спящие души, а ему вместо благодарности лишь норовят размозжить голову! Все время он держал себя в руках и не раз, когда его так и подмывало хлестнуть обидчика бичом сарказма, ограничивался вполне вежливыми фразами. Даже на диспуте в Оксфорде он не дал воли своему гневу и на грубости свиньи Андерхилла отвечал излишне корректно. А ведь он сразу предупреждал оксфордцев, что никому не позволит безнаказанно поносить его учение. Он слишком долго терпел. Не за славой приехал Ноланец в Англию. С большей бы радостью он учился, чем учил. Никому не навязывал своих мыслей, никого не призывал принимать на веру его теорий. Он хотел только одного: чтобы люди, отказавшись от предубеждений, взглянули на мир открытыми глазами. Многое он высказывал предположительно, в виде догадок, которые казались ему вероятней существующих ошибочных мнений. Обоснованные возражения ему куда дороже пустой похвалы. Может быть, он упустил из виду какие-нибудь важные доводы и в его взглядах есть изъян?

Месяц за месяцем искал он ученых, которые пожелали бы серьезно разобраться в сути его воззрений. Да, у него есть теперь несколько друзей, убежденных в истинности ноланской философии. Но как их мало по сравнению с тьмой недоброжелателей! Всякий спесивый неуч, рассчитывая на безнаказанность, позволяет себе потешаться над его взглядами и унижать любимую им мать философию! Больше этого он не будет сносить. Он отобьет у педантов охоту зубоскалить и заставит их на собственной шкуре почувствовать, что Ноланец отвечает ударом на удар и платит за каждый смешок отменной издевкой.

Достанется и Фулку! Он ведь его предупреждал, что соглашается участвовать в диспуте только при условии, если будут приглашены настоящие ученые. А как тот поступил? Фулк прекрасно знал о конфликте в Оксфорде и тем не менее противопоставил ему именно

оксфордских докторов. Хорош, нечего сказать, хозяин, который не держит обещаний, зовет на пир мысли не сведущих людей, а набитых чванством кукол, и позволяет им в своем доме грубо обходиться с гостем!

Сейчас Бруно не собирается в строгой последовательности излагать свои взгляды на мир. Он просто под свежим впечатлением поведает читателям о том, что в день пепла происходило в апартаментах Фулка Гривелла. Это будет, разумеется, не трактат и не послание. Он напишет диалоги, в которых один из собеседников будет рассказывать трем другим о недавнем диспуте. Ноланец не станет писать сейчас по-латыни, он оставит ее оксфордским педантам: в Лондоне достаточно много людей, знающих итальянский. Да и что больше под стать его цели, если не хлесткий язык «Подсвечника»?

Пир мысли? Ужин в день пепла? «Пир пепла»! Название имело явный привкус кощунства, но это не смущало Бруно. Он готовит не благочестивую проповедь! Диалоги начинались стремительно, точно разыгрывались на подмостках:

«— Хорошо говорят по-латыни?

— Ученые?

— Довольно компетентные. Благовоспитанные, вежливые, культурные?

— В известной степени.

— Доктора?

— Да, сударь. Да, господи, да, матерь божия. Да, да. Я думаю, что они из Оксфордского университета.

— Квалифицированные?

— Ну как же нет? Избранные люди, в длинных мантиях, облаченные в бархат. У одного — две блестящие золотые цепи вокруг шеи, у другого — боже ты мой! — драгоценная рука с дюжиной колец на двух пальцах, которые ослепляют глаза и душу, если любуешься ими. Похож на богатейшего ювелира.

— Высказывают познания и в греческом языке?

— И к тому же еще и в пиве».

Бруно не особенно стеснялся в выражениях, когда набрасывал портреты своих противников, этих экзаменаторов ноланской полноценности. Он дал им вымышленные имена: доктора с цепью назвал Торквато, а того, что сверкал перстнями, — Нундинием. Но

чтобы не было сомнений, кого он имеет в виду, Бруно точно указал, где за столом кто сидел.

Джордано не боялся отступлений. Страницы, словно заимствованные из злой комедии, сменялись геометрическими схемами, математическими доводами, примерами из физики. Целый водопад образов, стихов, цитат, шуток, двусмысленных намеков. Осмотрительностью Бруно не отличался и в сердцах хватал через край. Иногда казалось, будто он нарочно хочет восстановить против себя возможно большее число людей. В «Пире на пепле» он не только разделался с оксфордскими педантами, но и откровеннр выложил все, что думал о неприветливых лондонцах. Мимоходом прошелся и по адресу своих пронырливых земляков, незаслуженно почитаемых англичанами.

Он писал о философии и теологии, о роли Коперника, о вреде предубежденности в науке, о бесплодии скептиков, оценивал заслуги древних астрономов и настойчиво повторял: вселенная безгранична и существуют другие обитаемые миры!

Пятый, заключительный диалог Бруно написал специально для того, чтобы диспут «не окончился бесплодно». Здесь почти не было сатирических отступлений. Джордано развивал свои основные мыс-, ли о вселенной. Люди не избавятся от множества заблуждений, пока будут верить, что Земля в отличие от других небесных тел занимает какое-то особое положение, что она центр всего мироздания. Мысль о пригвожденных к небосводу звездах, которые будто бы движутся только с движением восьмой сферы, ошибочна. Сферы неподвижных звезд не существует. Звезды, называемые «фиксированными», расположены на неодинаковом расстоянии от Земли. Они находятся очень далеко от наблюдателя, и поэтому кажется, будто они неподвижны. Но они вращаются вокруг своих центров и подчинены законам взаимодействия, которые мы наблюдаем в окружающей нас природе. Будущее покажет правильность этой основной посылки. Среди далеких звезд, возможно, есть множество еще более великих светил, чем Солнце. Их орбиты значительно больше, чем орбиты наших планет, но движения этих звезд не видны. Джордано, однако, убежден, что они со временем будут обнаружены. Он верит в грядущие успехи астрономии:

«Если у некоторых из звезд произойдет разница в приближении, то о ней можно узнать только благодаря самым длительным наблюдениям, которые не начаты и не продолжаются, так как в такие движения никто не верил, не исследовал их и не предполагал, а мы знаем, что в начале исследования лежит знание и познание того, что вещь есть, или что она возможна и нужна, и что из нее извлечется польза».

Бруно писал, что в основе движения лежат вечные изменения материи, указывал на относительность представлений о тяжести и легкости. Он убежден, что и лик Земли постоянно меняется: там, где было море, возникает суша. Его рассуждения пересыпаны множеством интересных подробностей.

У Ноланца зоркий глаз, он помнит и море, отступающее от стен Нолы, и камни на полях Прованса.

Все, о чем бы он ни говорил, служило одной цели: схоластическому мышлению и варварским нравам должен быть положен конец, люди должны увидеть зарю нового мировоззрения. Его не страшили упреки в смешении стилей, в обилии затронутых тем, в резкости. Ведь его призвание — будить дремлющие души!

Заканчивая «Пир на пепле», Джордано снова вспомнил, как неучтиво обошелся с ним Фулк Гривелл. И кому не дал он провожатого? Ноланцу!

Бруно писал о тьме незнакомых лондонских улиц, а перед глазами вдруг зловещим видением обернулась мысль о родине: десятки монахов с факелами в руках ведут еретика на сожжение…

С едкой напыщенностью заклинал Бруно благороднейших джентльменов проявлять больше заботы о госте. Странная фраза вышла из-под его пера:

«Когда же Ноланцу случится темной ночью возвращаться домой, то если вы не захотите дать ему сопровождение с пятьюдесятью или со ста факелами, в которых не будет недостатка, шагай он даже среди бела дня, коль придется ему умирать в католической римской земле, — дайте по крайней мере провожатого с одним факелом; если и это покажется вам лишним, то одолжите ему фонарь с сальной свечкой…»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

БУРЯ



Для пиратов настали чудесные времена. Прежде корсар кончал свою жизнь обычно на рее или закатанный в парус погибал в пучине. Ждать почестей ему не приходилось. Теперь морской разбой превращался в доблестное дело. Ловкие пираты знали, кого грабить и кого брать в долю. Корсары негласно становились орудием большой политики. Борьба за преобладание на морях велась и их руками. Елизавета быстро сообразила, какие выгоды можно извлечь, поддерживая пиратов. Она не гнушалась никакими доходами, получала тайком часть прибыли от работорговли и немалую долю добычи, захваченной на испанских кораблях. Невзирая на предупреждения осторожных советников, она одобряла налеты на колонии испанцев в Новом Свете. В ней говорила не только алчность, но и политический расчет: дерзкие нападения пиратов подрывали могущество Испании. На безбрежных морских просторах шла необъявленная война. Англичане перехватывали галеоны, на которых Филиппу II везли из

заморских владений серебро и золото. В отместку испанцы пускали ко дну английские торговые корабли. Энергичные представления негодующего испанского посланника королева выслушивала с хорошо разыгранным удивлением. Разве она, всей душой стремящаяся к миру, может быть в ответе за злодейства каких-то корсаров?

О Френсисе Дрейке говорили повсюду. Никто еще из английских мореходов не совершал таких подвигов, как этот жестокий работорговец и удачливый пират. Он проник через Магелланов пролив в Тихий океан и стал нападать там на испанские города. Тяжелые испытания не остановили Дрейка. Из четырех кораблей он потерял три, но продолжал отбивать у испанцев золото и грабил поселения. Он хотел возвратиться на родину необычным путем: «проходом» у северной оконечности Америки, который будто бы недавно обнаружили. Прохода этого Дрейк не нашел, но открыл новые земли и провозгласил их владениями Елизаветы. Опасаясь испанцев, он не рискнул плыть обратно, решил пересечь Тихий и Индийский океаны и обогнуть Африку.

Почти три года длилось его плавание. Он вернулся в Плимут овеянный славой — первый человек, который после Магеллана совершил кругосветное путешествие. Его восторженно встречали английские моряки. Посол Испании настаивал, чтобы наглых корсаров строго покарали и вернули награбленное. Видеть в Дрейке дерзкого корсара или героя, преумножающего владения королевы? Елизавета оказала Дрейку милостивый прием, прогуливалась с ним по саду, внимательно слушала, восхищалась драгоценностями. Его корабль велела привести в устье Темзы и устроить праздник. Соблаговолила прибыть и сама. Здесь же, на палубе, посвятила Дрейка в рыцари.

Испанскому послу пришлось довольствоваться ответом, что привезенные Дрейком сокровища временно переданы в казну. Спор закончится полюбовно, как только Филипп II возместит англичанам, ограбленным его подданными, весь ущерб.

Елизавета открыто благоволила к Дрейку.

Не оценить услуг этого опытнейшего капитана, когда столько говорят о колониях? Обостряющееся соперничество между Англией и Испанией заставляло пристальней приглядываться к Новому Свету. Не пора ли и англичанам утвердиться в сказочно богатых странах?

Еще до кругосветного плавания Дрейка Англию взбудоражили необыкновенные открытия Мартина Фробишера. Неудачные попытки найти путь в Китай вдоль берегов Сибири побудили искать проход в Тихий океан на севере Америки. Фробишер уверял, что нашел такой проход: десятки миль плыл он проливом, имея по одну сторону американскую землю, а по другую — Азиатский материк. Туземцы были похожи на татар. Китай где-то рядом! На берегу Фробишер в изобилии обнаружил черный камень с желтыми прожилками. Золото!

Его рассказы взволновали королеву. Она помогла снарядить новую экспедицию. В далекий путь вместе с моряками отправлялись и рудокопы. Трюм самого большого корабля было предписано наполнить драгоценным камнем и тут же плыть обратно. Фробишер имел другую задачу — он должен был попытаться достичь Китая. План этот остался неосуществленным. Вернувшись на родину, Фробишер доложил, что льды забили проход и он не выполнил приказа, зато все три его судна до отказа нагружены золотой рудой. Комиссия, назначенная королевой, подтвердила — в черном камне есть золото!

В Англии на Фробишера возлагали много надежд. Отрезвление пришло не сразу. Тщательные проверки показали, что в «золотой руде» золота не содержится. Да и «Азиатский материк» скорее походил на остров. У скептиков хватало поводов для сомнений. Может быть, и Фробишеров «проход» вовсе не проход? Неудача обескуражила только маловеров. Если северо-западный путь в Китай не найден, то будет найден!

Бруно приехал в Англию, когда уже улеглась лихорадка, вызванная Фробишером, и отшумели восторги, расточаемые по адресу Дрейка. Но тем громче раздавались другие голоса. Разве золотая руда — единственный залог богатства? Надо осваивать новые земли, торговать мехами, развивать рыболовство — начинать колонизацию необъятных просторов Северной Америки!

Эти призывы не миновали ушей Мовиссьера. После экспедиций Жака Картье Канада и прилегающие острова были объявлены французскими владениями. Попытка Хемфри Гилберта оставить колонистов на Ньюфаундленде, хотя и безуспешная, встревожила Париж. Генрих III выразил протест. Почему в его землях хозяйничают незваные пришельцы? В его землях? Да английские капитаны побывали здесь задолго до французов!

Среди людей, с которыми встречался Бруно, не один Мовиссьер интересовался Новым Светом. Это была излюбленная тема разговоров Филиппа Сиднея. В свое время он помогал финансировать Фробишера. Америка в глазах Сиднея была не столько золотым дном, сколько ареной для рыцарских подвигов. Он приветствовал нападения на испанские колонии.

Флорио тоже не остался в стороне от этих увлечений. Еще в Оксфорде, когда Хаклюйт решил издавать серию знаменитых путешествий, Флорио перевел для него рассказ о плавании Картье. Не ограничившись ролью переводчика, он написал введение, где доказывал, что англичане по праву первооткрывателей должны заселять североамериканские территории. Созданные там колонии наверняка помогут отыскать и путь в Азию. Сидней одобрил начинание Хаклюйта и работу Флорио.

Почти с такой же горячностью, как в портовых кабаках, о Новом Свете спорили в аристократических гостиных, в книжных лавках, в посольствах. Какие еще земли найдут отважные капитаны? В апреле 1584 года в Северную Америку ушли корабли, снаряженные Уолтером Роли, фаворитом королевы.

Бруно прислушивался к сообщениям о Новом Свете. Но энтузиазма по поводу успехов колонизации он не проявлял. Велико ли благо, если хитроумные англичане или иные алчные авантюристы обоснуются на неведомых прежде землях? Только пороками одного народа наделят и остальные!

Открытие Америки поставило перед учением церкви серьезные затруднения. Как смотреть на туземцев? Происходят ли они тоже от Адама? Тогда как могли они оказаться по ту сторону океана? Или они только внешне похожи на людей, а на самом деле не составляют части рода человеческого, чьи грехи были искуплены жертвой Христа?

У туземцев, по слухам, обнаружены летописи, рассказывающие о событиях, которые происходили задолго до того дня, когда господь, как высчитали церковники, создал весь этот мир. Да ведь такая хронология наносит авторитету библии еще один сокрушительный удар!

К подобным вестям из Нового Света Ноланец был далеко не безразличен.

Выход из печати «Пира на пепле» вызвал целую бурю. Брань и оскорбления сыпались со всех сторон. Возмущались все недруги Коперниковой теории, мракобесы и ретрограды, служители церкви и приверженцы Аристотеля. Какой-то заезжий философ позволяет себе опровергать взгляды, которых держались поколения ученых! К хору негодующих голосов присоединились и те, кто не очень-то интересовался астрономией. Враги хорошо понимали, как проще всего окружить Бруно стеною ненависти: его саркастические замечания о грубости лондонцев надо представить как развязную хулу на все английское общество. Сделать это было не особенно трудно. В «Пире на пепле» доставалось не одним Нундинию и Торквато. Вспоминая оксфордский диспут, Джордано писал: «Таковы плоды Англии: ищите сколько хотите, вы найдете здесь только докторов грамматики в наше время, когда в этом счастливом отечестве царствует созвездие упрямейшего педантического невежества и самомнения, смешанного с деревенской невоспитанностью, которые заставили бы отступить и многотерпеливого Иова».

Он, не стесняясь, высказывал суждения, метившие очень высоко. Вокруг трона крутились фавориты и временщики. Королева по собственной прихоти возвышала проходимцев и авантюристов. Да, Бруно чрезмерно, в духе времени, восхвалял Елизавету, но много ли оставалось от напыщенных фраз, когда в этой же книге были и такие слова: «Обыкновенно не возвышают достойных и добродетельных людей, ибо государю кажется, что эти люди не будут иметь повода так благодарить его, как получивший возвышение низкий человек или плут, принадлежащий к подонкам общества. Кроме того, благоразумно дают понять, что счастье, слепому величию которого мы столь обязаны, выше, чем добродетель. Если иной раз возвышают благородного или почтенного человека, то не часто позволяют ему удержаться на посту. Ему предпочитают менее достойного, для того чтобы доказать, насколько власть выше заслуг и что заслуги ценятся только тогда, когда они дозволены и допущены властью».

Благо бы он потешался лишь над лондонской толпой или над оксфордскими педантами, но он и дворян выставляет в весьма неприглядном свете! Возмущались не одни англичане, даже среди земляков появились у Бруно враги: Саесетти и Убальдини, эти «две поддельные флорентийские реликвии», мечтали отомстить за

насмешку. Люди, которых так или иначе задела его книга, подняли невероятный шум. Ноланец клевещет на Англию! Болезненно самолюбивый и обидчивый Фулк Гривелл не простил Бруно «Пира на пепле».

На голову Бруно обрушился поток оскорблений. Воистину нужно обладать героическим духом, чтобы выстоять против этой бури, не опустить рук, не впасть в отчаяние. Враги, не брезгуя средствами, принялись травить Ноланца.

Ему нельзя было выходить на улицу. Отсиживаясь в посольстве, тихонько переждать, пока уляжется буря? Воспользоваться вынужденным уединением, чтобы набраться благоразумия? Плохо же они знают Ноланца! Он изменил бы себе, если бы сложил оружие. Бруно готовил к печати «О причине, начале и едином». Рукопись была почти завершена, когда разразился скандал из-за «Пира на пепле». Мовиссьер еще раз показал себя с наилучшей стороны. Он делал все, чтобы защитить Бруно. И Джордано не без оснований сравнивал его со спасительным утесом, о который разбиваются волны бушующей стихии. Книгу «О причине, начале и едином» — самое дорогое, что было у Бруно, самое, по его убеждению, драгоценное для будущего мира — он, как и «Пир на пепле», с чувством искренней благодарности посвятил Мовисеьеру. К четырем написанным диалогам Джордано решил добавить еще один — ответ недоброжелателям и клеветникам.

Совы не терпят солнца, узники, привыкшие к тюремному мраку, выйдя на яркий свет, прикрывают глаза, люди, изощренные в вульгарной философии, не выносят блеска новых учений! Так разве в этом вина Ноланца? Вокруг вопят, что он клеветник и оскорбитель. А ведь он только отвечает ударом на удар. Слишком решительно? Пусть другим неповадно будет впредь делать философию предметом насмешек, Даже резкие слова высказаны им не ради мести, а ради врачевания. Он хочет, чтобы люди разглядели собственные пороки, а ему кричат в ответ: он, мол, не смеет вмешиваться в дела чужой страны. Как будто лекаря-иностранца, если он пытается употреблять целительные средства, неизвестные местным эскулапам, следует тут же прибить! Даже если его не признают за врача, от этого больные не станут здоровыми.

При всей своей вспыльчивости он не стал бы писать «Пир на пепле» из чувства оскорбленного самолюбия. Как будто в нем дело! Унизить пытались науку, любимую им мать философию! Сейчас всякий праздный краснобай, преисполнившись важности из-за выставленных напоказ книжек или длиннющей бороды, причисляет себя к философам. В глазах народа слово «философ» стало означать «плут», «тунеядец», «шарлатан», «скоморох». По вине таких самозванцев философия и терпит ущерб.

О нем говорят, что он слишком близко принимает к сердцу пренебрежительное отношение к науке? Люди находят естественным, если кто-нибудь стережет драгоценности или ревниво оберегает свою красотку. Да, для него, Бруно, дороже всего на свете философия. У него есть что защищать — он обязан быть и воинственным и зорким.

«Другие философы не открыли столько, не должны столько охранять и столько защищать. И они легко могут пренебрегать такой философией, которая ничего не стоит, или другой, которая стоит мало, или той, которой они не знают. Но тот, кто нашел скрытое сокровище истины, пораженный красотой этого божественного лика, не менее ревниво заботится, чтобы она не подверглась искажению, пренебрежению и осквернению, чем кто-нибудь другой, питающий низкую страсть к золоту, рубину и бриллианту или к тленной женской красе».

Враги его нарочно выдают упреки отдельным лицам за оскорбление всей страны. Он осудил бы себя на тысячу отречений, если бы тот или иной порок приписал целому государству. Возмущаться дурными обычаями — значит ненавидеть страну? Разве кто вправе усомниться в любви к родине тех поэтов, которые воспевают благословеннейшую Италию как мать добродетелей и одновременно зовут ее наставницей пороков?

Люди разумные, конечно, поняли его правильно. Один из персонажей диалогов, англичанин, сожалеет, что Бруно столкнулся со столь недостойными лицами, и уверяет, что все благородные умы приветствуют «Пир на пепле». Он идет еще дальше и говорит, что не подумает защищать тех, кто был предметом сатиры. Подобные люди позорят страну: «Из числа их я не исключаю значительной части ученых и священников, из коих некоторые при помощи докторской степени сделались вельможами. Их целью было приобретение той

жалкой авторитетности, которую они сначала не осмеливались показывать, но затем по своей наглости стали дерзко и открыто проявлять, рассчитывая таким образом увеличить свою репутацию ученого и священника. И не удивительно, что вы видите многих и многих обладающих докторской степенью и священническим саном, кто более близок к стаду, скотному двору и конюшне, чем настоящие конюхи, козопасы и земледельцы».

Бруно с похвалой отзывался об ученых, которыми в старину славился Оксфорд. Несмотря на их варварский язык, они были по духу куда ближе древним философам, чем теперешние мудрецы с их Цицероновым красноречием. Утонченность ума всегда предпочтительней утонченности выражений. Есть, конечно, в Оксфорде достойнейшие ученые, но не они задают тон. По числу докторов оксфордцы действительно обогнали многих. Наука — наилучший путь, чтобы сделать дух человека героическим. Наука, а не почетные дипломы, не знаки отличия, не пустая риторика.

И в этих диалогах Бруно вывел педанта, одного из строгих цензоров философии, из тех, кто, написав изящное послание или выкроив красивый оборот, мнит себя Цицероном, а, промычав проповедь, титулует себя Демосфеном. О эти педанты, живущие небесной жизнью, закопавшись в свои лексиконы! Есть ли что-нибудь на свете важнее их занятий?

«Когда педант спесиво сходит со своей кафедры как человек, распоряжавшийся небесами, управлявший сенатами, командовавший войсками, переделывавший миры, то становится ясно, что если бы только не несправедливость времени, то он так же орудовал бы делами, как орудует мнениями. О времена, о нравы! Сколь редки те, кто понимает природу причастий, наречий, спряжений!»

В Шотландии Елизавету постигла новая неудача. Оплаченные ею мятежники потерпели поражение. В результате столь дорогой для казны затеи власть Якова только упрочилась. В своих донесениях двору Мовиссьер настойчиво советовал использовать затруднения англичан и немедленно оказать поддержку шотландскому королю. Ситуация, в которой очутилась Елизавета, была не из легких. Но тем энергичней повела она дело. Даже в Мадрид направила посла, чтобы разрядить напряжение, связанное с высылкой Мендосы, и попытаться начать переговоры, а Генриха III она и вовсе усыпила своими

льстивыми письмами. Французам следовало проявить твердость, добиться освобождения Марии, помочь ее сыну. Из Парижа, однако, пришли инструкции, обескуражившие Мовиссьера. Выспренние слова прикрывали бездеятельность и малодушие. Король-де желает жить в добром согласии со всеми соседями и особенно с Елизаветой. Посла ставили в известность, что английские дипломаты больше не подстрекают гугенотов. Как это нужно понять? Не хлопотать впредь о вызволении пленницы?

Тревогам Мовиссьера не было конца. Яков сам обратился к Франции за помощью, предлагал возобновить старый союз и настоятельно просил денег — он должен иметь хоть какие-то средства, чтобы противодействовать английскому золоту! К этому предложению Генрих отнесся с крайним легкомыслием — распутство обходилось очень дорого! — шотландскому королю не прислал ни гроша, отделался обещаниями. Раздосадованный Яков стал внимательней слушать агентов Елизаветы. Недальновидность короля повергла Мовиссьера в уныние. Он годами, не жалея сил, старался, чтобы в Шотландии взяли верх люди, дружественные французам. И упустить такой случай!

Внезапная смерть герцога Ану и убийство в Нидерландах Вильгельма Оранского доставили Елизавете немало забот. Она опасалась усиления испанцев и поэтому еще усерднее обхаживала Генриха III. Королева, казалось, не знала, чем ему угодить, объявила, что пошлет во Францию Филиппа Сиднея, который вручит его величеству орден Подвязки. В эти дни Елизавета была подчеркнуто внимательна к Мовиссьеру, уверяла, что скоро позволит ему поехать в Шотландию и все уладить. Старый посол достаточно хорошо знал Елизавету. Она не скупилась на обещания, но никогда не торопилась их выполнять. От нее труднее было вытянуть самую малость золота, чем любое торжественное заверение. Искусством выигрывать время она владела в совершенстве. Пока Генрих III услаждал свой слух ее любезными письмами, она рассылала тайных эмиссаров. Как все-таки прибрать Шотландию к рукам? Ей предлагали одно из трех решений: привлечь на свою сторону Якова, примириться с Марией или снова подбить недовольных шотландцев на мятеж. Одно из трех? Заговорщиков Елизавета соблазняла властью, полунищего Якова — деньгами, узнице сулила свободу.

Провести Мовиссьера Елизавете так и не удалось. Он по-прежнему считал, что интересы его страны требуют возобновления франко-шотландского альянса. Позиция короля была ему известна. Но политик в Мовиссьере победил придворного. Не страшась монаршей опалы, он продолжал отстаивать свое мнение.

Приемы во дворце отличались пышностью и великолепием. Елизавета страсть как любила производить впечатление драгоценными нарядами, торжественностью церемониала, своими учеными речами. Образованная королева беседует с иноземными послами на их родном языке!

Мовиссьер брал Бруно с собою во дворец. Тот был о Елизавете высокого мнения. Когда другие страны страдали От жестоких распрей, на берегах Темзы было спокойно. После волнений, свидетелем которых Бруно был на родине и во Франции, Англия представлялась ему страною мира и порядка. И он вне всякой меры восхвалял Елизавету.

По-настоящему английской жизни Бруно не знал. Он находился здесь давно, но, ушедший с головой в напряженную работу над своими книгами, языка не изучил, посольство покидал не особенно часто, общался с ограниченным кругом лиц, многое знал только со слов Мовиссьера и Флорио. Наблюдательность ему не изменила, он смеялся над аристократами и злословил по адресу ничтожных, но влиятельных выскочек. Однако и к «толпе» Бруно относился с явной неприязнью. Его злили «бездельники» на улицах, «деревенские лодыри, забросившие пашни», и грубияны, поносящие иностранцев. Он увидел только варварство и невоспитанность там, где была трагедия.

Народ бедствовал. Предприниматели, устроив крупные мануфактуры с сотнями наемных рабочих, обрекли ремесленников на разорение. Лендлорды, прельстившись высокими ценами на шерсть, взялись вовсю хозяйствовать. Крестьян сгоняли с земли. Господа захватывали общинные угодья и превращали их в пастбища для овец. Толпы нищих ходили по дорогам. «Овцы, — с горечью говаривали в Англии, — пожирают людей!» Королевские указы немилосердно преследовали «бродяг».

Из различных стран в Англию прибывали эмигранты. Среди них было много искусных мастеров, их охотно использовали в мануфактурах. Кое-кому было выгодно, чтобы именно в чужестранцах

видели корень всех зол. Их-де засилье и привело к тому, что бедный люд вконец обнищал!

Тревожные вести о планах папы и Филиппа II совершить вторжение на английскую землю еще больше раздували эту неприязнь. Все паписты, разумеется, заодно! Хотя Бруно и называл французское посольство надежным убежищем, таким оно было далеко не всегда. Летом, несмотря на жару, нельзя было открывать окон. Среди жителей Мясницкого ряда ненависть к чужестранцам иногда проявлялась весьма своеобразно: один из соседей, построив дом, нарочно так проложил стоки для нечистот, что Мовиссьеру и его домочадцам страшная вонь отравляла жизнь.

Когда с чьей-то легкой руки поползли слухи, будто приверженцам Марии Стюарт, замышляющим убийство королевы, помогают французы, перед посольством стали появляться возбужденные люди. Они забрасывали стены грязью и выкрикивали оскорбления. А однажды в полночь толпа вооруженных мечами и самострелами людей окружила посольство. Они принялись швырять камни и стрелять из арбалетов по окнам. Высадив двери, вломились в дом, ранили двух слуг, выбили глаз мальчику, который воспитывался у Мовиссьера, переломали мебель. Больная жена посла чуть не умерла со страха.

На следующее утро Мовиссьер направил Флорио к Уолсингему с резким протестом. Франции нанесено неслыханное оскорбление. Людям из посольства опасно выходить на улицу, им угрожают побоями и смертью. Если виновных тотчас же не накажут, он будет вынужден покинуть Англию.

Уолсингем приказал заточить в тюрьму нескольких смутьянов. Посвящать Бруно во все подробности ночного нападения Мовиссьер не счел нужным. Один из главных зачинщиков, служитель королевских конюшен, находился под началом Фулка Гривелла.

«Если бы я, — писал Бруно, — владел плугом, пас стадо, обрабатывал сад или чинил одежду, то никто не обращал бы на меня внимания, немногие наблюдали бы за мной, редко кто упрекал бы меня, и я легко мог бы угодить всем. Но я измеряю поле природы, стараюсь пасти души, мечтаю обработать ум и исследую навыки интеллекта — вот почему кто на меня смотрит, тот угрожает мне, кто наблюдает за мной — нападает на меня, кто догоняет — кусает меня,

кто меня хватает — пожирает меня, и это не один или немногие, но многие и почти все».

Начальные строки вступительного письма, которым Бруно посвящал Мовиссьеру свою работу «О бесконечности, вселенной и мирах», были проникнуты чувством горечи. В Англии, как и в других странах, благородные побуждения Ноланца лишь создавали ему врагов. Чем настойчивее он отстаивал свои взгляды, тем резче на него нападали. Выход в свет диалогов «О причине, начале и едином» вовсе не способствовал тому, чтобы улеглась буря, вызванная «Пиром на пепле». Они только подлили масла в огонь. Ноланец продолжает упрямо защищать свои идеи! В погоне за славой софист-искуситель, опрокидывая здравые мысли, распространяет заблуждения. Он стремится отвратить людей от истинной веры и основать собственную секту поклонников ноланской философии. Его писания, плоды беспокойного ума — злейшее орудие разврата!

Враждебное отношение лишь закаляло его упорство. Ноланец знал, что того, кто в этом мире кровавых суеверий проповедует религию разума ждут не лавры, а скорее казнь. Обращаясь к Мовиссьеру, писал, что любовь к истине помогает преодолевать любые трудности: в узах он свободен, доволен в муках, богат в нужде. Поэтому он не сворачивает с трудного пути и не отступает перед неприятелем.

Новые диалоги были посвящены важнейшим разделам ноланской философии, учению о бесконечности вселенной и множественности миров. Раньше, уславливаясь с Фулком Гривеллом о диспуте, который был описан в «Пире на пепле», Джордано обещал разбить оппонентов, исходя из их собственных принципов. Аргументацию перипатетиков он находил неубедительной и брался показать, что, рассуждая о вселенной, Аристотель защищал принципы, противные принципам природы.

Оспаривая мысль о бесконечности вселенной, обычно прибегали к тем же аргументам, которыми прежде Аристотель пытался опровергнуть своих предшественников. Бруно не ограничился одним Стагиритом — он разобрал и отринул многие доводы его последователей.

Бруно подверг коренному пересмотру одну из основ философии Аристотеля, его учение о движении. «Все движущееся необходимо бывает движимо чем-то, — говорил Стагирит. — Ведь если оно не

имеет начала движения в себе самом, ясно, что оно движимо другим». Аристотель отрицал возможность «самодвижения». Это заставило его уверовать в существование «перводвигателя», бога, который находится вне вселенной и движет ею.

Коперник нанес Аристотелю сокрушительный удар. В основе его теории лежала мысль о «самодвижении»: «Если предполагать вращение Земли, надо непременно признать, что это движение естественное, а не насильственное». Необходимость в перводвигателе отпадала.

Бруно сделал следующий шаг. Раз Земля, ничем извне не поддерживаемая и ничем не толкаемая, несется в пространстве лишь благодаря своему внутреннему жизненному началу, то мысль эта должна быть распространена и на другие небесные тела. Фиксированные звезды только из-за огромности расстояний кажутся нам неподвижными: среди них находятся бесчисленные солнца, вокруг которых вращаются земли. То, что люди их не видят, совершенно не означает, что их не существует. Бруно убежден, что будущие исследования обязательно подтвердят его точку зрения. Вероятно, вокруг Солнца движутся и другие планеты, которых мы не знаем [10].

Джордано не соглашается с противопоставлением неба земле как совершенного несовершенному, как нетленного — тленному. Здесь лазейка для россказней о греховной земле и райских небесах. Нет, Земля это только одна из бесчисленных звезд, находящихся в беспредельных просторах вселенной!

Люди давно заметили, что все на земле меняется, а на небе испокон веков видно одно и то же движение, один и тот же круговорот. Чем объяснить это поразительное постоянство? Аристотель создал учение о «пятой сущности». Эта «пятая сущность», «эфир», в противоположность четырем разложимым сущностям — земле, воде, воздуху и огню, из которых состоит все в подлунном мире, неизменна и нетленна. Вечным характером небесной материи и объясняется видимое движение неба, вечное, постоянное, всегда одинаковое.

Веру в «пятую сущность», веру, разделяемую чуть ли не всем светом, Бруно называет постыдной. Недаром она пришлась по вкусу многим христианским богословам. Эта «квинтэссенция» несовместима с учением о единстве вселенной. В нее можно было еще верить, когда Землю считали неподвижным центром мира. Но если

Земля наряду с другими планетами вращается вокруг Солнца, если орбита ее так же неизменна, как и орбиты других планет, которые представлялись образцами вечного движения, и если кажущееся мировое движение объясняется не вращением сферы фиксированных звезд, а движением самой Земли, то рушится основа всех рассуждений о «пятой сущности».

Из «небесной материи», по мнению Аристотеля, состоят планеты и звезды. Бруно оспаривает это. Если Земля движется так же, как и планеты, раз нет принципиального различия между ними, то нет и оснований утверждать, что небесные тела состоят из какой-то иной материи. Материя вселенной едина.

«Эфир» — это не «пятая сущность». Бруно пишет, о бесконечном эфирном пространстве, в котором находятся неисчислимые миры. Они состоят из тех же основных элементов, что и Земля. Особенности же их зависят от того* что в них преобладает. Если преобладает огонь, то это Солнце, если же преобладает вода, то это. Земля, Луна и иные подобные им тела, которые светятся отраженным светом.

Бруно, как и Николай Кузанский, был убежден, что Луна и другие небесные тела обитаемы. Их жителям тоже кажется, что именно их мир — неподвижный центр вселенной, вокруг которого вращается все. Но раз и другие миры населены, то почему не общаются их жители? Боги поступили бы очень плохо, если бы лишили обитателей различных миров возможности поддерживать сношения. Не доказывает ли это, что иных миров вообще не существует? Бруно отвергает такое возражение. Надобности в общении с иными мирами он не видит. Ноланец настроен пессимистично. Он слишком хорошо знает, во что обошлась человечеству страсть колонизировать новые земли: «Опыт показывает нам, что для обитателей этого мира оказалось лучше всего то, что природа разделила народы морями и горами; когда же благодаря человеческому искусству были установлены сношения, это оказалось скорее злом, чем благом, так как из-за этого пороки приумножились гораздо сильнее, чем добродетели».

Аристотель утверждал, что бесконечного движения не существует. «Вполне возможно, — писал Бруно, — что всякое движение конечно (говоря о настоящем движении, но не в абсолютном и простом смысле слова, о движении всех частей и в целом), но что миров бесконечное множество, причем каждый из этих бесчисленных миров конечен и

имеет конечную область, каждый из них имеет определенные пределы как для своего движения, так и для движения своих частей».

Однако Джордано тут же указывал, что если говорить о движении в абсолютном смысле слова, то оно бесконечно, — бесконечное движение в бесконечной вселенной. Залог вечных превращений материи в вечном движении атомов. «Атомы имеют бесконечное движение, занимая последовательно различные места в различное время, притекая к одному месту и вытекая из другого, присоединяясь к тому или другому составу, образуя различные конфигурации в безмерном пространстве вселенной, и таким образом совершают бесконечное местное движение, пробегают бесконечное пространство и претерпевают бесконечные изменения».

В Англии у Бруно были не одни противники. Его мысли увлекли ряд оксфордских и лондонских ученых. Среди людей, которые соглашались с Ноланцем, были как сторонники Коперниковой теории, так и ее недавние враги. Случалось, человек, убежденный в незыблемости прежних представлений о мире, начинал под влиянием Бруно склоняться к новым идеям. Возражения Бруно «князю перипатетиков» приносили свои плоды. Кое-кто из пылких приверженцев Аристотеля, к ужасу своему убеждаясь в шаткости его положений, принимался доискиваться истины. Это и значило пробуждать дремлющие души!



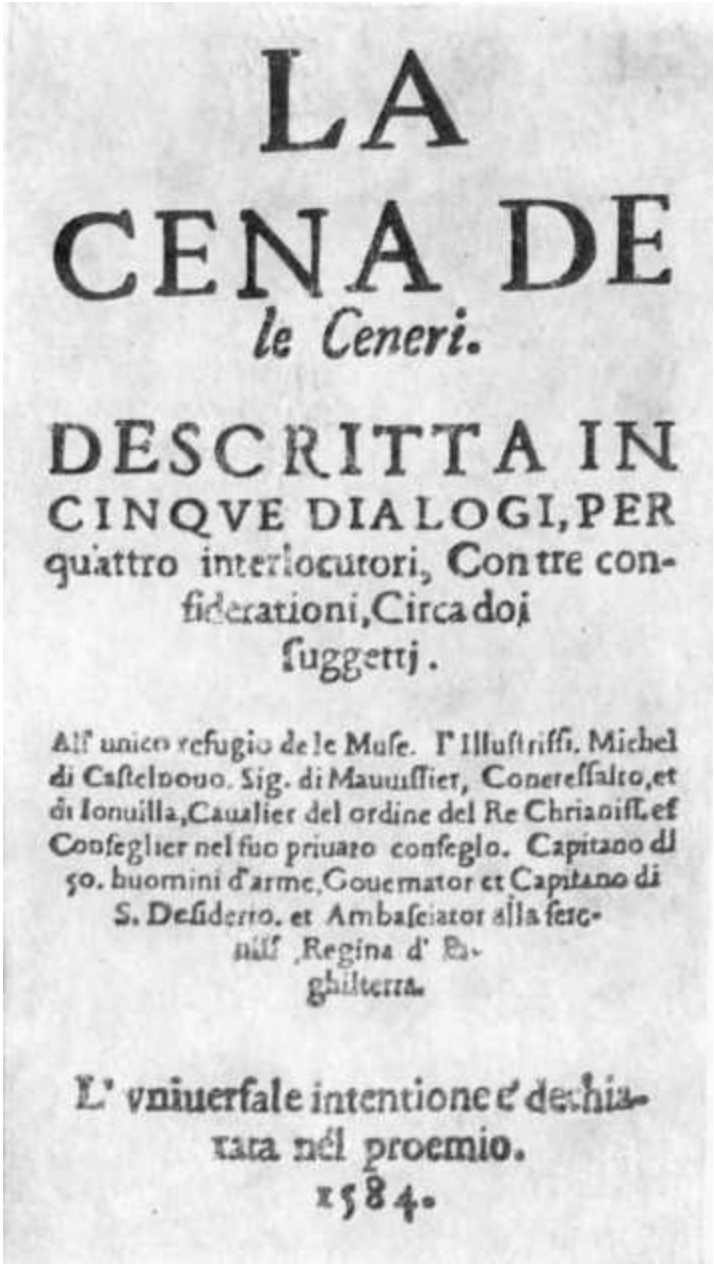
Мишель де Мовиссьер.



Джованни Флорио.



Фулк Гривелл.



LA
CENA DE
le Ceneri.

DESCRITTA IN
CINQVE DIALOGI, PER
quattro interlocutori, Con tre con-
fiderationi, Circa doi
ſuggetti.

All' unico refugio de le Muſe. l' Illuſtriſſi. Michel di Caſtelnouo. Sig. di Mauuiſſier, Conteſſalto, et di Ionuilla, Caualier del ordine del Re Chrianiſſ. et Conſeglier nel ſuo priuato conſeglo. Capitano di 50. huomini d'arme, Gouernator et Capitano di S. Deſiderio. et Ambaſciator alla ſereniſſ. Regina d' Inghilterra.

L' vniuerſale intentione é dechiarata nél proemio.

1584.

Титульный лист первого издания «Пира на пепле».

В последнем из пяти диалогов «О бесконечности, вселенной и мирах» Бруно вывел на сцену еще одного собеседника — Альбертино. Искушенный во всех тонкостях Стагирита, он вначале и слышать ничего не хочет о множественности миров. Только, мол, безумец может городить подобную ерунду! Горячность делу не поможет. Альбертино непростительно, как иным невеждам, следовать без оглядки за проповедниками вульгарной философии. Он, умный и

знающий, обязан делать различие между тем, что основано на вере, и тем, что установлено на основе истинных принципов!

«Кто хочет правильно рассуждать, должен уметь освободиться от привычки принимать все на веру, должен считать равно возможными противоположные мнения и отказаться от предубеждений…»

Постепенно доводы Филотея — под этим именем в диалогах выступает сам Бруно — покоряют Альбертино. Книга заканчивается красноречивым признанием: «Впредь, Филотей, ни глас толпы, ни возмущение черни, ни ропот глупцов, ни презрение сатрапов, ни глупость сумасшедших, ни безумие безрассудных, ни доносы лжецов, ни. жалобы злобствующих, ни клеветы завистников не опорочат передо мной твой благородный лик и не заставят меня избе-гать твоего общества. Будь настойчив, мой Филотей, будь настойчив, не падай духом, не отступай, даже если великий и суровый сенат тупого невежества разнообразными кознями и уловками будет тебе угрожать и попытается погубить твое божественное начинание и высокий труд. Будь уверен, что в конце концов все увидят то, что теперь вижу я.

«Пир на пепле», столь нашумевшая книжка, раскупалась вовсю. Издатель согласился печатать еще тираж. Гонения не сделали Бруно благоразумным.

Перед тем как снова отдать печатнику свои диалоги, он перечел их е пером в руке. Внес ряд малозначительных поправок, даже резкости, породившие наибольшее возмущение, оставил в прежнем виде.

Недавно скончался Читолини. Старик так и не встал после перенесенных побоев. Тяжелый перелом руки свел его в могилу. Описанная в «Пире» сценка, где фигурировал Читолини, приобретала иное звучание. Теперь и мрачные шутки были совсем неуместны. Так ли поминают изгнанника, умершего на чужбине? Джордано не хотел вычеркивать эту сцену, столь характерную для необузданных лондонских нравов. Он сохранил ее целиком. Только убрал имя Читолини, а сломанную руку, чтобы избежать ассоциаций с истинным происшествием, заменил сломанной ногой.

Над страничкой, описывающей бродяг и бездомных, Бруно задумался. Отчаявшиеся люди день за днем проводят в напрасном ожидании работы. Он их встречал повсюду. В Лондоне под колоннами Биржи или у дверей собора, в Париже их сколько угодно у входа во дворец, в Венеции — на Риальто, в Неаполе они сидят на ступенях

церкви святого Павла, в Риме толкутся на Кампо ди Фьори. Кампо ди Фьори! Разве этим славится страшная» площадь с нежным названием «Поле цветов»? Здесь происходят зловещие церемонии. Как бы ярко ни светило солнце, в руках у монахов факелы. Тягуче звучат погребальные молитвы. Здесь жгут еретиков.

…Если придется Ноланцу умирать в католической римской земле, то шагай он и среди бела дня, в сопровождающих факельщиках не будет недостатка…

Из перечисления мест, где собираются бродяги и безработные, Бруно вычеркнул Кампо ди Фьори.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЗВЕЗДЫ, БОГИ, ЛЮДИ



На Олимпе собрались боги. Время не пощадило небожителей: обрюзг Юпитер, поблекла Венера, неприлично повзрослел Купидон. На советах вокруг громовержца только те, у кого на челе морщины, в волосах снег, на носу очки, в мозгу мука. Стареют и боги.

Привычный образ жизни наскучил Юпитеру, и он задумал осуществить коренные преобразования.

Как тот мудрец, который имел стольких жен, служанок и наложниц, что в конце концов пресытился и изрек: «Суета сует и всяческая суета!» И вот сегодня, в день, когда празднуют победу над гигантами — символ неустанной борьбы души с разнузданными страстями, — Юпитер во всеуслышание объявляет свою волю. Пусть больше никто не посмеет изображать его грубым и чувственным. Всеблагой отец занялся совершенствованием духа! Он намерен провести невиданную реформу, он наведет на небе порядок, прогонит собравшуюся там нечисть.

Юпитер в раскаянии. Справлять победу над гигантами, когда земные отребья презирают богов? А у них, у богов, нет сил поправить положение. Власть свою они растратили по пустякам. Теперь само небо свидетельствует о совершенных ими преступлениях. У каждого смертного перед глазами плоды недостойной жизни, которой так долго предавались боги, плоды их распутства, обманов и похищений, насилий и кровосмесительств, низкого гнева и подлой мести. О, боги допустили величайшую ошибку, когда с триумфом вознесли на небо пороки! Высокие добродетели оставлены в пренебрежении, забыты или изгнаны.

Разгневанно говорит Юпитер о прошлом. Боги заслуживают осуждения. Тягчайших злодейств своих они не искупили: мало того, водворили их на небосклон и гордятся ими как трофеями.

— Судьба справедлива, — покаянно восклицает громовержец, — коль не хочет признавать нас богами за то, что мы уступили небо разной земной сволочи!

С этим пора покончить. Небо надо очистить! Победа над собственными страстями, которые издавна тиранят нас и помыкают нами, славнее победы над гигантами! Пусть установится новый праздник — праздник очищения неба и изгнания торжествующего зверья, олицетворяющего пороки!

Энергичный Юпитер намерен добиться коренного улучшения нравов. Он тут же принимается за дело: увольняет мальчишек-пажей, Гиацинта отправляет в университет под розги наставников, Купидону запрещает ходить повсюду голоштанным. Да, да, настали новые времена! Мома возвращают из ссылки. Того самого Мома, олицетворение насмешки, который слишком рьяно обличал пороки и жестоко поплатился за свой острый язык.

В изгнании он был прикован к далекой звезде, изнемогал от голода и холода. Теперь он вызван обратно, реабилитирован, восстановлен в своем прежнем достоинстве и назначен проповедником с широчайшими полномочиями обличать пороки, невзирая на титулы и сан. Он не заставляет себя упрашивать и не особенно стесняется в выражениях. Мом, всегдашний адвокат бедняков, знает, что в этом мире нуждается в исправлении. Он вертится среди богов, постоянно перебивает спорящих, бросает язвительные реплики.

На Олимпе раздается теперь глас подлинной мудрости и добродетели: заговорили богини, долго хранившие молчание. Осуществить дело, затеянное Юпитером, не просто. Подумать только, целиком и полностью обновить все небо и на места, занятые подлым зверьем, водворить добродетели! В самую высокую часть неба, туда, где была Медведица, назначается Истина, туда, где резвился Пегасский конь, посылается Божественный восторг, Энтузиазм. Сколько надо произвести перемещений, сколько выслушать жалоб и оправданий! Легко осудить на изгнание заведомо вредного зверя, но как быть с теми, чей характер неясен? Приговор нужно вынести, только взвесивши все! Спорам не видно конца. На Олимпе пререкаются боги…

Джордано пишет «Изгнание торжествующего зверя». Не впервые находится он в причудливом мире аллегорических животных. Звери — его добрые помощники. Они верно служили ему и в «Ноевом ковчеге» и особенно в «Песне Цирцеи» — кто знает, чему больше, задачам мнемоники или целям сатиры? Но его новая книга совсем не трактует об «искусстве памяти». Ноланская философия должна охватить все вопросы бытия. Бруно не мыслит нового мировоззрения без новой морали. «Изгнание торжествующего зверя» рассматривается им как некая прелюдия к его нравственной философии. Он еще будет писать о высоких этических идеалах. Сейчас он должен заняться другим: показать ничтожество моральных основ, на которых зиждется общество.

Присущий Бруно талант сатирика проявляется в «Изгнании» еще ярче и острее, чем в мнемонических сочинениях, чем в сценах «Подсвечника» и полных сарказма страницах прежних диалогов. Здесь все — и аллегорические животные, и образы античной мифологии, и астрологические представления — служит единой цели — цели обличения.

Он находит выигрышный прием. Небо заполонили звери — созвездия носят их имена. Перипатетики и прочие мудрецы издавна видели на небесной тверди сорок восемь звездных знаков. Многое там заставляет вспоминать далеко не невинные похождения небожителей. Почему? Да ведь сами боги вознесли ввысь свидетельства своих пороков!

Диалоги необыкновенно выразительны. Десятки персонажей, сменяя друг друга, спорят о том, на кого следует распространять предпринятую Юпитером реформу. Боги препираются не менее ожесточенно, чем смертные. Спорят они не только из-за небесных дел. Они прекрасно осведомлены о том, что творится на земле, озабочены религиозными распрями и зорко следят за ходом политических событий…

Никогда еще Бруно не нападал так резко на христианство, никогда еще не были так прозрачны его иносказания, так метки и злы удары, страшны богохульства. Он не просто прохаживался по поводу отдельных суеверий или в пылу увлечения отпускал какую-нибудь слишком смелую шутку. Он метил в самое сердце религии и, сокрушая догматы, не оставлял камня на камне от ее обнов. Не раз и не два позволял он себе высмеивать рассказываемые о Христе небылицы. Прибегая то к одной, то к другой аллегории, постоянно возвращался к деяниям «сына божьего», этого полубога и получеловека, потешался над его мнимыми чудесами, над самой идеей искупления. Он ниспровергал убеждения, которые были одинаково дороги и для кальвинистов, и для католиков, и для лютеран. В его глазах христианская вера со всеми ее толками — это мешанина учений, которые лишь унижают и оглупляют людей. Джордано всей душой ненавидит религию, неспособную даже обеспечить единства своих приверженцев.

Народам слишком дорого обходится царящая среди вероучителей разноголосица. Каждый уверяет, что лишь он, он один, знает единственный путь к праведной жизни. Преобразователи религии только множат заблуждения. Повсюду, где они появляются, вносят «меч разделения и огонь рассеяния, отнимая сына у отца, ближнего у ближнего, гражданина у отечества и творя прочие ужасающие преступления против природы и закона! И, несмотря на их заверения, будто служат тому, кто воскрешает мертвых и исцеляет хворых, не хуже ли они всех, кого вскормила земля? Они заражают здоровых и убивают живых не столько огнем и железом, сколько своим погибельным языком! Что за мир и согласие предлагают они бедным народам? Не хотят ли и не мечтают ли, чтобы весь мир, одобрив и согласившись с их злостным и надменнейшим невежеством, успокоил их лукавую совесть, тогда как сами они не хотят ни принять, ни

согласиться, ни подчиниться никакому закону, справедливости и учению. Ведь во всем остальном мире и в прошлых веках не было такого, несогласия и разноголосицы, как меж ними. Ибо среди десяти тысяч подобных учителей не сыщешь одного, у которого бы не было собственного катехизиса, если уже не обнародованного, то готового к обнародованию, о том, что он не одобряет никакого другого установления, кроме своего, находя во всех прочих, что осудить, отбросить и подвергнуть сомнению. Среди них есть даже такие, что противоречат сами себе, отметая сегодня то, что они писали вчера».

Джордано не останавливает, что он находится в стране, где высоко ценят протестантские учения. Хороша же реформация, которая к старым заблуждениям прибавляет новые! Вера важней, чем добрые и полезные дела? Он презирает такую «бычачью и ослиную веру». Еще со дней пребывания в Женеве Бруно знает истинную цену «реформаторам». Он не скупится на сильные слова, когда речь заходит о необузданности этих «педантов».

Бруно надеется, что придет день, когда прекратится кровавая распря, порождаемая несогласием, духовных вождей. Лютое чудовище, поопасней лернейской гидры, с устрашающей быстротой ползет по земле. Чья же, наконец, десница возвратит столь вожделенный мир несчастной Европе?

Безумные раздоры перебросились и в Неаполитанское королевство. На страницах «Изгнания» спорили боги, книга была полна замысловатых аллегорий, а за ними крылась постоянная, не утихающая С годами боль за горькую долю родной страны. Образы прошлого и слышанные в юности рассказы причудливо переплетались с тревожными вестями о недавних событиях, о бесчинствах испанцев и казнях плененных фуорушити. Великая алчность выступает под ложным предлогом поддержки религии. Борьба с ересью — удобный предлог для конфискаций. На одного виновного приходится множество невинных — князь от этого становится все жирнее и жирнее. «Естественно, что овцы, у которых правитель волк, наказываются тем, что он их пожирает!»

Это не персонажи из басен. Это сегодняшний день Италии. Власти, бессильные подавить движение фуорушити, жестоко расправляются с их семьями. «Позволительно усомниться, всегда ли достаточно лишь сильного голода и жадности волка, чтобы сделать овец виновными.

Это противно всем законам, когда за вину отца наказывают ягнят и мать!»

Тела казненных не позволяют хоронить. Куда лететь ворону, если он хочет нажраться вдоволь? Пусть летит в Кампанью или на дорогу, что ведет из Рима в Неаполь. Там четвертовано столько людей, что на каждом шагу он найдет такое обильное угощение, как нигде в другой части света.

Речи олимпийских богов пересыпаны злободневными намеками. Юпитеров а реформа касается не только созвездий. На земле тоже торжествуют пороки. Богини, олицетворяющие добродетели, и здесь не в почете. Вместо них в пышных чертогах кишит всякая нечисть.

Никого из сильных мира сего не щадит Бруно — ни властителей, ни богачей. Почему князья возлагают себе на голову корону с рогами? Да чтобы внешними знаками показать свою власть и свое сходство с могущественными зверями! Не забывает он и любителей войны — Козерог научил их, что «нельзя побеждать, если не умеешь становиться зверем». Богатство редко бывает у хороших людей, обычно оно в доме преступников, и тогда оно гонит истину, перебивает ноги благоразумию, замыкает уста закону, отнимает смелость у суда.

Достается и тем ученым мужам, что всю жизнь с усердием занимаются бесполезными делами или разрешают совершенно ясные ©опросы: физикам, которые сомневаются, можно ли познать природу, пустым стихоплетам, желающим сойти за поэтов, «новым рассказчикам старых историй, каковые были уже рассказаны тысячу раз тысячью других и в тысячу раз лучше».

Диалоги, столь излюбленный Бруно жанр, предоставляют большую свободу и позволяют высказываться особенно резко. Почему надо непременно думать, что та или иная опасная мысль, выдвинутая одним из собеседников, принадлежит самому автору? Ничего подобного! Она и обсуждается лишь для того, чтобы устами другого собеседника автор мог бы ее опровергнуть!

Многие страницы «Изгнания» кажутся прямо списанными с натуры. Англия не меньше, чем другие страны, дает Ноланцу благодатный материал для его образных сатирических обобщений. Схваченные острым взглядом бытовые сценки заставляют часто вспоминать о «Подсвечнике». Бруно терпеть не может охоту — это «барское безумие», «неистовство высоких особ». Английские дворяне

страстные охотники. Ноланец не без удовольствия пишет об этих доморощенных актеонах, которые гоняются за дичью в то время, как женушки, словно дианы, превращают их в оленей, наделяя развесистыми рогами.

Английские впечатления не застилают воспоминаний об Италии. Он видит овец на берегах Темзы, и тут же в памяти воскресает Кампанья, Где часто целые отары гибнут из-за суровой зимы. Джордано постоянно обращается мыслью к родным местам, к Ноле, к Неаполю. Пишет о «промысле божьем», а под пером оживают картины далекого детства.

В его душе давно сложился идеал свободного человека, деятельного, упорного, ответственного за свои поступки, сознательно стремящегося к истине и добру. Бруно убежден в свободе воли. Поэтому рассуждения католиков о «промысле божьем», а еще больше кальвинистское учение о «предопределении» вызывают у него самую резкую неприязнь.

Он знает, что новая книга создаст ему многочисленных врагов. Но такая уж у него натура: он всякий раз с тем большей страстью стремится противостоять бурному потоку, чем сильнее его течение.

«Изгнание торжествующего зверя» Бруно посвящает Филиппу Сиднею. Прелюдию к своей нравственной философии — расставленные в известном порядке пороки и добродетели — отдает он под его защиту. Небо, которое нуждается в очищении, внутри нас. Пусть толпа потешается над скоморохами, под нелепой внешностью которых скрыто сокровище истины и доброты.

Разве не верно, что каждый шут выкладывает обычно больше правды своему государю, чем весь его двор?

К услугам шутов прибегают те, кто не может высказаться открыто.

Своих сонетов Филипп Сидней не публиковал. Но они широко расходились в списках. Для многих не было секретом, что их основная тема — долгая и не особенно счастливая любовь Филиппа к Пенелопе, дочери графа Эссекса. Впервые он увидел ее совсем девочкой. Филипп так понравился отцу Пенелопы, что тот стал всерьез поговаривать об их будущем браке. В расцвете сил Эссекс умер.

Спустя несколько лет Филипп снова встретил Пенелопу, Застенчивая девочка стала красавицей. Филипп бредил золотом ее волос и черными, как ночь, глазами. Писал сонеты, называл ее своей

несравненной Стеллой, а себя Астрофелом[11]. Теперь они часто виделись. Почему не вернуться к брачному проекту и не исполнить воли покойного отца? Никто из трех опекунов не склонен был поддерживать этого плана. Уолсингем же вдобавок имел на Филиппа особые виды. Пенелопу против ее воли выдали замуж за богатого лорда Рича. Сидней лишился покоя, а Сонеты становились все пламенней.

Но любовь любовью, а брак браком. В ту зиму, когда он писал Стелле свои самые пылкие стихи, он обсуждал с Уолсингемом возможность женитьбы на его дочери. Партия эта восторга у него не вызывала, но Уолсингем соблазнял изрядным приданым.

Филипп не мог забыть Пенелопу. Супружество не принесло ей счастья. Лорд Рич вел разгульную жизнь. Его скандальные похождения давали обильную пищу придворным сплетникам. Через полгода после свадьбы Пенелопа вняла, наконец; мольбам Сиднея и пришла на тайное свидание. Она призналась, что любит Филиппа, но честь превыше всего!

Вздыхая, Сидней по-прежнему писал обращенные к Стелле сонеты. Но недолго. Леди Рич ранила в самое сердце преданного ей трубадура. Честь превыше всего? Уверив Сиднея, что разделяет его чувство и лишь в силу долга не может на него ответить, она вскоре завела любовника. Страсть Филиппа умерла — сонеты остались. Ценители английской поэзии переписывали стихи, где верный Астрофел на все лады воспевал редкостные совершенства неземной Стеллы, а кумушки в гостиных частенько злословили о бурном романе леди Рич.

Депеша, отзывавшая Мовиссьера на родину, пребольно его уязвила. Он надеялся, что добьется, наконец, освобождения Марии Стюарт, а тут этот приказ! Своими упорными советами он до смерти надоел Генриху, который так погряз в распутстве и покаяниях, что не имел ни охоты, ни времени вникать в серьезные дела. Враги Мовиссьера обвиняли его в нерадении: может ли вообще человек, восхищенный королевой-еретичкой, по-настоящему защищать интересы католической веры и Франции? Генрих скрепил приказ своей подписью.

Худшего трудно было и ожидать. Деньги свои Мовиссьер великодушно предоставил Марии Стюарт и оказался на мели. Цепкие

руки Елизаветы крепко держали пленницу. Сейчас о возвращении долга нечего было и думать. Нерасторопность французской казны вынуждала Мовиссьера постоянно обращаться за займами к итальянским банкирам и английским купцам. Послу великой державы широко открывали кредит. Однако как только в Лондоне станет известно об его отозвании, на него тут же набросятся кредиторы. Он задолжал огромные суммы и не имеет чем платить. Бесчестье ждет его и долговая тюрьма! Он не может сейчас уходить в отставку. Да и жена его, ко всему прочему, тяжело больна и не перенесет далекого путешествия. Подавив оскорбленную гордость, посол попросил короля об отсрочке.

Неприятности, свалившиеся на Мовиссьера, не изменили его отношения к Бруно. В беседах с ним он часто находил утешение. Джордано по-прежнему жил в одной из комнат посольства.

Пришла пора благословенной зрелости. Бруно переживал дни величайшего подъема. Никогда еще он не работал так много и плодотворно, как теперь. Он писал Книгу за книгой. Его следующая работа, «Тайна Пегаса», была тесно связана с «Изгнанием торжествующего зверя». Здесь он развивал одну из тем, затронутых в «Изгнании», — тему спасительного невежества. Всякий, кто предпочитает простодушное незнание беспокойному знанию, слепую веру — свободной мысли, тот возводит на пьедестал глупость и поклоняется ослу.

«Тайна Пегаса» не просто еще одно похвальное слово глупости и не еще одна остроумная вариация вечной темы Осла. Эти диалоги Бруно, как и «Изгнание торжествующего зверя», — часть его нравственной философии. В основе тот же вопрос, который волновал Джордано с юности, — вопрос об этическом идеале и о назначении человека. Как должны жить люди? Полагаться на разум или на веру? Жить здесь, на земле, осмысленно, деятельно, целеустремленно или в благочестивой пассивности смотреть на землю, как на «юдоль печали», и лишь ждать вечного блаженства на том свете? Люди — слепые кроты во власти неумолимого рока или летящие к солнцу Икары?

Где, если не в «Тайне Пегаса», больше всего к месту сонет в честь Осла: «Священная ослиность, святое отупенье…»?

«Тайна Пегаса» — очень опасное сочинение. Здесь Бруно Нападает на религию еще более неприкрыто, чем в «Изгнании торжествующего зверя».

Кому посвятить книгу? Ясно, что не Мовиссьеру, послу наихристианнейшего короля. Сэру Филиппу Сиднею тоже, видно, хватает и «Изгнания». Несколько лиц, кому Бруно давал читать рукопись, отказались от такой рискованной чести. Даже дамы, обычно столь благосклонные к Ноланцу, не воспылали желанием увидеть свое имя на вступительных страницах подобной книги. Один священнослужитель, так тот прямо сказал, что предан библии и не забавляется произведениями, доставляющими радость врагам веры. Тогда Бруно вспомнил скромного клирика, которого знал на родине, произвел его в епископы несуществующего епископства, посвятил ему «Тайну Пегаса»[12] и отдал печатать.

О, у него самые серьезные намерения! Он будет трактовать о «кабале теологической философии, о философии кабалистической теологии, о теологии философской кабалы»! Он не хочет увеличивать дерзкую толпу авторов, которые, славословя ослу, лишь думают над ним поиздеваться. У него и в мыслях нет ничего подобного. Для него осел не объект забавы, а предмет поклонения, воплощение небесных добродетелей. Разве нельзя назвать осла схоластом, если он изысканный аргументатор и пишет диссертации?

«Если он такой превосходный блюститель нравов, изобретатель доктрин и реформатор религии, то кто постесняется назвать его академиком и считать его архимандритом какой-либо главной школы? Почему не быть ему монахом, если он умеет петь, читать священное писание и спать?.. Неужели вы мне запретите назвать его соборным ослом, когда Он действует по активному и пассивному обету, пригоден для избрания и способен к епископству?.. Разве вы свяжете мне язык, чтобы я не мог выставить его в качестве монастырского эконома, если в голове его покоится вся политическая и хозяйственная мудрость? Может ли власть церковного авторитета сделать, чтобы я не считал его столпом церкви, если осел этот высказывает себя до такой степени милосердным, набожным и воздержанным? Если я вижу его столь возвышенным, блаженным и торжествующим, может ли небо и весь мир помешать мне называть его божественным, олимпийским и небесным ослом? В заключение, чтобы больше не ломать головы ни

мне, ни вам, мне кажется, что он сама душа мира, все во всем и все в любой части».

Нигде еще с такой силой не обрушивался Бруно на богословие, на схоластику, на духовенство, на философов, сомневающихся в возможности познать реальный мир. Он не оставляет в стороне и Платонова учения о вечных идеях, столь любезного сердцу теологов, пишет о «первоначальном осле», называет «идеального осла» творческим началом, олицетворяющим идею бога. Он мастерски преувеличивает обычные приемы богословской аргументации, куски евангельских, фраз, относящихся к Христу и богородице, использует для прославления ослицы и осленка, пародийно толкует цитаты из библии.

«Подумайте о происхождении причины, по которой христиане и иудеи не возмущаются, но скорее торжествуют, когда в силу метафорических намеков священного писания они выступают под титулами и наименованиями ослов, называются ослами и обозначаются как ослы. Отсюда и выходит, что там, где речь идет об этом благословенном животном, осле, там, по духовному значению текста, по смысловой аллегории и мистическому замыслу, имеется в виду человек праведный, святой, человек божий… Ослами являются те, через кого изливается божья милость и благословение на людей. Таким образом, горе тем, которые лишены своего осла!»

Библейские примеры сыплются, как из рога изобилия. Разве церковь не та божественная ослица, коей господь отверз уста?

«Ее авторитетом, ее ртом, голосом и словами укрощена, побеждена и попрана надменная, гордая и дерзкая светская наука и ниспровергнуто всякое высокомерие, осмеливающееся поднять голову к небу, ибо бог избрал слабое, чтобы сокрушить силы мира, вознес глупое к вершине уважения, так как то, что не могло быть оправдано знанием, защищается святой глупостью и невежеством и этим осуждается мудрость мудрых и отвергается разумение разумных».

Вера превращает людей в ослов. Стянув пять пальцев в одно копыто, они не могут сорвать запретный плод с древа познания или, подобно Прометею, похитить небесный огонь, чтобы зажечь им свет разума.

Не только учение церкви и трактаты богословов вызывают возмущение Бруно. Он высмеивает философов, которые

разглагольствуют о непознаваемости мира. Все сомневающиеся в способности человека познавать окружающее тоже враги разума и прислужники глупости.

В «Тайне Пегаса» Бруно посвятил Аристотелю много злых и не очень-то справедливых страниц. В пылу борьбы с душителями науки, которые прикрывались авторитетом Аристотеля, Бруно частенько хватал через край и из-за вражды к «педантам» позволял себе излишнюю грубость и по отношению к их «князю». Стагирит, по мнению Ноланца, начитанный главным образом в науках гуманитарных, возомнил себя натурфилософом и выступал реформатором науки, о которой не имел понятия. Он ложно учил о природе начал и субстанций вещей и ничего не понимал в природе движения и вселенной. Но еще больше, чем Аристотель, в распространении ошибочных взглядов виноваты его ревностные, но недалекие последователи.

Бруно вспоминал юность, монастырскую школу, своих учителей, которые нередко отвечали на вопросы глубокомысленным возгласом: «О, это великая тайна!» Они выросли на глупейших трактатах, отдавали силы бесполезным занятиям и побуждали к ним других.

«Мы дошли до того, что каждый сатир, фавн, меланхолик, опьяненный и зараженный черной желчью, рассказывающий о сновидениях и дребедени, лишенной всякого смысла и порядка, хочет, чтобы в них видели великое пророчество, сокровенную мистерию, недоступные секреты и божественные тайны воскресения мертвых, философского камня и прочих глупостей. Этим хотят привлечь внимание тех, у кого мало мозга, с целью сделать их безумными, отнимая у них время, ум, славу и богатства, и заставить их столь жалко и низко растрачивать жизнь».

Фанатики, одержимые безумными идеями, ввергают род человеческий в неисчислимые беды:

«Глупцы мира были творцами религии, обрядов, закона, веры, правил жизни; величайшие ослы мира те, что, будучи лишены всякой мысли и знаний, далекие от жизни и цивилизации, загнивают в вечном педантизме, реформируют по милости неба безрассудную и испорченную веру, лечат язвы прогнившей религий и, уничтожая злоупотребления предрассудков, снова заделывают прорехи в ее одежде. Они не относятся к числу тех, кто с безбожным любопытством

исследует или когда-либо будет исследовать тайны природы и подсчитывать смены звезд. Смотрите, разве их беспокоят или когда-либо обеспокоят скрытые причины вещей? Разве они пощадят любые государства от распада, народы — от рассеяния? Что им пожары, кровь, развалины и истребление? Пусть из-за них погибнет весь мир, лишь бы спасена была бедная душа, лишь бы воздвигнуто было здание на небесах, лишь бы умножилось сокровище в том блаженном отечестве!»

Насмешник, для которого нет ничего святого? Нет, не страстью к осмеянию и не язвительностью характера продиктованы эти слова. За ними боль и гнев, за ними непримиримость. Страшная сила — глупость, наделенная властью! В ней таится великая угроза миру. Поэтому со всем, что подавляет в человеке разум, Бруно и ведет войну.

«Тайна Пегаса» не только памфлет, направленный против всех носителей «ученого незнания», богословов и скептиков. Ноланец создал острейшую сатиру на весь строй религиозного мышления, христианскую этику, прославляющую убогих и нищих духом, веру, которая превращает человека в покорную и недалекую тварь. Он то пародировал заумные рассуждения теологов, то подражал напыщенным воззваниям духовных пастырей. Вступительное «Обращение к прилежному, набожному и благочестивому читателю» было выдержано в стиле страстной проповеди.

«Бегите от вашего зла, — заклинает Джордано Праведных людей, — и найдите ваше благо, изгоните гибельную гордыню сердца, погрузитесь в нищету духа, принизьте мысль, откажитесь от разума, погасите жгучий свет ума, который воспламеняет, сжигает и испепеляет вас: бегите от всех степеней знания, которые только увеличивают ваши горести, отрекитесь от всякого смысла, станьте пленниками святой веры…

Молите же, молите господа, дорогие мои, чтобы он помог вам сделаться ослами, если вы еще не ослы. Только пожелайте, и наверняка легчайшим образом вам дарована будет милость сия: потому что хоть вы и ослы по природе, и обычное воспитание есть не более как ослиность, все же вы будете понимать и разуметь много, лучше тогда, когда станете ослами в боге…

Вспомните, о верующие, что наши прародители были угодны богу, были у него в милости, под его защитой, довольные в земном раю, в то

время когда они были ослами, то есть простыми и не ведающими ни добра, ни зла, когда их еще не щекотало желание познать добро и зло…»

Ноланец предостерегает набожных читателей от великой опасности: «Нет средства, которое более действенно низвергало бы нас в глубь адской пучины, чем философические и рациональные созерцания, рождающиеся из ощущений, растущие со способностью к рассуждению и созревающие в уме человека.

Итак, старайтесь сделаться ослами вы, которые еще являетесь людьми! А вы, ставшие уже ослами, учитесь, заботьтесь, приспособляйтесь действовать все лучше и лучше, чтобы достигнуть тех пределов, тех достоинств, которые приобретаются не знанием и делами, сколь угодно великими, но верою, теряются же не вследствие невежества и дурных дел, хотя бы даже чрезмерных, но, как говорят, следуя апостолу, вследствие неверия.

Если станете поступать так, если станете таковыми и будете вести себя подобным образом, то вы вписаны будете в книгу жизни, вымолите милость у этой воинствующей церкви и получите славу в будущей торжествующей церкви, в которой да живет и царствует господь во веки веков. Аминь!»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСИЛИЙ



Нет, это уже слишком! Елизаветинская Англия, может быть, и рай для женщин, но совсем не для вольнодумцев и тем паче безбожников! В стране существуют суровые законы о цензуре, а Ноланец умудряется выпускать сочинения, одно возмутительней другого. Книги, правда, выходят с ложным обозначением места издания: на титульном листе «Пира на пепле» нет ни имени типографа, ни города; диалоги «О причине» и «О бесконечности, вселенной и мирах» будто бы напечатаны в Венеции; «Изгнание торжествующего зверя» и «Тайна Пегаса», вышедшая вместе с «Килленским ослом», — в Париже. Но кого могут обмануть такие хитрости?

Из содержания самих книг, полных злободневной полемики, видно, что они издавались в Англии.

Елизавета жестоко преследует всех, кто противится «единообразию» культа. Верховная правительница церкви не желает дозволять обсуждения религиозных вопросов. Веровать в бога следует

так, как повелела королева. Достается и непокорным католикам, и крайним пуританам, и всякого рода сектантам. Жгут книги, разбивают печатные станки, рубят руки, писавшие неугодные сочинения.

Любое несогласие с королевой быстренько подводят под указы о карах за ересь и подстрекательство к мятежу. «Бунтарскими писаниями» объявляют все, что противоречит установленной догме. Архиепископ Уайтгифт, примас Англии, способен не хуже руководителей Святой службы находить повсюду преступников. Он следит не только за соблюдением касающихся церкви законов, но наказывает и за противные библии суждения. Деятельность возглавляемой им Высокой комиссий отличается таким произволом, что возмущает даже ближайших советников Елизаветы. Едва ли сама испанская инквизиция умеет так запутывать подсудимых вопросами, как это делают члены Высокой комиссии.

Английские почитатели философии и о древних мудрецах рассуждали не без оглядки. Приверженность к идеям Эпикура считалась, например, верным признаком атеиста и навлекала серьезные неприятности. Бруно должен был радоваться, что его книги легко сходили ему с рук. Они вызывали скандалы, взрывы вражды, поток брани. Но это пустяки по сравнению с теми карами, которым в Англии подвергали еретиков и безбожников.

Что спасало его? Итальянский язык? Книги Бруно читали многие. Пылкое восхваление Елизаветы? Вольнодумцам это помогало далеко не всегда. Заступничество Мовиссьера? Оно было бы напрасным, если бы Ноланцем занялись всерьез.

Кто верил, что его книги и в самом деле печатались не в Англии? Сыскная служба находилась на высоте, да и Бруно меньше всего походил на конспиратора. Уолсингем распоряжался целой сетью шпионов как внутри страны, так и за границей. Бруно только еще собирался в Англию, а Уолсингему доносили из Парижа о его планах и осуждающе отзывались о проповедуемых им идеях. Своих людей Уолсингем имел среди священников, писателей, купцов, ученых. Даже шифры, коими пользовалась Мария Стюарт при тайной переписке, были ему известны: во французском посольстве он тоже держал осведомителя. Суровый Уолсингем не был поклонником Италии, итальянские книжки находил вредными для англичан. Лица, подобные

Андерхиллу, «оксфордскому корифею», осмеянному Бруно, ему куда ближе, чем всякие любители философской новизны.

Никто из повинных в распространении недозволенных книг не мог рассчитывать на безнаказанность. Типографов карали тюрьмой и запрещали впредь заниматься своим ремеслом. Штрафовали книготорговцев и даже мастеров, что переплетали такие сочинения. Все диалоги Бруно печатал один и тот же лондонский типограф. Он, разумеется, на титульные листы имени своего не ставил. Но разве заведомо ложные данные о месте издания уберегали от неусыпного надзора, который осуществлялся над печатнями? Не потому ли выходили в свет сочинения Бруно, что Уолсингем в угоду любимому зятю, Филиппу Сиднею, до поры до времени смотрел на это сквозь пальцы?

Однако всему приходит конец. «Тайна Пегаса» оказалась слишком сильной даже для людей, бывших иногда не прочь поиграть в вольнодумство. Какая уж тут высокая философия! Это злейший памфлет, похуже тех, за которые в застенках ломают кости. Благо бы Ноланец издевался над католиками, а ведь он вообще всякую веру в Христа считает ослиностью и кощунственно пародирует библию! На «Тайну Пегаса» наложили запрет, нераспроданные экземпляры отобрали и уничтожили.

Неужели он обречен на молчание? Больше не будут издавать написанных им книг? Его, Ноланца, отдают во власть цензоров, свободного человека хотят превратить в пленника, подчиняющегося низкому и тупому ханжеству! Джордано не находит себе места от возмущения. Одно ему ясно: мало шансов на то, что его новые, еще не законченные работы увидят свет в Англии. Но вправе ли он бездействовать хоть миг, когда идет борьба с прислужниками зла и невежества?

Теперь модно сочинять сонеты, подражать Петрарке, воспевать любовь. Может быть, Ноланец, впавши в большую тоску, найдет утешение в том, что примет приглашение муз, которым из-за занятий философией уделял мало внимания, и станет тоже писать стихи?

Подвергнуть пороки осмеянию, пусть даже самому убийственному, — это далеко не значит возвести фундамент нового учения о нравственности. Бруно обещал рассмотреть этическую тему и в «положительном смысле». Он сдержал слово. В «Изгнании

торжествующего зверя» боги осудили Пегасского коня. Тот стал главной фигурой «Тайны Пегаса». При очищении неба, символизирующего человеческую Душу, занимаемое Пегасом место было отдано Божественному восторгу, Энтузиазму. Новая книга Бруно так и называлась «О героическом энтузиазме».

Нигде в других сочинениях Джордано не было столько стихов, как здесь. Его собственные сонеты перемежались со стихами Тансилло, одного из любимых им поэтов. Они как бы составляли костяк всей книги. Написанные прозой диалоги толковали и развёртывали их сложную символику. Джордано дал волю своему постоянному стремлению облекать мысль в поэтические образы. Но только ли приглашением Муз объясняется отличие «Героического энтузиазма» от прежних книг? Или цикл сонетов, где так много говорилось о любви, цикл сонетов с весьма своеобразно поясняющими их рассуждениями, — это, может быть, единственное, что после, стольких скандалов еще дозволялось Ноланцу на английской земле?

Он писал о любви, великой любви, той, что возвышает человека и делает его равным богам. Страницы пестрели привычными образами любовной лирики: мотылек, летящий на пламень свечи, оковы, что слаще свободы, юноша, угодивший ногой в силок страсти, несчастный, обезумевший от любви. Любовное безумие? Безумство героическое? Название книги можно было читать по-разному. То же самое слово означало «восторг», «вдохновение», «неистовство», «энтузиазм».

Главной темой книги действительно была любовь. Но не любовь к женщине — любовь к истине, а стремление к добру, страсть познания. В устах Бруно даже известные строфы из Петрарки приобретали совершенно иное звучание. Культу женщины Ноланец противопоставлял культ мысли, обожествлению красавиц — верность разуму, любовному неистовству — героический энтузиазм.

Он вернулся к дорогому ему с юности образу героического энтузиаста, начертал свой нравственный идеал. Какова цель стремлений? Чему надо отдавать все силы, чем жить? Не привязывайтесь, призывает Бруно, к вещам, стоящим ниже человеческих способностей, как те, кто из жадности или нерадения навсегда приковал себя к недостойным делам. Не растратьте жизнь на пустяки!

Он настойчиво повторяет: «На легкие и пустые дела благородные умы не должны терять времени, быстрота которого бесконечна: ведь поражающе стремительно протекает настоящее и с той же скоростью приближается будущее. То, что прожито, уже ничто; то, что переживаем сейчас, — мгновение; то, что будет пережито, — еще не мгновение, но может стать мгновением, которое одновременно будет становиться и преходить».

Науки теперь в упадке. Убогие буквоеды возомнили себя философами и рассуждают о природе.

Они губят и то хорошее, что было у Аристотеля. Прикрываясь речами о возрождении античных знаний, множество людей занимаются никчемными вещами: кто-то сочиняет труды по генеалогии, другой направляет внимание на расшифровку писания или преумножает детские софизмы. «Третий чирикает о том, что было раньше: имя существительное или глагол; четвертый — море или источник; пятый хочет восстановить устаревшие слова, которые, как бывшие когда-то в употреблении и предложенные одним античным автором, он снова превозносит до звезд; шестой уперся в неправильную и правильную орфографию; иные прочие стоят за какой-нибудь еще подобный вздор и их заслуженно более презирают, чем понимают».

Человеку отпущено очень мало времени, и. как его ни береги, жизни не хватает на нужное дело. А дни растрачиваются на пустые или постыдные вещи!

Героический энтузиаст знает, что его призвание всегда и везде бороться за торжество высоких идеалов. Никогда еще педанты не притязали так настойчиво на управление миром, как в наши времена! Мириться с, этим нельзя. Благородные умы, вооруженные истиной, должны быть в высшей степени бдительны, должны поднять оружие против сил Тьмы. Нельзя предаваться праздности там, где идет война с прислужниками невежества и злобы!

Смысл жизни — в познании истины и в борьбе за ее торжество. Но не напрасно ли мы стремимся вперед, если истина, за которой мы гонимся, бесконечно далека и непостижима?

Оставить без ответа вопрос о познаваемости или непознаваемости мира — это значит лишить этику одного из столпов, на которых она должна быть возведена. Бесплодная погоня за химерами не может

быть смыслом человеческой жизни. Бруно уделяет гносеологии много внимания.

Мир — это густой лес, где в тайниках и пещерах скрывается истина. Бруно толкует сонет «Средь чащи леса юный Актеон…».

Высшее счастье охотника — это узреть Диану, монаду, истинную сущность всего бытия.

Многие страницы диалогов «О героическом энтузиазме» звучат как вдохновенный гимн познанию. Ноланец убежден, что мысль никогда не остановится на достигнутом. Бескрайность мира только побуждает волю к новым поискам и открытиям. Человеческие способности развертываются все шире, и нет предела проникновению в сокровенные тайны природы.

«Умственная сила никогда не успокоится, никогда не остановится на познанной истине, но всегда будет идти вперед и дальше, к непознанной истине. Так, воля, которая устремляется к познанию, никогда не удовлетворяется законченным делом».

Любовь к истине возвышает людей, делает их души героическими. Настоящая страсть к познанию бескорыстна, ей не отдаются ради выгоды или почестей. В ней самой — величайшая награда. Посвящать ей все помыслы надо безотносительно к успеху.

Когда человек безраздельно отдает себя великой цели, он преодолевает любые трудности, не страшится никаких опасностей, перестает бояться смерти, презирает недуги тела, не испытывает нужды в Чувственных удовольствиях. Переживаемый им подъем духа так стремителен и огромен, что погашает все страдания. Им владеет счастье высокой страсти, счастье любви героической.

Познание не знает пресыщения. Чем больше человек узнает, тем сильнее становится его желание. Он постоянно хочет понять больше, чем сейчас может. Его мучает сознание собственной ограниченности, но упорство не остается напрасным — воля и интеллект позволяют в конце концов подняться на следующую ступень. Объект познания бесконечен — бесконечна и мощь ума Человеческого!

Героическая любовь есть мука, она не пользуется настоящим, как животная любовь, а живет мыслями о будущем: «Героического энтузиаста поддерживает надежда на будущую и недостоверную милость, а подвергается он действию настоящего и определенного мучения. И как бы ясно он ни видел своего безумства, это, однако, не

побуждает его исправиться или хотя бы разочароваться в нем, потому что он настолько в нем нуждается, что оно скорее нравится ему:

На гнет любви я сетовать не стану,
Я без нее отрады не хочу.

Эта героическая любовь, любовь к истине, делает человека самоотверженным. Он, забывая о себе, целиком отдается своей страсти. Энтузиаст знает, что впереди его ждет смерть — расплата за подвиг, но не страшится огня, который его испепелит. Он не мотылек, что летит на пламя, не помышляя о своем конце, — он знает, что его ждет.

И если цели у него высоки,
И к ним ведет его надежный шаг,
И ищет он единое из благ,
Которому дано целить пороки, —
Тогда свое он счастье заслужил
Затем, что ведал, для чего он жил!

Но может ли человек обрести совершенство или удовлетворение в том познании, которое несовершенно? Бруно не устает повторять: познание никогда не будет столь совершенным, чтобы познать до конца первоистину; однако пределы познанию ставит наш собственный интеллект, и чем шире будет становиться горизонт его зрения, тем больше и ярче будет он видеть блеск первоистины.

Счастье увидеть Диану выпадает редко. Но означает ли это, что поиски истины — удел избранных, а героический энтузиазм — нравственный идеал для немногих? Нет, стремиться к познанию Истины должны все.

«Достаточно, чтобы стремились все; достаточно, чтобы всякий делал это в меру своих возможностей, потому что героический дух довольствуется скорее достойным падением или честной неудачей в том высоком предприятии, в котором выражается благородство его духа, чем успехом и совершенством в делах менее благородных и низких.

Нет сомнения, что лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф».

Утонченный поэт, блестящий кавалер, любимец женщин, сэр Филипп Сидней сочетал в себе множество благородных качеств: ум с храбростью, образованность с великодушием, самоотверженность с упорством. Повсюду протискивались вперёд беззастенчивые дельцы, дух предпринимательства и торгашества все сильнее разъедал именитую знать, а Филипп слыл рыцарем до мозга костей. Да, Сидней далеко не заурядная личность. Но тем обидней сознавать, что он тратит жизнь на пустяки. Бруно питал к нему чувство подлинной дружбы. Не его ли долг показать Сиднею, что высокое призвание одаренного человека не в писании пасторалей и любовных стихов. Время ожесточенной борьбы за умы людей требует непреклонных бойцов. Никогда еще воинствующее невежество не домогалось так настойчиво власти над миром.

Разумеется, Бруно не ставил Филиппа Сиднея на одну доску с жалкими эпигонами Петрарки. Сидней выступал против рабского подражательства и говорил, что только собственные чувства — с источник поэзии. «Взгляни в свое сердце, — восклицал он, — и пиши!» Однако влияние Петрарки сильно на нем сказывалось. Но не это больше всего тревожило Бруно, хотя он в «Героическом энтузиазме» и отвел немало места мыслям о поэтическом творчестве и нападкам на петраркистов. Он хотел, чтобы люди, подобные Сиднею, поняли всю красоту того жизненного идеала, который он рисовал в своей книге. Время нуждалось в героях.

Бруно решил посвятить «Героический энтузиазм» Филиппу Сиднею. Он написал пространное вступительное письмо, где с присущей ему страстностью обрушился на поэтов, которые только и делают, что возносят до небес любовные утехи и восторгаются прелестями своих милых. Его не останавливало опасение, что и письмо и многие места самой книги могут дать пищу злословию и кривотолкам. Не увидят ли в них выпада против Сиднея? Что составляло сердцевину известных сонетов, если не томление Астрофела по возлюбленной? Не нужно особых усилий, чтобы и сэра Филиппа, воспевавшего служение прекрасной даме, представить как раз одним из тех трубадуров вульгарной страсти, толпе которых противостоял Героический энтузиаст.

Меньше всего хотел Бруно колоть Сиднею глаза его несчастливой любовью и, конечно, не в нем видел образец одержимого любовным

безумством. Однако и друзей своих Ноланец не имел обыкновения щадить. Кому много дано, с того много и спросится! Джордано верил, что Филипп правильно поймет его побуждения.

«Поистине только низкий, грубый и грязный ум, — начинал Бруно посвятительное письмо, — может постоянно занимать себя и направлять свою любознательную мысль вокруг да около красоты женского тела. Боже милостивый! Могут ли глаза, наделенные чистым чувством, видеть что-либо более презренное и недостойное, чем погруженный в раздумья, угнетенный, мучимый, опечаленный, меланхоличный человек, готовый стать то холодным, то горячим, то лихорадящим, то трепещущим, то бледным, то красным, то со смущенным лицом, то с решительными жестами, — человек, который тратит лучшее время и самые изысканные плоды своей жизни, изводя эликсир мозга лишь на то, чтобы обдумывать, описывать и запечатлевать в публикуемых произведениях те беспрерывные муки, те тяжкие страдания, те размышления, те томительные мысли и горчайшие усилия, которые отдаются в тиранию недостойному, глупому, безумному и гадкому свинству?»

«Однако что я делаю? — восклицает Бруно. — Может быть, я враг продолжения рода человеческого? Может быть, я ненавижу солнце? Может быть, сожалею о появлении на свет себя и других? Может быть, я хочу уменьшить число людей, собирающих самые сладкие яблоки, какие могут произрастать в саду нашего земного рая? Может быть, я стою за запрещение священного установления природы?..

…Нет, нет, не допустил господь, чтоб нечто подобное могло запасть мне в голову. Добавлю еще, что какие бы царства и блаженства ни были дарованы мне, я никогда не сделался бы до такой степени мудрым или благим, чтобы у меня появилось желание оскопить себя или стать евнухом. Я даже стыдился бы, если, будучи таким, какой я на вид, захотел бы уступить хоть на волос любому, кто достойно ест хлеб, во служении природе и господу богу… Мой вывод, о знаменитый рыцарь, таков: цезарево должно быть отдано цезарю, а божье — богу».

Женщинам не надо воздавать божественных почестей, их следует так почитать и любить, как должны быть почитаемы и любимы женщины.

Стихотворцы, всю жизнь только и воспевающие, что страсть к возлюбленной, гонятся за самой суетной славой. Бруно сурово

осуждает Петрарку. Но и теперешние поэты не лучше: то и дело слагают стихи в похвалу ночному горшку и прочим ничтожным вещам.

Бруно не стремится прослыть ни аскетом, ни женоненавистником. Он воздает женщинам должное, особенно хвалит британских дам, этих нимф и богинь. Восторг по поводу этих небесных созданий не мешает ему высказаться весьма откровенно: «Что бесспорно ненавистно мне, так это усердная и беспорядочная половая любовь, которую привыкли здесь некоторые расточать до такой степени, что сознательно обращают себя в рабов и этим отдают в неволю самые благородные силы и действия мыслящей души. Если принять во внимание эту точку зрения, то не найдется ни одной целомудренной и честной женщины, которая опечалилась бы и рассердилась на мои естественные и искренние слова: она скорее согласилась бы любить меня, порицая ту любовь женщин к мужчинам, которую я решительно осуждаю у мужчин к женщинам».

Он, Ноланец, хочет открыть взору людей не вульгарные страсти, а героическую любовь, которая действительно преображает человека и делает его равным богам!

Филиппу Сиднею было над чем задуматься. Многие мысли Бруно, изложенные в «Героическом энтузиазме», Находили у него самый горячий отклик.

Он разделял убеждение, что вопрос о познаваемости мира — один из краеугольных камней этики. Ему был близок образ Героического энтузиаста, который посвящает свою жизнь бескорыстному служению истине и непримиримой борьбе с невежеством.

Когда один желчный пуританин в памфлете «Школа пороков» ополчился против драматургов, поэтов и актеров, обвиняя их в развращении нравов, Сидней ответил ему небольшим сочинением «Защита поэзии». Эта защита вылилась в страстное восхваление искусства. Сидней писал о высоком назначении поэзии, ее непреходящей ценности — она воспитывает в людях чувство прекрасного, делает их лучше. Невежество вскармливает пороки. Все, что служит познанию, — науки, искусства, поэзия — все это поднимает и облагораживает людей. Высшая цель человека — познание истины.

Так писал Сидней. Но не слишком ли часто слова его расходились с делом? Ведь прав Ноланец, когда говорит, что преступно тратить дни

короткой, быстро летящей жизни на пустые дела и отдавать лучшие силы ума писанию любовных стихов. Сидней не может похвастаться, что выбрал какой-то определенный жизненный путь и твердо по нему следует. В разносторонности его интересов есть существенный изъян. Он не в состоянии найти главного: мечется от политики к пасторалям, от ученых трактатов к религиозным спорам, хочет быть дипломатом и полководцем, рыцарем и государственным деятелем. То с жадностью набрасывается на трудные книги, то, вняв совету, что изучение математики пойдет во вред его слабому здоровью, старательно занимается фехтованием и совершенствуется в модных танцах. Он мечтает о славе служителя муз и просится волонтером на подмогу нидерландским инсургентам, поет о высокой любви и женится по расчету, добивается права стать преемником отца по управлению Ирландией и выдумывает придворные увеселения, носится с планами основания в Америке колоний и выступает в защиту театров. Он многое начинает, но мало что доводит до конца. Неужели он и останется в памяти людей только как автор длинного пастушеского романа да сотни любовных сонетов, воспевающих еще одну из бесчисленных Стелл? Не без двойственного чувства перечитывает Сидней обращенное к нему письмо, которым начинается рукопись «Героического энтузиазма». Но он достаточно беспристрастен, чтобы понять искренние и благородные побуждения Ноланца. Сэр Филипп соглашается на посвящение.

Статный темнобородый красавец с вьющейся шевелюрой и стальными глазами, с лицом решительным и умным, Уолтер Роли, любимец королевы, был у Мовиссьера частым гостем. Ему немногим более тридцати, а он уже сделал головокружительную карьеру. Оксфорда он не кончил, ушел в армию, воевал во Франции и Нидерландах, но мечтал о морских походах. Когда его единоутробный брат, Хемфри Гилберт, готовил свою первую экспедицию в Америку, Роли вызвался в ней участвовать. Правда, мореплавателя из него не получилось: буря пригнала корабль обратно в Плимут. Однако интерес его к Новому Свету не ослабел. Он сражался в Ирландии и жестоко карал восставших, когда ему вдруг улыбнулось счастье. Вождя мятежных ирландцев повесили за ноги, голову его послали в Лондон. Депешу королеве повез Роли. Красноречивый и обаятельный, он умел производить впечатление. Помог ему случай. На прогулке королева в

нерешительности остановилась перед лужей. Придворные замешкались, а ловкач Уолтер мгновенно сорвал с плеча плащ и расстелил у ног Елизаветы, дабы она не испачкала туфелек. Королева была очарована. Подобного обхождения в Англии еще не видывали. Уолтер недаром долго жил среди галантных французов. Он вовремя нашелся и был награжден вне всякой меры.

Короткий визит ко двору затянулся на года. Больше ему незачем было возвращаться в Ирландию. Он был осыпан милостями. Небогатый офицер, получавший четыре шиллинга в день, превратился в расточительного щеголя, законодателя моды. Теперь одни его сапоги, усыпанные драгоценными камнями и жемчугом, стоили целое состояние. Роли мог себе позволить такую роскошь: он стал близким советником Елизаветы. Он был среди тех, кто наиболее пылко доказывал необходимость основывать колонии. Роли клялся, что добудет Елизавете такие Индии, каких нет и у испанского монарха. Снарядив один из кораблей для новой экспедиции Гилберта, которая имела целью освоить Ньюфаундленд, он хотел участвовать в плавании. Елизавета его не отпустила. Однажды ведь ему уже не повезло среди морской стихии! Сердце не обмануло королеву. Предприятие Гилберта окончилось неудачей, а сам он погиб. Но Роли не успокоился. Он добился разрешения колонизовать побережье Америки, лежащее к северу от захваченных испанцами территорий.

Посланные Уолтером капитаны, вернувшись на родину, с восторгом рассказывали об открытой ими стране. Там, настаивал Роли, наилучшее место для колонии. Какое дать ей имя? Елизавету называли Королевой-девственницей. В честь этого и решили окрестить будущую колонию Виргинией. Кто предложил такое название: королева или ее находчивый фаворит? Во всяком случае, выдумка не лишена была известной остроты. Губернатор Виргинии и первые поселенцы отправились за море.

Роли был не только красив — он был талантлив. Государственные дела и придворные интриги оставляли ему мало досуга, но Уолтер успевал проглатывать множество книг, следил за научными сочинениями, писал стихи — спал пять часов в сутки. Он неплохо разбирался в истории и философии.

К идеям Бруно Роли отнесся с большим вниманием.



Филипп Сидней

IORDANI BRVNI NOLANI DE VINCVLIS IN GENERE

Vt cum quis mouere debet, necessarium est rerum quadammodo vniuersalem notitiam habere, vt homo cum quis Epilogos putat omnino est rebus allegare, quadrupedum et alijs thypmis in hos possessorum speciales, vbinam omnes species existere possunt hoc modo, vbi eorum alij referuntur ad primos alij ad nos. ad sensum. alij ad rationem, non secundum genus tum secundum eorum species vel Sagacis vnius hominis acutae theoricae causa, Conuenientes. Finis. Inclinationis. Complexionis, Aetatis, etc. vt in vocibus Proclus fingunt etc. Arbelae, eadem hic et multiplicem materiam in varias formas et figuras transeuntem, vt commune ad vniuersum alij etc. alijs et rationem vocabulum sic speculabor. Hic specillum quod considerate de arcubus hominum, nunc Iudaeum, nunc Romanum, nunc Alchoranum Mohumetum, Brachmanum, Pythagoricum, Portmasterum, quibus adde mercatorum Iudaeorum Inquisitorum Mahumetanum, Alcoranistarum et id genus eiusmodi, quando et vbi in Regnis, dominationem plerisque in partibus administrantur. Vel mihi meum opus sic medijs et instrumentis, quae propterea vincula sibi ipsis operiunt Nihil tandem est quod à Coelo speculatione, ab forma vniuersi contemplationis (quatenus vel mentem, vel memoriam Vel vinculo quodam sunt. Vel bonum circumstantiae) possit esse alienum. Quapropter adeamus hanc considerationem, quae de vinculo in Genere naturalem.

DE VINCIENTE IN GENERE ARTIC: I VINCIENTVM SPECIES.

Vincientia per vniuersum sunt, Deus, Daemon, Animus, Animal, Natura, Sors et Fortuna. Tandem Fatum. Hic vniuersitatis vniuersi quod vna non potest nomine designari, non habet sub specie et forma corporis, Corpus enim per se tantum non potest. Sed per vim quandam in corpore existentem, et à corpore producentem. Manus ergo vniuersi metaphorice nominatae, appellatur, quae multiplici ad vniuersum propagationis deflectitur et metitur.

EFFECTVS VINCIENTIS ART. II

Hinc est quod vniuersitas erant Platonici Deorum Iouem vniuersorum: Animum mundi Stoici, mundialemque Spiritum implere: Naturam magis formandae, formandas. Mortalium vniuersitatibus conditoribus attribuere. Omnia vinciunt, ligare, nectere, vincire: Omnia ordinare, praeceptis regere, alligare. videre: Omnia mortalia operire, Omnia vniuersa iungere, gratificare, complere.

VT ARTE VINCIAT. ART. III

Vincit arte artifex, quandoquidem ars est artificis prohibendo. Naturam vt externales et sensibus videbit quispiam, exaspiciens et naturalium principiorum, qui vna agendum quibusque sunt effecta omnia contemplatur, Gradumentes, Alij Stelas non naturae gloriantes, Deum non magis finem, quam Dei effectus, (Oratio nempe omnia) exercitabuntur.

Страница из работы Бруно «О связях вообще», переписанной Иеронимом Беслером. Хранится в Государственной, публичной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.

Свой человек у Уолсингема, Флорио всегда знал все. А время было богато событиями. В апреле скончался папа Григорий XIII. Какую политику станет проводить его преемник? Джордано с нетерпением ждал вестей из Италии. Несчастная родина! Весной в Испании ощущалась острая нехватка хлеба. Вице-король нашел выход: вывез из Неаполитанского королевства огромные количества зерна. Пусть лучше итальянцы потуже затянут кушаки! В Неаполе разразился голодный бунт. Одного из сановников, повинного в вывозе хлеба, растерзала толпа. Испанцы подавили бунт большой кровью. Сотни людей загнали в тюрьмы, подвергли пыткам, сослали на галеры. Тридцать человек повесили и четвертовали.

Первые известия о новом папе, Сиксте V, тоже не могли радовать. Сикст повел беспощадную борьбу с фуорушити. Он объявил, что за всех скрывающихся от властей отвечают их родственники. Нечего сказать, хорош пастырь! За вину отца отвечают ягнята и их мать. Вот уж воистину овцы, у которых волк управителем, караются тем, что он их сжирает!

«Рассуждение Ноланца о героическом энтузиазме» было последней книгой Бруно, изданной в Англии. Два с половиной года он делал все, что было в его силах, дабы пробуждать спящие души. Он мечтал вывести людей к свету, а ему только и норовили, что разбить голову! Буря вражды, поднятая «Пиром на пепле», с выходом его новых книг становилась все яростней. Он и не ждал ничего иного. Верный своему призванию, он шел вперед, невзирая на препятствия.

Актеон, бегущий за Дианой, не ведает, что псы его растерзают. А он, Ноланец, знает, что кончит плохо. Знает и все-таки, пока жив, будет бороться за истину!

Даже если бы его принимали с большим радушием, он не стал бы всю жизнь жить в Англии. Немало еще в Европе университетских городов, где Ноланцу найдется что делать!

Нидерландские события все больше тревожили Елизавету. Генриху III хватало своих забот, и он ответил отказом на предложение Генеральных штатов принять верховную власть над страной. Тем

временем испанские войска брали одну крепость за другой. Кому, если не английской королеве, сильнейшей из протестантских монархов, оказывать помощь заклятым врагам Филиппа II? Она долго колебалась. Блистательная осада и захват испанцами Антверпена вынудили ее, наконец, решиться. Елизавета подписала союз с повстанцами и отрядила им на подмогу солдат. Началась энергичная подготовка к военным действиям в Нидерландах. Главнокомандующим был назначен граф Лестер.

Молодые дворяне торопились в армию. Филипп Сидней залезал в долги, но покупал боевых коней и оружие. Он был полон нетерпения. Раньше он не раз тщетно добивался позволения уехать добровольцем в Нидерланды. Теперь-то он сможет отправиться на поле брани! Вопрос о его назначении казался решенным, но королева вдруг почему-то передумала. Другие получили должности, а Сидней все еще не у дел. Он рвется в Нидерланды, жаждет ратных подвигов, а его посылают встречать дона Антонио, претендента на захваченный Испанией португальский. престол. Почетнейшая миссия! Раздосадованный Филипп вместе с Фулком Гривеллом поехал в Плимут, но голова его была занята совсем не встречей знатного гостя.

В порту стояли корабли, снаряженные для далекого плавания. Дрейк готовился к очередному налету на американские колонии испанцев. О том, что Сидней всегда интересовался Новым Светом, знали и при дворе. У него родился смелый план. Он заявил Дрейку, что намерен разделить с ним тяготы рискованного плавания и готов в ближайшие же дни выйти в море. Дрейк в затруднении. Племяннику Лестера и зятю Уолсингема нельзя просто отказать. Он должен выражать радость за честь, которую сэр Филипп оказывает его эскадре, а сам в душе проклинает придворного вертопраха, что хочет за ним увязаться.

Сидней рассчитывал, что Дрейк тут же пошлет королеве тайное донесение. Как воспримет Елизавета весть о его намерении уплыть за море? Воспретит отъезд и соблаговолит подписать назначение, которого он добивается? Нескольким своим людям Сидней приказал, переодевшись матросами, устроить засаду и перехватить королевского гонца. Тот вез три письма: мэру Плимута, Дрейку и Сиднею; Они были похожи одно на другое: Сиднею не разрешалось уезжать. И только-то всего? Ну, а если гонец не передаст вовремя Писем и королева узнает,

что с ее нарочным стряслась в дороге беда? Она и во второй раз ограничится только запретом?

Корабли Дрейка были готовы к отплытию. Что он мешкает? Сидней горячо убеждал его выходить в море. Но Дрейк не торопился поднимать паруса. Второй посланец королевы был важной персоной. Новое письмо вручил Сиднею пэр Англии. Филипп должен выбирать — милость или опала. Ему запрещено присоединяться к Дрейку, он назначается в Нидерланды, комендантом Флиссингенг. Давно бы так!

Вернувшись ко двору, Сидней не особенно кривил душой, когда уверял, что вовсе и не думал отправляться в Америку.

В нарядном доме с французскими лилиями на фасаде царила необычайная суета. Новый посол уже прибыл, и Мовиссьер собирался в дорогу. Прошел год с того дня, когда он получил повеление сложить полномочия. Приказ по его просьбе был отсрочен, но сохранял силу.

Мовиссьер покидал Англию с тяжелым чувством. Раньше он надеялся, что до своего отъезда увидит Марию Стюарт на свободе, и жестоко ошибся.

У Елизаветы на уме было иное. Она нашла-таки верный путь утвердить свое господство над Шотландией: соблазнила Якова обещаниями поддержки и ежегодной субсидией. Генрих III, напуганный успехом ее происков, спохватился, но было уже поздно. Вскоре стало известно, что Яков заключил с Елизаветой союз. Обе стороны обязались держаться протестантской веры и помогать друг другу против вторжений иноземцев. Французскому влиянию в Шотландии был нанесен смертельный удар. Мария, преданная сыном, оставалась в заточении. Уолсингем и его подручные плели хитрые интриги, чтобы окончательно ее погубить. То и дело арестовывали людей по обвинению в заговорах, которые якобы составлялись по наущению Марии.

Последнее, что Мовиссьер сделал для пленницы, — добился от Елизаветы согласия на перевод ее в другой замок. Мария давно болела и жаловалась на сквозняки и сырость: вещи в комнатах за несколько дней покрываются плесенью. Королева уступила просьбе Мовиссьера, но от такой уступчивости становилось невесело: одновременно пленнице запретили всякую переписку с французским посольством.

У Мовиссьера от забот голова шла кругом. И не только потому, что переезд на родину был сопряжен с большими трудностями. Его

осаждали кредиторы. Хотя ему и удалось частично разделаться с долгами, в коих он завяз из ревности по службе, финансовые дела его были плачевны. Он уполномочил Флорио, который остался в посольстве, улаживать претензии. Бруно уезжал вместе с Мовиссьером. Дворецкий с помощником, погрузив на корабль весь багаж, отплыли первыми.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

СИЛЬНЫЕ СТРАСТИ И СЛАБЫЙ КОРОЛЬ



Едва высадившись в Кале, Мовиссьер узнал тяжкую весть. Корабль со всем имуществом бесследно исчез. Его, вероятно, захватили пираты. Потерять имущества больше чем на двадцать тысяч экю, потерять самые дорогие вещи, в том числе и столовое серебро, подаренное Елизаветой! Мовиссьер был безутешен, он считал себя окончательно разоренным. Деньги, ссуженные Марии Стюарт, пропали, а остальное стало добычей пиратов. Какова участь дворецкого? Прикончили его морские разбойники? Или он сам, паче чаяния, был в доле с грабителями? В волнении Мовиссьер наспех написал Флорио о постигшей его беде и просил принять необходимые меры, чтобы разыскать похищенное.

До Парижа добрались с трудом. В письме к одному из друзей Мовиссьер жаловался: они-де похожи на нищих ирландских беженцев,

бродящих с детьми по дорогам. Хотя Флорио и добился от Уолсингема, что тот поставил на ноги своих сыщиков и они нашли подарок королевы с частью вещей, положения это существенно не поправило. Мовиссьеру не на что было содержать дом. Семью он собирался отправить к отцу жены. Бруно не мог больше рассчитывать на его поддержку и снял комнату на полюбившейся ему прежде улочке по соседству с Коллеж де Камбре. Первое время было особенно тяжело, мучило безденежье: своего нехитрого скарба, платья и, главное, книг он тоже лишился.

Бруно не оставлял мысли, что в Париже, проповедуя ноланскую философию, он даст основательный бой перипатетикам и покажет ложность их воззрений на природу. Чтобы подготовить почву для такого выступления, Джордано счел необходимым объективно и тщательно изложить взгляды Аристотеля. Кто сможет упрекнуть его в поверхностном знании Стагирита, если он, оставаясь верным своей страсти к мнемоническим аллегориям, представит мысли Аристотеля в виде стройной системы образов, удобных для запоминания? Бруно написал и выпустил в свет книгу: «Аристотелева физика в пятнадцати образах». Тетия означала материю, Аполлон — форму, Минерва — начало и т. д.

За время отсутствия Бруно многое изменилось во Франции. Генрих III, «великий и сильный король», «лев, который своим рыканием наводит ужас на других лесных хищников», пребывал в растерянности и тревоге. Смерть герцога Анжу, последнего брата короля, снова распалила страсти. Генрих III, несмотря на молебны о даровании наследника, оставался бездетным. Здоровья он был хилого. В случае его кончины наиболее законным претендентом на престол оказывался Генрих Наваррский. Вождю еретиков достанется корона! Примириться, с этим католики не желали. Генрих Гиз — вот кто должен быть королем! Во многих городах, особенно в Париже и на севере Франции, он стал очень популярен. Католическая лига обрела новые силы. Филипп II обещал ей самую решительную поддержку. Страну наводнили памфлеты, высмеивающие короля. Власть все больше и больше выскальзывала из его рук, а он не знал, что предпринять. На чью помощь еще надеяться, если не на божью?

На улицах то и дело появлялись процессии кающихся. Впереди несли крест. Люди шли босиком, в мешкообразных полотняных

одеяниях, подпоясанные веревками. Капюшон, похожий на кулек, с двумя прорезями для глаз скрывал лица. Но парижане знали, что в этой толпе, распевающей литании, бредет и их король. Исполняя монаршую волю, его «любимчики», порочные и наглые, сбрасывали на время свои замысловатые костюмы и превращались в смиренных богомольцев. Переодетые певчие из придворной капеллы боялись простудиться и неохотно напрягали горло. Иногда кающиеся шли с палками и плетьми в руках и, замаливая грехи, наносили себе или друг другу удары. Ночью эти процессии при фонарях и факелах выглядели особенно мрачно. Безумству короля и непогода не была помехой — каяться можно и под проливным дождем!

Подобные затеи не прибавляли ему популярности. Лучше бы он поурезал налоги или хотя бы не грабил городскую казну! В народе эти процессии метко окрестили «благочестивыми комедиями». Гугеноты ими возмущались. Католические попы, сторонники Лиги, отрабатывая испанские денежки, метали громы и молнии с церковных кафедр на братства кающихся и называли их «братствами лицемеров и безбожников». Грош цена такому покаянию, когда в тот же вечер они пьянствуют и распутничают!

Процессии, устраиваемые королем, сравнивали, случалось, с карнавалом ряженых. Генрих являл примеры смирения. Проповеднику, который в исступлении обрушился на своих прихожан за то, что те участвовали в столь греховном деле, он послал денег. Пусть, мол, купит себе сахару и меду, чтоб несколько подсластить свои слишком горькие речи.

Король все чаще и чаще пропадал в Венсеннском лесу. Здесь, в своем монастыре, в обители «братства кающихся», он проводил целые недели. Отстаивал долгие молитвы, слушал проповеди, затевал религиозные процессии, постился. Он много говорил о смерти. Обстановка вокруг наводила на мысль о бренности человеческого существования. Переплеты книг были украшены крестами, изображениями черепа и гроба. В покоях короля на черных стенах были нарисованы скелеты.

Ощущение собственного бессилия заставляло его метаться из стороны в сторону. Он боялся Гизов, боялся испанцев, боялся Генриха Наваррского. Король-философ из него не получился. Мелкие страсти губили его. Изучать всерьез философию было недосуг из-за погони за

наслаждениями, а управлять страной, терзаемой раздорами, оказалось слишком хлопотно. Перед лицом могущественных неприятелей он все острее чувствовал свою беспомощность и все больше уповал на бога. Он мало кому доверял.

Не мягкость и доброта лежали в основе его миролюбия, которое так восхищало Бруно. Генрих не гнушался насилия, когда был уверен в успехе. Но с годами ему становилось все очевиднее, сколь опасны его враги. Он, если бы мог, раздавил бы Лигу и скрутил гугенотов. У него не было на это достаточно сил, и он волей-неволей внимал «политикам». Раз нельзя сломить ересь с помощью меча, полагал Генрих, то необходимо прибегнуть к духовному оружию: победить еретиков набожностью, примером добродетельной жизни и берущими за душу проповедями.

В Венсеннском лесу короля окружала толпа епископов и аббатов. Кое-кто хвастался, что здесь продолжаются лучшие традиции Дворцовой академии. Но эти ученые собрания сильно отличались от собраний в Лувре. Светские науки были совершенно задавлены теологией. В парке, где по аллеям бродили олени, а в прудах плавали лебеди, под развесистыми деревьями читались проповеди и велись богословские споры. В них нередко участвовал и король. Тон задавал Дюперрон. Сана он еще не принял, но рвением своим превосходил многих священников. Король очень им дорожил. В Венсенне ковалось то духовное оружие, которое призвано было сокрушить протестантскую ересь. Здесь готовили новых проповедников. Музыка, риторика и поэзия были поставлены целиком на службу религиозной политике — они должны были усилить действенность проповеди. Дворцовая академия окончательно выродилась в академию церковного красноречия.

Если и прежде, до поездки в Англию, ученые собрания в Лувре не вызывали у Бруно энтузиазма, то как он мог относиться к венсеннским сборищам? Еще одна академия ослов! Дюперрону и близким к нему людям позиция Ноланца, похоже, не осталась неизвестной.

В предместье, сразу за городской стеной, посреди старого парка раскинулись постройки аббатства Сен-Виктор. Монастырь издавна славился своими учеными, богословами и философами. Многое вокруг напоминало о науках и искусствах: рядом дом Баифа, где собирались

члены основанной им академии, а вот и пробитая в стене по особому разрешению калитка, через которую приходил на заседания Ронсар.

Библиотека аббатства считалась во Франции одной из самых древних и лучших. Сотни редких изданий и ценнейших рукописей составляли ее гордость. Монахи открыли свое книгохранилище и для мирян. Их библиотека стала первой публичной библиотекой Парижа с хорошим каталогом и читальней. Бруно часто приходил сюда. Гийом Котен, пожилой, общительный хранитель библиотеки, встречал его радушно. Они подолгу беседовали. Любознательность Котена была неистощима. Он поддерживал знакомство со множеством людей, расспрашивал о виденном миссионеров, вернувшихся из заморских стран, и находил удовольствие, в беседах со случайными посетителями. Котен обладал великолепной памятью и незаурядными знаниями. Он частенько хворал, мечтал поехать на воды, но не хотел оставлять библиотеку.

Когда он впервые увидел Бруно, то многое о нем уже слышал. Да и мог разве человек, всегда внимательно следивший за научными и литературными новостями, не приметить в Париже необыкновенно яркую фигуру Ноланца? Котен произвел на Бруно хорошее впечатление. Джордано охотно» рассказывал о своей работе, делился планами, приносил свои книги, читал страницы неопубликованных произведений.

В беседах затрагивались разнообразные темы, обсуждались достоинства различных изданий. Говорили о теологии и искусстве мнемоники, о современных писателях и об отцах церкви. Котен, помимо духовной музыки, очень любил церковное красноречие и расспрашивал о знаменитых проповедниках, Бруно отрицательно отзывался о многих писателях, ругал философию иезуитов и заявлял, что изучение словесности в Италии находится в упадке. Разносторонность Ноланца изумляла Котена. О чем бы ни заходила речь — о физике, политике или географии, — Бруно тут же засыпал собеседника массой интереснейших сведений. О климате Шотландии и Ирландии или о холодах Татарии он говорил с таким же знанием дела, как об итальянских книгах или древностях родной Нолы.

Джордано был очень доверчив. Еще в самом начале знакомства с Котеном он рассказал ему о причинах бегства из Италии, о злосчастном убийстве, о невежестве инквизиторов, которые не

понимали философии и обвиняли его в ереси. Бруно совершенно не смущало, что его собеседник — набожный монах; он позволял себе неодобрительно говорить о папе, порицал религиозные распри, учение о таинстве евхаристии презрительно называл выдумкой схоластов.

При всей своей любви к ученым занятиям скромный Котен ничего не публиковал, писал для себя. Он вел дневник и заносил туда самое интересное из своих встреч и разговоров. В этом дневнике немало строк было посвящено Джордано Бруно.

Кардинал Монтальто, согбенный болезнями и возрастом, не расставался со своей клюкой. Он производил впечатление тихого и немощного человека. Жил скромно, помимо служения богу, знал только одну страсть: любил следить, как сажают плодовые деревья и подрезают виноградники. Он вступил на папский престол под именем Сикста V. Правление началось кровью: папа отправил на плаху дворян, давних своих обидчиков. Еще шли торжества по поводу его избрания, когда он показал свое настоящее лицо. Его молили помиловать нескольких осужденных. Он не пожелал выслушать прошения, велел их тут же повесить. «Доколь я жив, — сказал он сурово, — преступники будут умирать!»

Устрашение стало основой политики. Он-то, бывший консультант инквизиции, сумеет внушить людям ужас! Сикст V провозгласил, что намерен любыми средствами изничтожить всех злодеев и ослушников. Он покончит с бандитами и подавит движение фуорушити. Если у него не хватит собственных сил, то господь пришлет ему на подмогу легионы ангелов!

Не дожидаясь небесного воинства, Сикст энергично взялся за дело. Народ необходимо застращать — за малейший проступок карать смертью. Если скрылся виновный, то наказание следует обрушить на его близких. Сикст любил изрекать афоризмы: «Пусть пустуют тюрьмы и гнутся от трупов виселицы!» Милосердия он не ведал. Людей отправлял на казнь с циничной усмешкой. Некий юноша воспротивился стражникам, когда те отнимали у него осла. Суд вынес смертный приговор. Но ведь юноше так еще. мало лет? «Мало? — острит римский первосвященник. — Я охотно подарю ему несколько своих!»

Борьба с фуорушити приняла невиданный размах. Скупой Сикст предпочитал не истощать казну широкой вербовкой наемников. Папа

выбрал иное: массовые расправы, поощрение предательств. Сеньорам и сельским общинам вменялось в обязанность устраивать облавы. За каждого обезглавленного фуорушити полагалась награда. Но выплачивали ее не из папской сокровищницы — раскошеливаться должна была семья убитого или его село. Объявленный вне закона или скрывающийся от властей заслуживал прощения и получал награду, если живым или мертвым выдавал сообщника. В Рим со всех сторон присылали головы известных фуорушити. Такие дары Сикст принимал с радостью. Наместник Христа оправдывал любые средства. Он пришел в неописуемый восторг, когда узнал о хитрости одного из своих любимцев. Тот не гонялся за фуорушити по горам — подбросил им отравленные припасы и сразу извел ядом целый отряд.

Казни совершались каждый день. Повсюду — на рыночных площадях и среди пашен, у обочин дорог и на лесных опушках — устрашающе чернели на шестах отрубленные головы.

Политика Сикста V возмущала Бруно. Немногим более полугода восседает он на папском престоле, а уже прославился на всю Европу жестокостью и коварством. Что он делает с Италией?! Джордано не скрывал своей ненависти. Беседуя с Котеном, он открыто порицал Сикста.

В декабре 1585 года вдали от столицы скончался Ронсар. Там его и похоронили. Два месяца спустя в Париже состоялись траурные торжества. В одной из часовен, принадлежащих университету, была сооружена мемориальная плита. Почтить память великого поэта собралось избранное общество: придворные дамы, знатные господа, профессора Сорбонны, важные сановники, епископы, кардинал.

Часовня была убрана черными драпировками. Музыканты исполняли изысканные мелодии. Величественно звучала латынь: в длинных речах именитые доктора прославляли Ронсара. Верная католичеству Сорбонна торопилась наложить лапу на духовное наследие поэта. Ронсара всячески приглаживали. Его, мол, взгляды никогда — не противоречили богословским и философским традициям университета.

Поток восхвалений прервался, когда настало время обеда. Присутствующие чинно проследовали к обильно накрытым столам. После парадной трапезы общество вернулось в часовню. Снова

звучала грустная музыка, и хор миловидных нимф оплакивал смерть Ронсара.

Но главным событием стала речь Дюперрона. Он стоял на виду у всех, щеголеватый молодой человек с умным лицом. Любимец короля и его историограф, он говорил по-французски. Дюперрон недаром слыл блестящим оратором. Образы античной мифологии искусно переплетались с библейскими сентенциями. Он был в мирском платье, со шпагой на боку, но казалось, что говорит священник, начитавшийся античных авторов. Ронсар в изображении Дюперрона выглядел великим поборником католической веры.

Произнесенное Дюперроном «Надгробное слово» произвело на многих сильное впечатление. Рауль Кайе, начинающий адвокат и стихотворец, посвятил этому свой сонет. Во время траурных торжеств он имел видение: дух усопшего Ронсара снизошел на одареннейшего Дюперрона.

Велика радость повстречать в чужом городе земляка, тем более если его брат служил когда-то с твоим отцом в одном полку! Фабрицио Морденте, уроженцу Салерно, было под шестьдесят. Им владели две страсти: любовь к геометрии и жажда путешествий. Способнейший математик, он изобрел пропорциональный циркуль, оригинально решал многие геометрические проблемы. Он повсюду публично демонстрировал свои достижения. Бруно, увлекающийся и пылкий, встретил Морденте с распростертыми объятиями. Его восторженность не знала границ. Так это же бог геометров!

Морденте находился в Париже несколько месяцев. Он надеялся, что вдовствующая королева, Екатерина Медичи, опекавшая своих соплеменников, даст ему пенсию и он сможет продолжать путешествия. Ему никогда не сиделось на месте. Он продал свое имение и на вырученные деньги пустился странствовать. Побывал на островах Средиземного моря, в Египте и Индии, Португалии, Франции, Англии, Германии. Вернувшись в Неаполь, пожил там недолго и снова уехал во Францию. «Бог геометров» особой скромностью не отличался, заслуг своих не преуменьшал, но, будучи религиозным человеком, полагал, что решение всех важнейших проблем внушено ему свыше, и видел в этом особую милость создателя.

На недостатки своего нового приятеля Джордано смотрел сквозь пальцы. За редкий дар математика он готов был прощать и его самоуверенность и ограниченность, порой и невежество. В первые недели Бруно особенно восторженно отзывался о Морденте. Он на все лады расхваливал Котену этого «бога геометров».

Морденте носился с мыслью пошире ознакомить ученый мир со своими открытиями. Сославшись на незнание латыни, он попросил Ноланца, чтобы тот написал о нем. Ну, конечно же! Он, Бруно, с радостью окажет ему помощь. Сказано — сделано. Бруно, не откладывая, принялся за работу, и вскоре два диалога — «Морденте» и «О циркуле Морденте» — были написаны. Рассказывая об открытиях геометра из Салерно, Джордано расточал по его адресу неумеренные похвалы. Пора нарушить молчание, которым окружено имя Морденте. Он совершил то, что никому не удавалось, вдохнул новые силы в Захиревшую науку и возвратил ее к жизни. В грядущие века ревнители геометрии будут прославлять его родину, Салерно, не меньше, чем пытливый Египет, велеречивую Грецию, трудолюбивую Персию, изощренную Аравию и другие страны, знаменитые успехами в этой науке.

Воздавая должное заслугам Морденте как математика, Бруно ставил ему в упрек то, что он находится в плену эмпирических представлений и боится широких выводов. Хвала в диалогах перемежалась с полемическими выпадами против Морденте.

Рукопись еще не была напечатана, когда Фабрицио возмутился. Он ждал от Ноланца совсем другого, ждал, что тот ограничится изложением на латинском языке его открытий, а не затеет спор. Но Бруно стоял на своем. Он не раб-толмач, чтобы, излагая чужие взгляды, не высказать и своего отношения к ним, да и писал он не панегирик земляку. Его интересует не столько сам Морденте, сколько философские выводы, к коим можно прийти, пользуясь новым решением некоторых проблем геометрии.

Морденте счел себя смертельно обиженным. Он клялся, что отомстит Ноланцу. От гнева Фабрицио и вовсе потерял голову: не хочет ли Бруно выдать его открытия за свои? Разубедить его было невозможно. Выход в свет диалогов Бруно, посвященных открытиям Морденте, еще больше разъярил подозрительного салернца. Да, Бруно превозносит до небес изобретенный им циркуль, но ведь он пишет и о

том, что предложенные Морденте решения следует лучше изложить и глубже осмыслить. Он посягает на его славу! Вспыльчивый математик грозился, что напишет против Ноланца книжку и тут же ее издаст. Бруно узнал об этом. Ну что же! Если Морденте не угомонится и будет по-прежнему глух к голосу разума, он снова возьмется за перо и в этот раз уж действительно намылит ему шею!

Жаль было тратить время на ссору с Морденте, когда предстояло куда более важное дело.

В середине апреля казалось, что ссора затихает и Морденте дальше угроз не пойдет. Красноречием он не отличался, говорил плохо, а писал и того хуже. Тягаться в спорах с Ноланцем было ему не по силам.

Давнее свое несогласие с воззрениями Аристотеля, содержащимися в книгах «Физики» и «О небе», Бруно изложил в виде «Ста двадцати тезисов о природе и мире против перипатетиков». Почти все они были прежде развиты в изданных Ноланцем сочинениях. Но теперь, готовясь дать бой парижским перипатетикам, он собрал эти тезисы воедино, чтобы задуманный им диспут принял широкий размах. Ложные взгляды Стагирита и его последователей должны быть сокрушены!

Бруно подчеркивал, что он понимает под вселенной бесконечную материальную субстанцию в бесконечном пространстве. Вселенная не создана и существует вечно. Звезды, видимые за Сатурном, суть солнца, планеты же, вращающиеся вокруг них, незаметны из-за огромности расстояний. Ведь и из тех далей, со звезд, тоже не видно небесных тел, светящихся отраженным светом, не видно ни Земли, ни Меркурия, ни Юпитера, а различимо одно только наше Солнце!

Он очень хотел, чтобы состоялся диспут. Затевать его было не время. Борьба Лиги с постыдными «миротворцами», которые стремились к соглашению с гугенотами, достигла высшего накала. Сторонники Гизов, в чьих карманах позвякивали испанские денежки, провозглашались безупречными французами, а гугеноты, призывавшие на подмогу банды иноземных ландскнехтов, мнили себя защитниками истинной веры. Листовки, проповеди, памфлеты, сатирические гравюры будоражили умы. Прикончить еретика — это божье дело! Христианские пастыри договаривались до того, что сулили царствие небесное даже тем, кто из верности господу не пожалел и

родительской жизни. Пелена ожесточения застилала глаза… Сословные интересы, политические убеждения, религиозные предрассудки — все спуталось в чудовищный клубок. Наука была неотделима от богословия, богословие от политики. Ниспровержение привычных взглядов — крамола, любое неугодное мнение — ересь, каждый инакомыслящий — враг!

Среди разгула страстей, в обстановке всеобщей неустойчивости, когда духовная распря могла мгновенно превратиться в резню, затевать столь опасный диспут, не безумие ли это? Друзья пытались его отговорить. На что он может рассчитывать? Лишь на одно — в университете его побьют каменьями! Положение сейчас слишком напряженное, и не следует рисковать головой. Надо повременить.

Повременить? Ждать, пока улягутся страсти и сложится более благоприятная ситуация? Нет, это не в характере Ноланца! Что стало бы с наукой, если бы ученый всякий раз оглядывался на раздоры правителей и выжидал подходящего момента для своих открытий. Не захирела ли бы мысль человеческая, если бы постоянно слушалась благоразумия?

Бруно решил добиваться диспута. Что бы вокруг ни творилось, Ноланец, пробудитель дремлющих душ, должен помнить о своем призвании! «Сто двадцать тезисов о природе и мире» Бруно послал в университет вместе с вежливым письмом ректору Жану Филезаку.

Он дипломатично начал с высокопарных воспоминаний о прошлом. Ему, иностранцу-философу, здешние профессора оказали необыкновенно радушный прием, постоянно посещали его лекции. Он гордится столь великой честью и не считает себя здесь чужим.

Он намерен отправиться в другие университеты, но не может уехать, не отблагодарив прежде людей, которые привязали его к себе добрым отношением.

В знак своей признательности он и выставляет для дискуссии ряд тезисов.

Конечно, если бы он, Бруно, полагал, что мировоззрение перипатетиков пользуется у них большим уважением, чем сама истина, или что этот университет более обязан Аристотелю, чем Аристотель этому университету, то никогда не позволил бы себе выдвигать подобные тезисы. Его терзала бы мысль, что дань преклонения может быть расценена как враждебный поступок и дерзкое оскорбление. Но

он верит мудрости ректора и профессоров, поэтому рассчитывает, что тезисы будут приняты благосклонно.

Новые идеи волнуют его и заставляют искать диспута. Он убежден, что здесь, в этом прославленном университете, охраняют свободу философской мысли и дадут ему высказаться. Даже если бы он пытался тщетно опровергать истину, ведь она от этого только укрепится!

Всегда и везде он стремится лишь к одному: чтобы в борьбе мнений выявилась истина. Поэтому и теперешняя попытка не должна столь великой академии казаться недостойной. Из этих ростков нового мировоззрения, надеется он, возникнет то, что с радостью будет понято и воспринято грядущими поколениями. Так пусть это и произойдет по праву в университете, который считается первым в мире!

Обращение к Филезаку не помогло. Разрешения печатать представленные тезисы не последовало. Какой там диспут! В Париже знали Ноланца достаточно хорошо еще до поездки в Англию. Двусмысленные аллегории его сочинений по мнемонике и откровенные издевки «Подсвечника» многим открыли глаза. Уже тогда он, опасный вольнодумец, заслуживал сурового осуждения, а теперь, после изданных в Лондоне книг, и подавно!

«Сто двадцать тезисов о природе и мире» еще больше ухудшили его положение. В Сорбонне, где задавали тон рьяные католики, явные и тайные сторонники Лиги, тезисы Бруно были признаны противоречащими вере. В Коллеж де Камбре, созданном как оплот светской науки, поддержки они тоже не нашли. Враждебность к Ноланцу росла. Морденте быстро сообразил, откуда угрожает Бруно наибольшая опасность. Сам он, как и Джордано, близко стоял к тем кругам, которые выступали за соглашение между королем и Генрихом Наваррским. Теперь Морденте перекинулся в другой лагерь. Математика математикой, философия философией, а сводить личные счеты удобней на поприще политики! Морденте решительно перешел на сторону приверженцев Лиги.

Бруно многое спускал Морденте, даже стерпел, когда тот принялся его книжку, посвященную открытиям «бога геометров», скупать и жечь. А теперь он, перебравшись к лигистам, посильно старается

раздувать вражду к Ноланцу. Надежнейший путь, чтобы уничтожить противные доводы!

«Торжествующий невежда» и «Истолкование сна» назывались диалоги, которыми ответил Бруно на новые выходки Морденте. Ирония, проскальзывавшая то тут, то там в прежних работах о Морденте, сменилась сарказмом. Самоуверенный «бог геометров» до выносит никаких возражений и не видит своих слабых сторон. Этот ученый, не знающий грамматики, и философ, презирающий философию, претендует на то, чтобы слыть оракулом!

Издателя, который напечатал бы диалоги, найти не удалось. Бруно хотя и был весьма стеснен в средствах, издал книгу на собственный счет.

Ученые мужи, возглавляющие университет, согласия на диспут не давали. Профессора Сорбонны ревностно следили за тем, чтобы опасные мысли не получали распространения: запрещали издавать неугодные книги, не дозволяли сомнительным людям вести преподавание.

Бруно, обращаясь к Филезаку, не просил о чем-то особенном. Он был профессором в Тулузе и здесь, в Париже, читал лекции как экстраординарный профессор. Уже по одному этому он мог свободно выставить для диспута свои положения. А ему в нарушение университетских обычаев отказывают в законных правах!

Он решился на крайнее средство — просить короля о заступничестве. Неужели Генрих, для которого он не жалел выспренних слов, откажет ему в такой милости? Он написал королю письмо. Нельзя терпеть, чтобы истины, подсказанные Ноланцу природой, проверенные и подтвержденные в тщательных размышлениях, замалчивались врагами и завистниками. Его не хотят даже выслушать. Пытаются, рассчитывая на безнаказанность, силой зажать ему рот и без открытого разбирательства отринуть мысли, ненавистные лишь невеждам. Пусть же теперь под покровительством могущественнейшего короля тезисы Ноланца будут обсуждены в первом университете мира. Пусть они станут достоянием гласности!

На этот раз Джордано повезло. Окруженный святошами и распутниками, Генрих вспомнил о некогда восхищавшем его Ноланце и о своем призвании быть покровителем наук. Он соблаговолил разрешить диспут. «Сто двадцать тезисов о природе и мире» были

напечатаны с посвящением королю. Им было предпослано краткое обращение Бруно к благородным философам, «друзьям и защитникам основ более разумного мировоззрения». Неотложные дела мешают Ноланцу трактовать предмет столь подробно, как он бы хотел, но он надеется хотя бы частично оправдать возлагаемые на него надежды. Отдельные тезисы он сопровождает обоснованиями, которые позволят узреть истину даже людям с посредственными знаниями, но с природным умом. Духовным же кротам, привыкшим к мраку, они будут ненавистны, как солнечный свет!

Воля короля многим пришлась не по вкусу. Обсуждать положения, противоречащие вере? Но Генрих III распорядился провести диспут. Как быть? Ученые мужи нашли выход: тезисы Бруно, мол, лишь косвенно противоречат религии, и скрепя сердце согласились их рассмотреть. Сорбонна, цитадель перипатетиков, противилась этому особенно упрямо. Диспут решено было провести в Коллеж де Камбре на троицу, в конце мая.

По тогдашнему обычаю выступать с защитой выставленных тезисов должен был не их автор, а кто-нибудь из его сторонников. Сам же он, присутствуя на диспуте, мот принять участие в споре лишь в том случае, если выбранному им человеку оказывалось не по силам опровергнуть доводы противника. Публично защищать мысли Бруно вызвался один из его учеников, молодой французский дворянин Жан Эннекен. Бруно прекрасно знал, с какой стороны подстерегает его наибольшая опасность. Не раз он слышал угрожающие слова: Ноланец-де покушается на святую веру!

Объявляя о диспуте, Эннекен доводил до всеобщего сведения, что под счастливым покровительством Ноланца будет защищать его тезисы, направленные против профессоров обычной школьной философии. В намерения Джордано Бруно не входит утверждать что-либо подрывающее религию или умалять известное философское направление. Он скорее дает высокоученым профессорам достойную возможность испытать крепость столь распространенной доктрины перипатетиков. В этом цель Ноланца, который хочет ознакомить со своими тезисами важнейшие академии Европы.

Жан Эннекен старательно готовился к диспуту. Бруно помогал ему составлять вступительную речь.

Послушать диспут собралась пестрая и шумная толпа: студенты, профессора, монахи и миряне, сановники, придворные. Вначале слово было предоставлено Эннекену.

— Высокочтимые ученые господа! Привычка верить, говорит Аристотель, есть главнейшая причина, мешающая человеческому рассудку воспринимать очевидные вещи. Как велика власть этой привычки, доказывают законы, для коих басни и наивные обычаи намного важней, чем факты.

— Только отказавшись от предубеждений, — продолжает Эннекен, — можно увидеть истину. В споре веры и разума судьей должен быть рассудок. Чтобы вырваться из плена предвзятых мнений, надо тщательно взвесить все: и то, что представляется неопровержимым, и то, что кажется сомнительным. Как бы истина ни ускользала от разума и чувств, как бы ни страшилась она их прикосновения, люди непременно ее увидят.

Повсюду самонадеянные софисты и мракобесы освистывают верные воззрения. Надо долго собираться с силами, чтобы пойти на приступ столь укрепленных цитаделей Аристотеля и вызволить истину, заточенную в глубоком подземелье. Как день приходит на смену ночи, так в мире мысли на смену заблуждению должна прийти истина. Ведь это Аристотель сказал: необходимо, чтобы не единожды и не дважды, а бесконечно возвращались те же самые воззрения.

Учение Ноланца уходит своими корнями в далекое прошлое. Он не приписывает себе больших заслуг и не претендует на какую-то особую оригинальность. Его укоряют, что он выступает поборником новых мнений. Однако если обвинители захотят приглядеться внимательней, то поймут, что не существует старых мнений, которые однажды не были новыми. Сейчас многие взгляды, защищаемые Ноланцем, вызывают лишь пренебрежение: они, мол, не подтверждаются авторитетом древности, а ведь было время, когда эти взгляды одобрялись всеми знатоками природы. Нет раба, который не происходил бы от древних царей, и нет царя, который не происходил бы от древних рабов — время все перемешивает и все изменяет!

Идеи Ноланца не погибнут. Из невзрачного корня вырастет мощное дерево и принесет драгоценнейшие плоды. Тяжка дорога к истине, и мало тех, кто на нее вступает, но добравшемуся до вершины откроется чудесный вид.

С пылким задором излагал Эннекен мысли своего учителя. Бруно и его последователей хулят за то, что они откололись от школы Аристотеля и покинули толпу вульгарных философов. Как же можно ставить им это в вину, если Аристотелю прощают, что он изменил истине и отступился от великих отцов науки? Заблуждения прокладывали себе путь с помощью софистики и легковерия. Так почему же считают дерзостью стремление здравыми доводами, подкрепленными голосом природы, предвозвестить торжество истины? Разве дерзость отвергать то, что ложно?

Часто ценнейшие мысли кажутся абсурдными, пока их разглядывают в кривом зеркале веры и предубеждений. Когда же устранен этот лживый посредник, истина являет себя в полной красе. Чем сильнее будут подавлять истину, тем в конце концов с большей силой вырвется она на свободу.

— Пусть, коль угодно, объявляют наши положения заимствованными у Лукиана, пусть говорят, что мы плывем против течения авторитетнейшей и благороднейшей философии, пусть издеваются над горсткой тех, кто с нами заодно. Подобными доводами нельзя доказать, что мы, находясь в меньшинстве, безумны, а они со слишком многими — мудры.

Эннекен говорил хорошо. Недаром Бруно потратил много времени, когда помогал ему готовиться к выступлению. Но никакое красноречие не могло рассеять атмосферы враждебности. Большинство присутствующих не скрывало своей неприязни к Ноланцу. Все громче и злее становились выкрики. Эннекену часто приходилось повышать голос.

— Какая нам польза, что толпа считает нас здоровыми, если мы в действительности хворы? И велик ли вред, если нас считают больными, когда мы на деле здоровы?

Его постоянно перебивали. Но он продолжал. В правоте Ноланца он уверен, хотя тот и стоит почти в одиночестве, ненавидимый тьмою невежд, — за ним лишь скупые высказывания древних, давно забытых философов. А на противоположной стороне столпы науки, на протяжении веков повелевавшие музами, да их бесчисленная свита. Среди перипатетиков, хотя они и выступают под одним знаменем, нет единства: там, где толпа не движима общим денежным интересом и не обуздана страхом понести убыток, каждый ценит только собственное

мнение и считает всех, кроме себя, дураками. Подобного не заметишь среди людей, окружающих Ноланца, и, как их ни называй: приверженцами его или даже сектантами, число их постепенно растет.

Эннекен повторяет, что распространенность того или иного мнения еще не свидетельство его правильности. В науке только низкий ум спешит соглашаться с толпой лишь потому, что она составляет большинство. Сам себя обманывает тот, кто слепо верит. Можно ли, не будучи убежденным, что-нибудь одобрять, когда столь мало нужно, чтобы погас как и свет нашей совести, так и свет науки? Куда большее счастье служить истине и не соглашаться с господствующим мнением, чем прислуживать ему, идя наперекор правде.

Не напрасно человек наделен зрением. В угоду фиглярам и невеждам он не должен смыкать веки И быть неблагодарным к природе, пренебрегая разумом, коим она его одарила. Следует ли отказываться от способности познавать — бежать, так сказать, от самих себя? Нет, с пафосом отвечает Эннекен, пытливый человеческий взгляд — залог достоверных знаний, которые создают новую картину мира! Перед ней же распадутся в прах все суеверия и софизмы.

На высокой кафедре, разгоряченный речью, стоит Эннекен, чуть поодаль на другой. кафедре, меньшего размера — Бруно, внимательный и сосредоточенный.

— Дух человеческий, — продолжает Эннекен, — был прежде заточен в теснейшее узилище, откуда мог только через щели глядеть на небо. Но, осознав собственное могущество, он отваживается на полет в бесконечность. Рушатся сферы, придуманные безумием философов и математиков. Исследования, которые ведутся одновременно чувствами и разумом, несут прозрение слепцам. Учение о бесконечности и единстве вселенной дает нам истинное представление о природе. Если бы человек оказался на Луне или на каком-нибудь другом небесном теле, он нашел бы целый мир, который был бы хуже или значительно лучше нашего, — один из неисчислимых миров, движущихся в неизмеримом море эфира. Разум человеческий не сдавлен больше оковами фантастических сфер!

Он, Эннекен, убежден, что эти мысли в конце концов восторжествуют, хотя сейчас их повсюду и встречают хулой. Слепые не различают света, и если зрячий видит солнце, то надо ему верить. Никогда глупцы, сколько бы их ни было, не заменят одного мудрого.

— Так дозвольте, — воскликнул Эннекен, — по крайней мере сомневаться в правильности обычных представлений, пока не обсуждены еще наши взгляды! И пусть нам в этом не мешают выученики Аристотеля, которые чем больше уступают в проницательности своему наставнику, тем сильнее восстают против наших воззрений!

Большинство тех, кто участвует в публичных диспутах, — говорит Эннекен, — стремятся скорее победить и прославиться, чем обрести в споре истину. Я же выступаю с другой целью. Хочу, чтобы из нашего диспута каждая сторона вынесла назидание. В серьезных диспутах нередко бывает, что те, кто вначале увяз в величайших заблуждениях, постепенно от них исцелялись.

Эннекен призывал отказаться от предубеждений и посмотреть на мир глазами разума. Ноланец явился сюда, чтобы узнать, какими доводами можно его опровергнуть. Ничто так не вредит науке, как уверенность, что всё уже известно. Поэтому многие высокомерные ученые не терпят возражений и не углубляются в исследования. Согласимся на время, будто мы ничего не знаем и можем здесь кое-чему научиться. Попытаемся переубедить противника, тщательно взвесим его аргументы и по совести или укрепимся в своих взглядах, или вскроем их ложность.

Он призывал к объективности, а в ответ ему неслись оскорбительные реплики.

— Каждому должна быть предоставлена, — Эннекену трудно было перекричать шум, — свобода слова согласно принципу: «Выслушайте и другую сторону!» Поэтому прошу вас, высокоученые господа, при рассмотрении тезисов не выступать в роли людей пристрастных и фанатичных, а быть справедливыми судьями, чтобы не столь красноречием и пылом, сколь весомостью аргументов подтвердить ваше собственное мнение или разбить противоположное!

Когда Эннекен кончил и гул возмущенных голосов затих, воцарилось молчание. Кто встанет на защиту Аристотеля и сокрушит дерзкие тезисы Ноланца? В первых рядах сидели с каменными лицами университетские профессора. Вздорный король разрешил диспут, но это вовсе не значит, что кто-либо из уважаемых ученых снизойдет до спора с безбожным философом. Многозначительным и долгим было молчание. Наконец на кафедру поднялся какой-то молодой человек.

Это был Рауль Кайе, адвокат. Он начал свою речь вызывающе развязно. Почему никто из профессоров не пожелал выступить? Да потому, что все они находят Ноланца недостойным ответа!

Кайе изощрялся в оскорбительных выпадах против Бруно. Он считает своим долгом оградить Аристотеля от клеветы, которую возводит на него Ноланец. Велеречивый адвокат говорил очень длинно. Воистину чем меньше доводов, тем пространней речи! Он приводил известные всем Аристотелевы тексты, обильно цитировал его толкователей, блистал эрудицией. Достойный выученик парижских схоластов! Его подбадривали приветственными возгласами и аплодисментами. Молодчина, Кайе!

Странные вещи происходят на этом публичном диспуте! С бранью по адресу Бруно выступает не какой-нибудь отъявленный приверженец Лиги или рьяный кальвинист, а один из «политиков» — тот самый Рауль Кайе, что, очаровавшись «Надгробным словом» Дюперрона, посвятил ему сонет. Дюперрон не имел ничего против, чтобы его считали духовным наследником Ронсара. Благоволение этого влиятельного вельможи позволило Кайе отказаться от адвокатских занятий. Разве без ведома своего покровителя он бы осмелился нападать на Ноланца? Или, может быть, и само разрешение на диспут было дано не без задней мысли? Венсеннская академия мстила человеку, который с явным вызовом называл себя «Академиком ни одной из академий»? Видно, ноланская философия была и для «политиков» слишком радикальной!

Длинная речь Кайе веских аргументов не содержала, но изобиловала грубостями. Оратор лез из кожи вон, чтобы заставить самого Бруно ввязаться в спор. Но тот не поддавался. Волнуясь, стоял он на своей кафедре и слушал. Юнец, ничего не понимающий в философии, под одобрительные возгласы присутствующих называл Бруно суетным бахвалом, который злонамеренно оболгал Аристотеля. По существу представленных тезисов ничего сказано не было. А профессора, ответившие на положения Ноланца презрительным молчанием, теперь изо всех сил поощряли издевательские наскоки Кайе.

Они старались истощить его терпение. Но Джордано устоял. Отвечать Кайе он предоставил Эннекену. Бруно хорошо знал условия диспута и видел, чего добиваются враги. Вступать в спор он имел

право только в том случае, если бы его ученик оказался припертым к стенке. Тезисов Ноланца Кайе ни в какой степени не поколебал. Поэтому брать самому слово значило признать неспособность Эннекена и умелость его оппонента.

Без особого труда Эннекен разбил аргументацию противника. Это вызвало новый взрыв злобы. Ему не давали говорить. Такой ответ их не удовлетворяет! Пусть, наконец, раскроет рот его отмалчивающийся наставник!

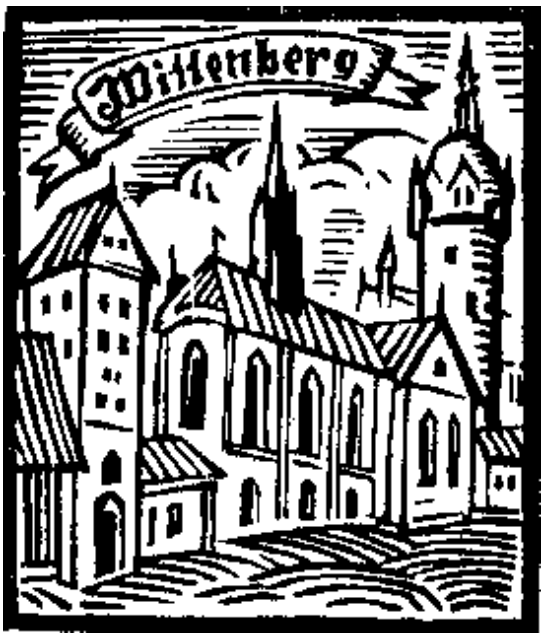
Кайе снова вызывающе и нагло кричал с кафедры. Пусть Ноланец не прячется за спину своего ученика, а отвечает сам! Со всех сторон на Бруно сыпались оскорбления. Вот вам и ученый диспут в первом университете мира, долженствующий разрешить важнейшие философские проблемы!

Джордано повернулся и пошел к выходу. Вдогонку ему несся рев возмущения. Многие повскакали со > своих мест. Он не успел выйти, когда его окружила беснующаяся толпа. Школяры, науськанные профессорами, преградили ему дорогу. Они заставят его отречься от клеветы, которую он возвел на Аристотеля!

С великим трудом удалось Ноланцу вырваться из их рук.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В ГЕРМАНИИ



Когда-то он шутливо писал о Германии как о стране беспробудных пьяниц, «милой и славной стране, где щитами служат тарелки, шлемами — кухонные горшки и посуда, мечами — кости, — воткнутые, точно в ножны, в соленое мясо, стране, где погребков, харчевен и трактиров больше, чем самих домов». Но Бруно знал, что у немцев есть много ученых, хорошие университеты, превосходные типографии. Поспешно уехав из Парижа, он направился в Германию.

После заключения Аугсбургского религиозного мира, положившего конец долгим войнам между католиками и протестантами, в немецких землях воцарилось относительное спокойствие. Принцип «чья страна, того и вера» восторжествовал: территориальные князья добились полной независимости в вопросах религии. До подлинной терпимости было еще очень далеко, религиозная борьба продолжалась, но теперь по крайней мере фанатичные правители не бросали в сражения полки наемников, чтобы утвердить истинность своей веры.

Около двух недель Бруно провел в Майнце. Ни там, ни в лежащем поблизости Висбадене заработка он не нашел и поехал дальше. В Марбурге, в университете, его вначале приняли хорошо. 25 июля 1586 года ученый-юрист Петр Нигидио, недавно избранный ректором, внес его имя в университетские списки. Но едва Бруно объявил о своем намерении читать публичные лекции по философии, как ему тут же ответили отказом. Философский факультет разрешения на лекции не дал. Что произошло? Кого испугала его. громкая слава? Кто-то разведал о его прежних столкновениях с защитниками общепринятых мнений? Подняли голос церковники? Чем объяснить это внезапное запрещение? Ему отвечают: «серьезными причинами». А что это за причины?

Джордано явился в дом к ректору и потребовал объяснений. Тот попытался юлить. Бруно возмутился. Хорош же ректор, который позволяет нарушать элементарные права иностранцев-ученых, поступает вопреки всем традициям германских университетов и совершенно пренебрегает высочайшими интересами науки! Нет, членом такой академии Ноланец больше не желает числиться!

Разгневанный, он тотчас же уехал из Марбурга. Теперь путь его лежал в Саксонию. Виттенберг, оплот лютеранства, славился своим университетом.

В Виттенберге Бруно повезло. Он встретил профессора Альбериго Джентиле, которого хорошо знал в Англии. Тот прибыл к саксонскому курфюрсту с дипломатическим поручением и остался преподавать. Джентиле помог Бруно обосноваться в университете. Ему разрешили прочесть курс по «Органону» Аристотеля.

В то сырое октябрьское утро туман, как назло, долго не поднимался. Сидней нервничал. Год в Нидерландах был не из легких. Лестер, милый дядюшка, оказался на редкость бездарным полководцем. Одержимый честолюбием, он делал глупость за глупостью, мало думал о войне, наслаждался пирами и празднествами, щедро одарял актеров и не выплачивал солдатам законного жалованья. Среди союзников царил разброд. Меж тем испанцы захватывали одну крепость за другой. Англичане не снимали осады Зютфена в надежде, что голод заставит гарнизон сдаться. И вот теперь под прикрытием тумана испанцы двинули к городу обоз с провиантом и отряд пехотинцев. Им ни за что нельзя позволить добраться до ворот Зютфена!

Сидней поскакал в поле. Когда туман рассеялся, картина, открывшаяся взору, не предвещала ничего хорошего. Противник явно

превосходил те небольшие силы, которыми располагали англичане. Но Филипп решил нападать. Битва обещала быть жаркой. Увидев, что друг его из-за недавнего рачения носит только легкие латы, он снял с себя часть доспехов. Опасность для всех должна быть равной!

Филипп бесстрашно бросился на врагов и показал образец отваги. Под ним сразили коня. Он еще мечтал о победе, когда пуля раздробила ему бедро, укрытое прежде бронею. Сидней думал не о ране — его тревожил исход сражения. Смелость не принесла англичанам успеха. Испанцы со своим обозом пробились в Зютфен.

Рану вначале сочли неопасной. Филиппа из-за потери крови томила жажда. Он попросил пить. Поднесли фляжку. Неподалеку стонал умирающий солдат. «Отдайте воду ему, — сказал Филипп, — он страдает сильнее меня!»

Гангрены избежать <не удалось. Но и на смертном одре Филипп не потерял присутствия духа. Превозмогая боль, он еще две недели сочинял стихи и беседовал о любимом Платоне. Останки его привезли на родину. Похороны были обставлены с необыкновенной пышностью. Заслуги Сиднея превозносили до небес. Торжественность траурных церемоний кое-кому из маловеров казалась нарочитой. Только что Марии Стюарт отрубили голову. Теперь с великой помпой хоронят героя, погибшего на королевской службе. Чего это ради Елизавета велела посмертно так чествовать Филиппа Сиднея? Не для того ли, чтобы распалить патриотические чувства своих подданных накануне решающих схваток с испанцами?

Кумиром Виттенберга был не Стагирит, а Лютер. Духовный вождь немецких протестантов, теолог до мозга костей, он пренебрежительно отзывался о философии и Аристотеля величал Дуристотелем. Поэтому лютеране не питали особой непримиримости к критике Аристотелевых учений. Бруно не замедлил этим воспользоваться, чтобы, продолжая полемику с перипатетиками, распространять свои собственные взгляды. Круг его преподавания расширился. От лекций по логике Аристотеля и Луллиеву искусству он перешел к лекциям по философии. Уделял много места математике и физике, пропагандировал учение Коперника. Слушать его приходили и профессора. Аудитории, где он читал, были всегда полны. Многие студенты с энтузиазмом воспринимали его идеи. Среди окружавших его учеников были немцы из разных частей Германии, венгры, силезцы. Когда Ноланец читал философию, другие аудитории оставались почти пустыми. Курс его приносил весьма

заметные результаты: лекции по богословию посещались плохо. Студенты приходили на них с опозданием или по принуждению.

Начались интриги. Недоброжелатели и завистники не останавливались перед клеветой. Бруно сдерживался. Но долго они еще будут искушать его терпение? Его занятия в университете шли своим чередом. Недовольство, высказываемое у него за спиной, не привело к запрещению лекций. А ситуация в Виттенберге не очень-то благоприятствовала каким-либо проявлениям вольнодумства. Преемник курфюрста Аугуста, Христиан I, погряз в беспробудном пьянстве. Власть в Саксонии все больше прибирал к рукам его родственник, Иоганн Казимир, отъявленный кальвинист и деспот. Он ненавидел всякие мудрствования и считал, что даже выступления богословов-лютеран против доктрин Кальвина не должны быть терпимы.

Сравнительно хорошее положение, занимаемое Бруно в университете, избавило его от необходимости искать случайных заработков. Он имел возможность отдавать много времени новым трудам. Замысел его был огромен: учения свои он хотел изложить в нескольких написанных по-латыни философских поэмах. Лукреций служил ему образцом. Изданные прежде итальянские диалоги имели ограниченный круг читателей. Если он хотел познакомить ученых разных стран Европы со своими идеями, то писать ему следовало по-латыни.

Поэму «О безмерном и неисчислимых или о космосе и мирах» он начал еще в Лондоне. Речь шла не о том, чтобы передать латинскими стихами мысли прежних сочинений. Если в диалогах «О бесконечности, вселенной и мирах», споря с Аристотелем, он основывался главным образом на собственных философских соображениях и выводах, полученных в результате изучения Коперника, то теперь он расширил свои аргументы, опираясь на новейшие успехи астрономии. К умозрительным доводам прибавились факты, добытые опытным путем.

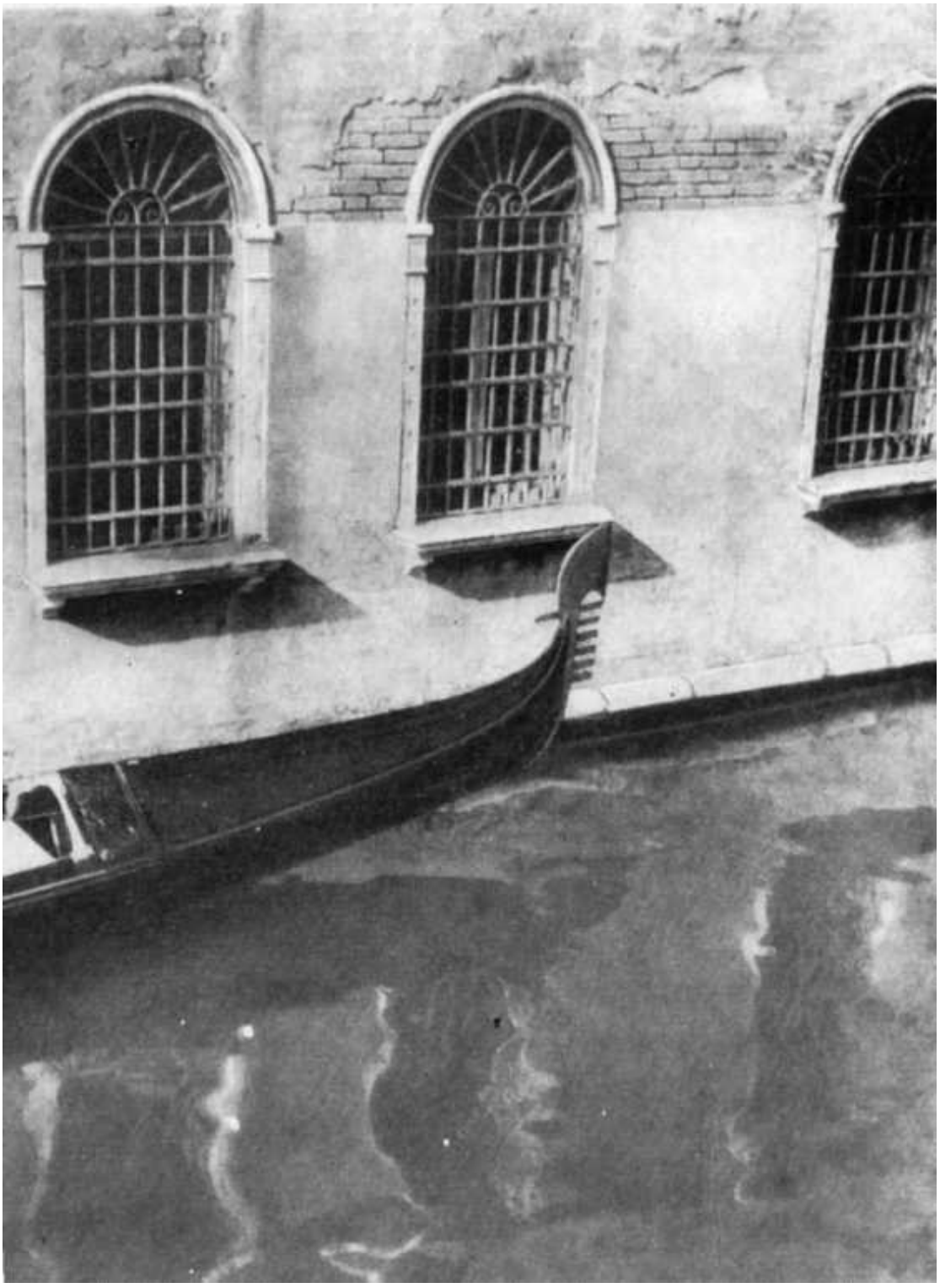
Разумеется, Бруно и здесь самым подробным образом разобрал все аргументы перипатетиков, выдвинутые против мысли о бесконечности вселенной и множественности миров. Он не только опровергал доводы Аристотеля, но и его латинских и арабских комментаторов.

В Виттенберге оживленно обсуждали успехи астрономии. Переписка с учеными Кассельской обсерватории и Уранибурга позволяла узнавать о результатах наблюдений задолго до их опубликования. Бруно с огромным интересом относился к работе

Вильгельма Гессенского и Христофора Ротманна, Тихо Браге и его помощников. Он называл Браге князем астрономов. Бруно был в курсе той полемики, которая развернулась вокруг вопроса о новых звездах и кометах. Он испытывал большую радость — наблюдения виднейших астрономов Европы подтверждали правильность его учения о вселенной!



Венеция, Дворец дожей.



Венеция.

В ноябре 1572 года в созвездии Кассиопеи была замечена новая яркая звезда. Исследования Тихо Браге показали, что она находится намного дальше от Земли, чем Луна. Ее было видно шестнадцать месяцев, потом она исчезла. Один из помощников Тихо; Браге осенью 1585 года опять обнаружил новую звезду. Противопоставление неба земле привело Аристотеля к тому, что он разделил вселенную: находящееся выше Луны объявил вечным и нетленным, а существующее в «подлунном мире» — подверженным изменениям и гибели. Но можно ли было теперь, следуя за Стагиритом, уверять, что изменения происходят только в «подлунном мире», а небо всегда остается одним и тем же? Выходит, и в области фиксированных звезд не все вечно? Там довольно часто появляются и исчезают неведомые прежде небесные тела.

Еще в Англии в диалогах «О бесконечности, вселенной и мирах» Бруно критиковал учение Аристотеля о кометах. Тот относил кометы и метеоры к «подлунному миру» и отвергал возможность их космического происхождения. Бруно же считал кометы небесными телами и подчеркивал, что они не' движутся вокруг Земли, а обладают своим собственным движением. Благодаря этому комета, будучи своего рода звездой, «приближается к нам и отдаляется от нас, и, по мере того как она приближается, нам кажется, что она растет и как бы вспыхивает, по мере же того как она отдаляется, нам кажется, что она уменьшается и как бы гаснет». Вопрос о природе комет Бруно обещал разобрать подробнее, и теперь он выполнил обещание, использовав новые факты. Тихо Браге, наблюдая за кометой 1577 года, доказал, что она двигалась за пределами «подлунного мира». Это, по мнению Бруно, совершенно опровергало мысль Аристотеля, будто кометы и метеоры рождаются в верхних слоях атмосферы.

Одну из глав поэмы Джордано посвятил восторженному прославлению Коперника. Вспоминал, как в юности держался доктрин, защищаемых целой когортой ученых разных народов. Вспоминал, как усомнился в правильности общепринятых взглядов и как с помощью математики смог оценить Коперниковы аргументы. С великой радостью узнал он тогда, что Коперник тоже был увлечен пифагорейским учением о движении Земли!

Бруно писал о бесконечности вселенной, а то и дело вспоминал маленькую деревушку поблизости от Нолы, Счастливую Кампанью, годы детства. Везувий щитом огромного своего тела отечески защищает

любимый край от вторжения суровых ветров. Прекрасная Чикала ведет спор с могучим Везувием…

Душою изгнанник был на родине. Мечта о благословенной Италии скрашивала годы, прожитые под чужим небом.

Луллиево искусство и в Виттенберге находило горячих поклонников. Лекции Бруно собирали большую аудиторию. Они частично вошли в два подготовленных к печати трактата «О Луллиевом комбинаторном светильнике» и «О движении вперед и ловчем светильнике логиков».

Движение вперед — это погоня за истиной. Мир познаваемого — это огромный, труднопроходимый лес, человеческий разум — охотник, убегающая лесная дичь — истина. Логика — великолепное оружие при охоте за истиной!

Обе эти работы были изданы в 1587 году. Первой из них было предпослано пространное обращение к ректору и сенату Виттенбергского университета. Он не хочет быть неблагодарным. Здесь его с самого начала приняли как коллегу, с таким гуманным радушием, *!то он никогда не чувствовал себя чужаком. Бежавший из Франции из-за волнений, он явился сюда без княжеских рекомендаций, без громкого имени, без каких бы то ни было знаков почета. Его не спросили Даже, какого он исповедания. Это так не вяжется с обычаями варварски нетерпимых педантов, из-за которых не только небо, но и земля, место хищения всех людей, или совершенно закрыты для иноверцев, или открыты на тяжелых и унизительных условиях.

Им же было достаточно преисполняющего Ноланда духа человеколюбия и звания философа, чтобы включить его в состав академии, разрешить и частное преподавание и публичные лекции. Это тем более удивительно, что он сообразно с темпераментом, из любви к своим мыслям часто излагал многое такое, что отвергалось не только ценимыми в Виттенберге философами, но и на протяжении столетий почти всем светом.

Здесь не привыкли отводить философии видного места и больше пекутся, чтобы в ее изучении блюлась бы мера. Здесь не любят, когда студенты увлекаются новизной. Да и философию рассматривают как часть физики, которая скорее согласуется с католической теологией, чем с христианской простотой и набожностью, ценимой превыше всего.

Тем поразительнее их отношение к нему! Он проповедовал мысли, которые прежде в Тулузе, Оксфорде и Париже встречались криками и

шумом, мысли до сих пор не признанные, на первый взгляд пугающие и абсурдные.

Но здешних университетских мужей, правда, всегда сильнее заботила благочестивость, чем философские искания. Они считают неподобающим, чтобы студенты долго задерживались в сенях философии и из-за этого совсем не появлялись в храме богословия или появлялись против воли. А это легко случится, если восторжествуют новые учения и люди попытаются искать непроторенные тропки.

Однако достохвальные виттенбержцы не уподобились иным варварам, не выказали презрения, не скалили зубы, не колотили крышками пюпитров, не напускались на него с яростью схоластов. Какая гуманность! Их поведение — воплощение мудрости.

Они ничем не запятнали своего гостеприимства и дозволили академическим свободам сверкать в полном блеске. Радушию они не изменили. Интриги клеветников были напрасны. Чем он, несчастный, может их отблагодарить? Воздаст им по-настоящему за их добро только господь на небесах, он же, Ноланец, в состоянии принести им лишь скромный дар — свой вклад в «искусство изобретения».

Поименно обращался Бруно к профессорам, напыщенных слов не жалел, для каждого находил звучные обращения, яркие комплименты, громкие эпитеты.

Ректора как председателя высокого сената поспешил заверить, что Ноланец не так уж глуп, дабы считать свою книгу достойной внимания столь благородной компании. Пусть примут только его посвящение. Работу свою он преподносит им не для серьезной оценки. Он будет доволен, если они, лишь взглянув на титульный лист, тут же отложат в сторону его сочинение, этот знак его почтительной благодарности.

Налет иронии был чуть ли не в каждой фразе. В ту пору и в похвале и в поношениях не знали меры. Преувеличения никого не удивляли. Панегирики звучали иногда как пародия. Легко ли приметить ту грань, где искреннее восхищение, вылившееся в потоке безудержных восхвалений, обращается в свою противоположность, а похвальное, слово звучит опаснее иного осуждения?

Он использовал любую возможность, чтобы будить дремлющие души. Даже в лекциях, посвященных Луллиеву искусству, говорил о вечности мира и бесконечности вселенной. Мог ли он не вызвать неприязни у людей, которые высмеивали Коперника и отказывались признать реформу календаря?

Бурный исход диспута в Коллеж де Камбре, разумеется, не отбил у него охоты и дальше настаивать на правильности своих воззрений. Еще в Париже он заявлял о желании познакомить со своими взглядами «все академии Европы». Теперь он работал над книгой, в основу которой были положены «Сто двадцать тезисов о природе и мире». Он снабдил их развернутой аргументацией. Поместил там же письмо к Генриху III, к Филезаку и текст вступительной речи Эннекена. Брошюрка превратилась в целую книгу. Он дал ей замысловатое заглавие: «Камероценский акротизм»[13].

Обстановка в Виттенберге накалялась. Воинственные кальвинисты набирали в Саксонии все больше силы. Борьба партий обострилась до крайности. Она затронула и университет. Люди, которые благоволили к Ноланцу, теряли влияние. Тон начинали задавать кальвинисты, совершенно нетерпимые к новым идеям. Бруно стал подумывать об отъезде.

8 марта 1588 года он обратился к Виттенбергскому университету с «Прощальной речью». Он превозносил до небес успехи просвещения и призывал не считать больше немцев варварами. Они весьма продвинулись вперед в культуре и образованности. Мудрость, обитавшая когда-то среди египтян, халдеев, греков, обрела теперь в Германии новую родину.

Он воздавал должное светлым умам. Кто может сравниться с Николаем Кузанским? Тот превзошел бы самого Пифагора, если бы ряса не мешала его гению!

Бруно отметил большой интерес к астрономии, разделяемый многими людьми, в том числе и императором Рудольфом. С великой похвалою отозвался о наблюдениях ландграфа Вильгельма Гессенского. Конечно, не мог обойти молчанием и разумнейшего Коперника, который в немногих главах сказал больше о природе, чем Аристотель и все перипатетики, вместе взятые!

Не упустил Бруно случая обрушиться и на католическую церковь. Он в высокопарных выражениях возвеличивал Лютера за то, что тот осмелился восстать против римского чудовища, которое своим ядом отравляло весь мир.

Не пожалел выспренних фраз, чтобы прославить лучший в Германии Виттенбергский университет. Почти два года тут внимали его диковинным лекциям, хотя он и казался им безумцем. Вот и теперь ему

оказана величайшая честь: не только студенты, но и высокоученые доктора почтили его своим присутствием. Им, светочам науки, звездам на ее небе, высказывает он свою признательность.

Он прощался с лесами, где любил размышлять, и реками, по берегам которых бродил…

Вслед за «Прощальной речью» виттенбергский типограф Захарий Кратон выпустил в свет и «Камероценский акротизм». «Прощальная речь» могла оставить впечатление, что Бруно, собираясь уезжать, испытывал чувство благодарности и даже грусть. Но по собственной ли воле покинул он Виттенберг? После того как он усладил виттенбержцев риторическими красотами своей «Речи», произошли события, изменившие весьма существенно картину идиллического расставания. И, вероятно, не последнюю роль в этом сыграло издание «Камероценского акротизма».

Джордано предпочитал не разглагольствовать об истинных мотивах отъезда. Но пять лет спустя человек, с которым Бруно был близко знаком, вспоминал, что слышал в Германии, будто Ноланец, слывший еретиком, хотел из своих последователей учредить философскую секту в Саксонии и был оттуда изгнан.

Рудольф II, император Священной Римской империи, король венгерский и чешский, всегда считался щедрым покровителем ученых. Он любил естественные науки, питал слабость к живописи, собирал произведения искусства для своей галереи и всякие редкости для кунсткамеры. В одном из его пражских дворцов была оборудована обсерватория и отведены особые покои для алхимиков. Двор Рудольфа II отличался пышностью. У него одно время гостил Филипп Сидней, когда на пасху 1577 года прибыл с посольством, чтобы от имени Елизаветы поздравить его с восшествием на императорский престол.

Об интересе Рудольфа II к наукам Бруно слышал давно. Он знал, что тот весьма неравнодушен к астрономии. Рассказывали, что Рудольфу был чужд фанатизм. Он любил широкие жесты и даже не боялся некоторого вольнодумства. Лейб-медиком у него служил неаполитанский врач Джованни Мариа делла Лама, покинувший родину из-за религиозных преследований. Узнав об этом, папа Сикст V послал императору суровое предостережение: опасно и несовместимо с верой пользоваться услугами беглеца, подозреваемого в ереси. Увещевание папы Рудольф пропустил мимо ушей и продолжал благоволить к своему искусному медику, Бруно решил ехать в Прагу, где император проводил

большую часть времени. Город был одним из крупнейших культурных центров Европы. Его древний университет приобрел широкую известность.

В Праге Джордано, как и в других местах, начал е испытанного средства, которое позволяло ему привлечь к себе внимание и заработать немного денег. Он снова обратился к Луллиеву искусству. Бруно переиздал «Комбинаторный светильник», добавив к нему работу «Об отыскании понятий», новый комментарий к «великому искусству» Луллия.

Вскоре после этого он напечатал «Сто шестьдесят тезисов против математиков и философов нынешнего времени». Упрекая математиков в том, что они в философском отношении по-прежнему пленники Аристотеля, а философов в том, что они не уделяют должного внимания математике, Бруно излагал, помимо основной своей философской концепции вселенной, и собственные воззрения на геометрию. В формировании его математических взглядов имели решающее значение теории Николая Кузанского. Бесконечно большой треугольник, уверял Николай Кузанский, превращается в бесконечную прямую, окружность с бесконечно, огромным радиусом становится прямой.

Однако увлечение мыслями Николая Кузанского о совпадении противоположностей и страсть к широким обобщениям являлись причиной того, что Бруно подчас в пылу полемики недооценивал ряд достижений математиков. Он, например, отрицательно от носился к тригонометрии и был решительно против тех соображений, которые привели в дальнейшем к исчислению бесконечно малых величин, ибо отвергал мысль о бесконечной делимости и утверждал, что в математике, как и в природе, существует неделимый минимум.

«Сто шестьдесят тезисов» были посвящены Рудольфу II. Во вступительном письме Бруно снова ополчился против нетерпимости и предубеждений. Если мы способны отличить свет от тьмы, то почему до сих пор все сильнее разгорается давняя распря, заставляющая поколения людей ожесточенно враждовать? Каждый чем больше бредит, тем больше убежден в своем превосходстве. Идущий ощупью считает своих ближних за слепых. Повсюду плодятся различные секты, учащие на тысячу различных ладов. Их апостолы, словно адские фурии, только разжигают в народе огонь несогласия. Чтобы доказать правоту своей веры, люди хватаются за мечи. Попирается высший закон — закон человеколюбия. Как будто не для всех одинаково восходит солнце!

Бруно опять — в какой раз! — повторял, что в философии нельзя быть рабом чужих мнений. Истину надо узреть собственными глазами. В философском граде наш долг бороться с тиранией предубеждений.

Он, Ноланец, всегда бесстрашно провозглашает истину и не стоит в стороне от борьбы света с тьмою, науки с предрассудками. Поэтому-то он постоянно мишень клеветы и ненависти. Он испытывает на себе гнев глупой толпы и ярость академиков, этих ученых отцов невежества. Но он, поддержанный истиной, выходит победителем из сражений.

Книга, посвящаемая императору, лишь одна из многих, которые он может ему предоставить, если тот благосклонно примет его скромный дар.

Рудольф принял книгу благосклонно. Бруно вручили триста талеров. На большее рассчитывать не приходилось. Любовь Рудольфа II к наукам носила специфический характер. Астрологические предсказания влекли его куда сильнее, чем философия. Он постоянно испытывал нужду в деньгах и не оставлял мысли, что сразу же поправит свое финансовое положение, как только раздобудет секрет получения золота. Когда до него дошли слухи, что Джамбаттиста делла Порта владеет тайной «философского камня», он тут же направил ему заискивающее письмо. Вот если бы Ноланец занимался не рассуждениями о вселенной, а алхимией, то император принял бы его с распростертыми объятиями!

Надежда, что Рудольф действительно стремится покончить с религиозными распрями, тоже оказалась тщетной. Сумасбродный монарх то даровал протестантам свободу исповедания, то благословлял засилье католических попов. Иезуиты все больше и больше подчиняли его своей власти. Нет, в Праге Ноланец не чувствовал себя особенно уютно. Придворным математиком Рудольфа был Фабрицио Морденте.

Этой поразительной новости многие вначале не хотели верить. Огромнейший испанский флот, хвастливо нареченный «Непобедимой армадой», рассеян и уничтожен! Больше половины судов и три четверти людей не вернулись на родину!

Годами Филипп II вынашивал мысль о вторжении в Англию. Ревностный католик, он часто говорил о своем желании уязвить ересь в самое сердце, низвергнуть Елизавету, возвратить англичан под власть Рима и лишить протестантов их главной опоры. Эти благочестивые побуждения становились тем настойчивее, чем больше диктовались интересами политики, Филипп не мог мириться с растущим могуществом Англии. Елизавета посылает свои войска в Нидерланды,

чтобы помешать ему, Филиппу, карать отступников и мятежников! А разве казнь Марии Стюарт не вызов всему католическому миру?

Еще недавно испанцы чувствовали себя повелителями морей, а теперь повсюду грабят их корабли. Англичане больше — не довольствуются налетами на колонии в Новом Свете — они нарушают покой испанских берегов. Дерзость Дрейка приводила Филиппа в ярость. Тот осмелился нежданно-негаданно заявиться в Кадис, прямо в гавани сжег несколько десятков кораблей, по дороге домой пустил ко дну еще добрую сотню и потом бахвалился, что-де подпалил бороду самому Филиппу!

Король приказал ускорить подготовку к вторжению. Давно уже на фландрских верфях строились плоскодонные суда, предназначенные для переброски войск из Нидерландов через Ла-Манш. В портовых городах Испании и Португалии снаряжались тяжелые боевые корабли. Филипп не сомневался в успехе: в мире нет силы, которая устояла бы перед его «Непобедимой армадой». Сто тридцать кораблей, двадцать тысяч солдат, помимо матросов, почти три тысячи пушек!

Английские шпионы подробно доносили правительству о ходе приготовлений. Филипп действовал с благословения папы и надеялся, что как только его солдаты высадятся в устье Темзы, католики, подданные Елизаветы, восстанут против «узурпаторши» и поспешат им на помощь. Но Филипп просчитался. Мало кто из англичан видел в нем грядущего освободителя. Для большинства он был иноземным тираном, который покушался на свободу родины.

У Елизаветы не было таких сильных кораблей, как у Филиппа. Да и ее скаредность не помогала делу. Даже в минуту смертельной опасности она экономила на порохе и держала солдат на голодном пайке. Ее решения далеко не всегда отличались мудростью: командующим сухопутными войсками она опять назначила графа Лестера, «милого Робина», хотя он, бездарный полководец, и опозорился в Нидерландах. Англию спасла не королева и ее министры — сама страна поднялась на свою защиту. Города собирали деньги, созывали ополчение. Небольшие суда, принадлежавшие частным лицам, китобоям, купцам, пиратам, составили целую флотилию.

Эти подвижные, хорошо вооруженные корабли под командой опытнейших моряков сыграли главную роль. Во главе армады стоял человек, славный древностью рода и набожностью, но совершенно несведущий в морском деле. Действиями же английских моряков

руководили знающие и энергичные люди: Дрейк, Гаукинс, Фробишер, Роли.

В Ла-Манше ночью англичане напали на армаду. Их быстроходные суда легко маневрировали и, обстреляв неповоротливые испанские корабли, уходили из-под неприятельских ядер. Англичане избегали больших сражений и хотели уничтожить армаду по частям. Перья у испанцев надо выщипывать одно за другим! Армада попыталась укрыться в Кале. Под покровом ночи приблизился Дрейк и пустил свои брандеры на испанцев. Те в панике обрубили якорные канаты и понеслись в море. Ветер разметал корабли. И тут как тут снова появились англичане.

Командир армады имел приказ забрать из портов Фландрии войска, которые под его защитой должны были быть переброшены в Англию. Глубокая осадка тяжелых кораблей не позволяла им подойти к берегу, а плоскодонные суда не могли двинуться навстречу армаде, так как были отрезаны морской блокадой голландцев. В довершение беды разразилась буря. Англичане укрылись в своих гаванях, испанцы остались во власти стихии. Когда буря несколько утихла, на изрядно потрепанные корабли опять налетели англичане.

Армаду относило ветром на север, и испанцы думали уже не о победе, а о спасении. На родину можно было возвратиться, обогнув Британские острова. Новый страшнейший шторм настиг армаду в местах, опасных и для опытных флотоводцев. Десятки кораблей разбились о скалы, тысячи солдат и моряков утонули. Из тех, кому посчастливилось добраться до суши, многих прикончили прибрежные жители, иные угодили в неволю.

Огромной флотилии, которую так преждевременно окрестили «Непобедимой армадой», больше не существовало. Филиппу II, недавно еще грозному повелителю океанов, стало трудно защищать собственную страну от налетов вражеских кораблей. Неужели кровавая комета, что несколько лет назад наводила на людей ужас, и впрямь предвещала закат Испанской монархии?

В конце 1588 года Бруно уехал из Праги. Привлеченный славой Юлианской академии, он направился в Хельмштедт. Здесь находился самый молодой из немецких университетов. Созданный двенадцать лет тому назад, он успел заслужить хорошую репутацию. Его основатель, герцог Юлий Брауншвейгский, был одним из интереснейших немецких князей того времени. Испытав в юности жестокую тиранию самодура

отца и католических священников, он, протестант, на всю жизнь возненавидел папистскую веру. Придя к власти, он развернул бурную деятельность. Когда соседние правители растрачивали жизнь в охотах и пирах, герцог Юлий закладывал новые рудники, соляные копи, каменоломни, развивал металлургию, поощрял ремесла. Он пытался сохранить уничтожаемые леса и запретил кузнецам использовать древесный уголь. Сам подолгу колдовал над тиглями — изучал, правда, не одни руды, искал и «эликсир жизни». В своих владениях он дал восторжествовать терпимости, прекратил религиозные столкновения и положил конец засилью духовенства.

Основывая университет в Хельмштедте, Юлий делал упор на естественные науки и не жалел денег. Пригласил отличных профессоров, заложил большой ботанический сад, возвел специальное здание для занятий по заветам Везалия тогда еще столь подозрительной анатомией. Заказал хирургический инструментарий в Нюрнберге, а скелеты выписал из Парижа.

С самого начала так поставил дело, что теологи, обычно задававшие в университетах тон, занимали в Юлианской академии весьма скромное место. Герцог даже обязал своих советников следить за тем, что пишут в богословских трактатах. Превосходнейший университет! 13 января 1589 года имя Бруно, «итальянца из Нолы», было внесено в списки членов Юлианской академии.

Преподавание оставляло ему время и для работы над латинскими поэмами. Джордано писал «О трояком наименьшем и мере». Он говорил о наименьшем в трех смыслах: в физическом смысле минимум — это атом, в математическом — это точка, в метафизическом — это монада. Но подчеркивал, что в природе не существует трех минимумов, а есть только один троякий минимум, к которому все сводится. Минимум — это субстанция всех вещей, неизменная, неуничтожимая, существующая вечно.

Бруно развивал атомистическую теорию строения вселенной. Отдавая должное Демокриту и Эпикуру, он, однако, не соглашался с их учением о пустоте. Атомы не находятся в пустоте. Они соединены материальным эфиром. Если бы не было эфира, то из роя атомов ничего бы не могло возникнуть. Атомы не проникают один в другой, не смешиваются, а только соприкасаются. Движет ими не какой-то внешний двигатель, а присущая им жизненная сила. Соединение и

разъединение, происходящие в эфире, имеют место и в мельчайших вещах и в огромнейших небесных телах.

Другая поэма, работе над которой Бруно уделял много внимания, называлась «О монаде, числе и фигуре». Она была задумана как обобщенное изложение его идей, развитых в прежних сочинениях.

3 мая скончался герцог Юлий. Страна погрузилась в траур. Люди разных сословий, сановники и крестьяне, выражали свою скорбь. Стояла непогода. Налетели бури, шли затяжные дожди. Казалось, само небо плачет по умершему.

Долго продолжались траурные торжества, предшествовавшие погребению. Профессора университета — медики, юристы, поэты и теологи — в стихах и прозе прославляли почившего правителя. Бруно тоже не остался в стороне. Он вызвался выступить и произнес «Утешительную речь».

Восторженно отзываясь о герцоге Юлии, Бруно особенно подчеркивал его ненависть к папистам. О себе говорил, что вынужден был покинуть родину из любви к истине — он едва избежал алчной пасти римского волка. Музы должны быть свободны. Но в Италии и Испании их попирают ногами гнусные священники, во Франции им грозят страшные опасности гражданской войны, в Нидерландах они страдают от волнений, во многих областях Германии ими пренебрегают. Здесь же музы наслаждаются покоем и свободой.

Джордано вложил в уста умершего герцога речь, обращенную к его любимому детищу — Юлианской академии и наследнику, Генриху Юлию. Герцог вспоминал то тяжелое время, когда подлая римская церковь мечтала его погубить, насылая на него коварнейших бестий поповского властолюбия. Обращаясь к сыну, Юлий наказывал, чтобы тот не возводил храмов идолам, не посвящал алтарей демонам, не строил келий для монахов.

Омерзительное чудище папистской тирании, изводящее мир своим ядом, отброшено за пределы страны. Да восславится меч, кровью его обагренный!

Уделяя основное внимание работе над латинскими поэмами, Бруно находил время и для изучения различных сочинений по оккультной философии. Он достаточно много повидал на своем веку всякого рода вещунов и чернокнижников, чтобы навсегда возненавидеть их мошеннические проделки и презирать людей, которые им поддаются. Еще в «Подсвечнике» подверг он их безжалостному осмеянию.

В древних книгах, посвященных магии, Бруно искал не рецептов успеха, не секретов, как с помощью нечистой силы добиваться влияния или находить зарытые в земле клады. В жизни он постоянно сталкивался с вещами, которые казались необъяснимыми. Отмахнуться от них, толковать как проявления божьей воли или как вмешательство дьявола? Бруно был убежден, что в природе существуют связи, еще не замеченные и не понятые людьми. Кое-что об этом знали египтяне и греки, они умели заранее различать едва уловимые приметы предстоящих перемен, умели пользоваться силами, которые большинством принимались за сверхъестественные. Потом эти знания были почти целиком утрачены.

В глубокой древности жили мудрецы, которые во многом, по мнению Бруно, превосходили современных ему ученых. Именно этих мудрецов, а не рыночных обманщиков и придворных шарлатанов, считал он истинными магами, то есть сведущими людьми, которые способны претворять в действия свои особые познания. Этим больше всего и интересовался Бруно в старых запретных книгах. Он понимал магию как науку, заключающуюся в умении предвидеть результаты естественных процессов и извлекать из этого пользу для людей.

Джордано издевался над составителями гороскопов, над попытками предсказать судьбу человека по расположению звезд в момент рождения. Но, высмеивая ловкачей астрологов, он не отказывался целиком от астрологии. Если всеобщая обусловленность явлений — непререкаемый закон природы, то как далеко простирается взаимное влияние небесных тел? Как происходящее на одном небесном теле влияет на другие? Связано как-то происходящее на Земле с движением других планет, с их расположением в бесконечном эфире? Может быть, древние звездочеты, изощренные в длительных и искусных наблюдениях, знали что-нибудь и об этом? Может быть, в некоторых книгах по астрологии тоже найдешь полезное?

Его постоянно интересовала взаимосвязь различных явлений. Почему железо притягивается к магниту? Чем вообще объяснить взаимную притягательность различных вещей? Что лежит в основе связей, воздействий, влечений? Какой таинственной силой своего духа одно живое существо привораживает другое? Почему от петушиного крика обращается в бегство лев? А кефаль, прикоснувшись к корпусу корабля, может его остановить? Чем объяснить способность некоторых врачей, действуя на расстоянии, приносить больному облегчение?

В природе все взаимосвязано. В каждом человеке и в каждой вещи есть жизненное начало, мировая душа. Магия позволяет находить эти связи между мировой душой и индивидуумом.

Бруно читал много сочинений по магии, делал обширные выписки. В его бумагах была куча самых различных сведений, от тонких наблюдений еще не объясненных явлений природы до известий весьма сомнительной ценности. Он верил в самозарождение, считал, что черви могут рождаться из грязи, был убежден, что многие минералы обладают целительными свойствами. Бруно и в демонах не видел ничего сверхъестественного: духи витают в воздухе так же, как «семена болезней».

Он, случалось, разделял заблуждения, почерпнутые из трактатов по магии, но главным оставалось иное: какими бы странными иногда ни были приводимые Бруно известия, он всегда рассматривал их как естественные явления, происходящие в силу определенных, хотя и не раскрытых еще закономерностей природы.

Вести из Франции будоражили всю Европу. Галлы подняли руку на помазанника божьего!

В то время когда Бруно был в Париже, Генрих III сохранял еще видимость власти, но продлилось это недолго. Положение с каждым днем становилось все напряженнее. Агитация сторонников Католической лиги падала на благодатную почву — королем недовольны были все, кроме его фаворитов.

В самой столице приверженцы Гизов приобретали все большее могущество, закупали оружие, собирали войско.

Вскоре дело дошло до открытой войны. Генрих III лелеял надежду, что его полководцы нанесут поражение гугенотам, а войска Гиза будут разбиты отрядами немецких рейтаров, вступившихся за протестантское дело. Но счастье изменило королю. В результате военных действий ослабли позиции только одного из трех Генрихов — его собственные.

Гизы подняли в Париже восстание. Королю пришлось бежать. Натиск католиков вынуждал его идти на уступки. Упоенный властью герцог Гиз вел себя так, словно был монархом. Король приказал заколоть герцога, а заодно и его брата, кардинала.

Эта расправа над Гизами вызвала в Париже взрыв возмущения. Фанатизм, разжигаемый католическими проповедниками, достиг предела. На алтарях, словно по совету Скарамурэ из «Подсвечника», ставились фигурки короля, пронзенные иголками. Пусть он быстрее

сгинет! Тысячи людей участвовали в процессиях. Они распевали псалмы, держа в руках зажженные свечи. По приказу одновременно гасили их и кричали: «Да погасит так господь династию Валуа!» На улицах плясали полуголые женщины, то ли фанатички, то ли специально нанятые блудницы. Пляски эти тоже должны были распалять толпу: «Да погасит господь династию Валуа!»

Войско короля терпело одно поражение за другим. Он, как утопающий за соломинку, ухватился за возможность примирения с Генрихом Наваррским. Тот со своей армией пришел ему на помощь. Объединив силы, они двинулись на Париж. Король обещал вернуться в столицу сквозь брешь, пробитую ядрами пушек, и он вернется! Приближалась развязка. С церковных кафедр Парижа неслись отчаянные призывы: «Где тот герой, орудие господа, кто, наконец, избавит несчастную страну от коронованного злодея?!»

…Вначале этого молодого, щуплого доминиканца не хотели пускать к королю. Речь шла о делах исключительной важности. Монах предъявил письмо знатных парижских буржуа, сторонников законного монарха, которых держали в Бастилии как заложников. Он-де уполномочен сообщить, через какие ворота осаждающие легче всего проникнут в город, но откроет это лишь королю. Монах производил впечатление человека недалекого, но честного. Спокойно отвечал на недоверчивые расспросы, с аппетитом поужинал, спал как убитый.

Утром его повели на аудиенцию. В накинутом на плечи халате Генрих Валуа, король французов, хворая животом, сидел на своем царственном стульчаке. Вокруг почтительно стояли придворные и стража. Генрих повелел всем удалиться. Посланец подошел совсем близко. Генриху не терпелось услышать тайное донесение, он даже привстал. Монах не упустил момента: выхватил из рукава нож — тот самый, которым за ужином невозмутимо резал мясо, — и-всадил в живот королю. «Проклятый монах, он убил меня!» — завопил Генрих, вырвал нож из раны и полоснул монаха по лбу. Вбежавшая стража вмиг его прикончила. Труп в распоротой кинжалами рясе вышвырнули через окно во двор.

Рана короля оказалась смертельной. 2 августа 1589 года Генрих III, последний Валуа, испустил дух.

Молодой герцог Генрих Юлий был человеком образованным, любил литературу и сам сочинял драмы. К Бруно он относился с благоволением. Но это не помешало врагам Ноланца начать против него

войну. Разве могут верующие люди терпеть его безбожие? Верховный пастор Хельмштедта настаивал на отлучении Бруно от церкви. Джордано обратился с негодующим письмом к ректору. Его хотят осудить, не выслушав!

Дело не стали доводить до крайности. Он остался в Хельмштедте. Несмотря на конфликт, Джордано, как всегда, был окружен студентами. Один из них, недавно поступивший в университет Иероним Беслер, родом из Нюрнберга, начал помогать ему в работе. Он то писал под диктовку, то приводил в порядок черновые заметки. Иероним усердно переписывал десятки страниц, посвященных магии. Здесь было как и то, что должно было послужить Ноланцу материалом для будущих исследований, так и то, что занимало его прежде, но было им отвергнуто. Показательно, что позже, когда Бруно получил возможность публиковать свои сочинения, ни одной из этих работ в печать он не отдал.

Джордано продолжал заниматься Луллиевым искусством. Сочинения Луллия по медицине его не удовлетворяли. Путаное и перегруженное подробностями изложение губило интересные мысли. Для того чтобы врачи, веками идущие по проторенной дороге Гиппократа и Галена, вняли новым идеям, эти — идеи должны быть прежде всего ясно изложены. Бруно решил составить трактат о медицине, положив в основу работы Луллия.

В описании тех или иных недугов он шел целиком за своим учителем, зачастую повторял его ошибки и приводил устаревшие факты. Он не ставил перед собой цель создать какой-нибудь справочник или компендиум. Оговаривался, что в его намерения не — входит заниматься практической медициной, его интересует лишь метод — приложение в медицине приемов Луллиева искусства.

Как поступает врач, если он не очень спешит отделаться избитым рецептом и начинает анализировать замеченные симптомы? Как он ставит диагноз? Он перебирает в уме симптомы и подыскивает известную ему болезнь, для которой характерны именно эти признаки. Он проверяет различные сочетания, комбинирует различные варианты. Иногда он делает это бессознательно и даже уверен, что необходимое целительное средство нашел по наитию. В излечении роль случайности огромна. А если учёный доктор упустил что-либо важное, чего-то не знает, что-то забыл?

Комбинаторное искусство применимо и здесь: Луллиевы круги помогут врачам точно устанавливать диагноз. Бруно разносит по концентрическим окружностям симптомы болезней. Определенное их сочетание указывает на определенный недуг.

Этой своей работе Джордано придает большое значение. Написанный раньше краткий вариант он считает слишком несовершенным. Он диктует Иерониму пространную редакцию, которая называется «Луллиева медицина, основанная частично на математических, частично на физических принципах».

Несмотря на благоволение молодого герцога, Бруно решил уезжать. У него накопилось много рукописей, которые следовало издать. Да и обстановка в Хельмштедте оставляла желать лучшего. Нападки верховного пастора принесли свои ядовитые плоды. Тайные происки против Ноланца продолжались.

Но отъезд откладывался. То не было попутных лошадей, то возница запрашивал непомерно высокую цену, которую при своих весьма ограниченных средствах Бруно не мог заплатить. Хорошо еще, что герцог подарил ему пятьдесят флоринов.

19 апреля 1590 года Генрих Юлий закатил торжество по случаю своего бракосочетания с Елизаветой Датской. Празднества были очень пышными. Вскоре после них Бруно вместе с Иеронимом покинул Хельмштедт.

Франкфурт-на-Майне! Излюбленный город книжников, толковые издатели, превосходные типографии, богатейшие ярмарки! Два раза в год, весною и осенью, съезжались сюда купцы чуть ли не со всей Европы. Из Италии везли шелка, из Франции галантерейные товары, из Нюрнберга — металлические изделия и инструменты. Лавки ломились от заморских товаров, сахара и специй, доставленных на континент голландскими моряками. Но особую славу Франкфурту составляли книги. Пальма первенства в печатном искусстве уже не принадлежала Италии: погоня издателей за легкой наживой, небрежность и множество опечаток приводили к тому, что итальянские писатели предпочитали отдавать свои сочинения в иностранные типографии.

Франкфуртские ярмарки называли ярмарками муз. Здесь выпускали каталоги книг, изданных в разных странах. Кварталы печатен и книжных лавок походили на огромную и многоязычную библиотеку.

В городе собирались не одни книготорговцы, приезжали профессора из Вены, Виттенберга, Лейпцига, Страсбурга, Парижа, Падуи,

Оксфорда. Во время ярмарки читали лекции и устраивали диспуты.

Одним из лучших издателей Франкфурта считался Андреас Вехель. Его книги были образцом типографской работы. Культурный и знающий человек, он слыл радушным хозяином и охотно предоставлял свой кров чужестранцам-ученым. Его гостеприимством пользовался и Филипп Сидней. Бруно не застал Андреаса в живых. Однако его наследники, Иоганн Вехель и Петер Фишер, хорошо встретили Ноланца и согласились опубликовать его рукописи.

Он обратился в магистрат с просьбой разрешить ему поселиться в доме Вехеля, пока будут печататься его работы. Ответ сверх ожидания был суров. Ему отказали. Особой вежливостью отцы города не отличались: пусть, мол, Ноланец где-нибудь в другом месте проедает свои денежки.

Но выход из положения был найден. Джордано остановился на подворье кармелитского монастыря, где обычно жили приезжавшие во Франкфурт иностранцы. Платить за его содержание обязались издатели, а он должен был следить за корректурами.

Вскоре он начал и преподавать. О нем говорили как о человеке универсальных знаний, но насчет его религиозных убеждений не сомневались: Ноланец не держится никакой религии! Пережитое не делало Бруно благоразумным. Даже с настоятелем монастыря он беседовал весьма откровенно.

Во время осенней ярмарки Бруно познакомился с двумя венецианскими книготорговцами, Джамбаттистой Чотто и Джакомо Бертано, которые поселились на том же подворье. Хотя Венеция и славилась наилучшими в Италии типографиями, туда, несмотря на противодействие святого престола, ввозили много книг из-за границы. Чотто и Бертано приезжали за товаром на каждую ярмарку и всегда жили у кармелитов. К Ноланцу они отнеслись с большим интересом

Он держал корректуры поэмы «О трояком наименьшем и мере», читал лекции, по, мнемонике и изучал «искусство прорицания». Философия должна стать действенной силой, преобразующей мир. Для истинного философа одной мудрости мало. Самоотверженный Героический энтузиаст обязан воплощать свои мысли в дела. Он должен уметь предвидеть. Бруно изучает трактаты, посвященные «искусству прорицания». Где границы и каковы возможности предвидения?

Попытки объяснить исполнившиеся предсказания наитием свыше, божественным откровением или вмешательством святых угодников злят его. Здесь невежество идет рука об руку с обманом. Жрецы издавна наблюдали за природой, собирали приметы, вели исчисления. Они знали, когда наступит то или иное явление, а ссылались на знамения богов. Предсказание солнечного затмения выдавали за чудо.

Джордано рассматривал каждую науку как определенную совокупность выявленных связей, реально существующих в природе. Одни и те же логические законы применимы, по его мнению, к различным наукам. «Искусство прорицания» Бруно понимал совсем не так упрощенно, как многие его современники, которые иногда мало чем отличались от уличных гадателей. Не демоны, послушные воле мага, а человеческий разум открывает необозримый простор для предвидения. Чем больше закономерностей природы заметят и осмыслят люди, тем больше явлений смогут они предвидеть. Искусный врач предскажет судьбу больного, если верно разглядит симптомы знакомой болезни. Что вообще значит «предвидеть», если

не выбирать, основываясь на уже известных закономерностях, из всех мыслимых решений наиболее вероятные и отбрасывать логически невозможные? Следовательно, комбинаторное искусство самым тесным образом связано с подлинным «искусством прорицания», с возможностью предвидеть.

Люди, прослышавшие о его занятиях, надоедали ему своими дурацкими домогательствами. Они уверены, что он может предсказать судьбу. Ему предлагают деньги и покровительство. Ведь синьору Бруно ничего не стоит, начертав круги, уберечь человека от рокового шага и указать правильное решение! Джордано привык, что за ним давно упрочилась слава знатока оккультных наук. Как часто в нем видят не философа, а опытного чародея! Он не заблуждается и во многих своих учениках. Их к нему приводит не страсть познания — они жаждут магических секретов, чтобы с их помощью без особого труда добиться власти и богатства. Но даже когда он беседует с ними об «искусстве прорицания», они быстро разочаровываются. Учитель ничего не говорит о том, как добиться в жизни успеха, а изводит их разными логическими премудростями. Он рассуждает о тайнах природы, настоящие же свои секреты сохраняет при себе! Кое-кто из молодых людей, жестоко ошибившись в Ноланце, перестает ходить на его лекции. Это было и в Париже, это повторяется и во Франкфурте. Философу трудно удержать учеников, когда на каждой ярмарке толпа ловкачей берется задешево и в наикратчайший срок обучить любым наукам.

Первые месяцы 1591 года Бруно провел в Цюрихе, где читал лекции группе молодых людей, потом опять вернулся во Франкфурт. В типографии Вехеля печатались его работы «О монаде, числе и фигуре» и «О безмерном и неисчислимых». Джордано отдал издателям еще одну рукопись — «О сочетании образов, знаков и идей». Она была посвящена «искусству изобретения» и мнемонике и имела много общего с его первыми латинскими сочинениями.

Однажды он получил известие, заставившее его задуматься. Книготорговец Джамбаттиста Чотто, с которым он встречался во время ярмарки, переправил ему письмо некоего Джованни Мочениго. Отпрыск одного из знатнейших родов Венеции писал, не жалея слов, о своем восхищении Ноланцем. Мочениго был бы счастлив, если бы Бруно согласился приехать в Венецию и стать его учителем. Он не

скупился на обещания. Бруно был в весьма стесненных обстоятельствах. Частное преподавание давало лишь случайный заработок. Предложение Моченито звучало заманчиво.

Вскоре от него пришло второе письмо. Он еще более настойчиво предлагал свое покровительство, звал поселиться в его доме, обещал создать все условия для занятий, клялся, что будет верным и покорным учеником. Он горит желанием приобщиться к тайнам наук, которыми, как видно из его сочинений, владеет Бруно. Учитель ни в чем не будет испытывать недостатка. Пусть он приезжает не откладывая!

Джордано все время тянуло в Италию. И сколько бы он, «сын Солнца и гражданин мира», ни говорил о том, что родина философа весь свет, в сердце его никогда не утихала тоска по благословенному неаполитанскому небу.

Мир велик, но ведь родина у человека одна! Далека Венеция от Нолы, но там хоть люди говорят по-итальянски! И как знать, может быть, поездка в Венецию станет первым шагом, который приблизит ту счастливую пору, когда он вернется в родные края.

Он не закрывал глаза на опасности, сопряженные с возвращением в Италию. Не слишком ли велика дерзость? Он, отступник, изгнанник, осмеливается ехать туда, где так сильна инквизиция. Но ведь собирается он не в Рим, а в Венецианскую республику, гордое и могущественное государство, что прислушивается далеко не ко всякому повелению римского первосвященника и даже в религиозных делах отстаивает свою независимость. Да и времена теперь изменились. Генрих Наваррский не сегодня-завтра добьется решающей победы. А когда он станет законным королем Франции, святому престолу придется идти на компромисс и во многом менять свою политику.

Не переоценивает ли он обстоятельств, благоприятствующих его возвращению? Трезво ли взвесил возможные последствия этого шага? Не идет ли он на непомерный риск, не совершает ли безумство? Безумство? А разве не он, Ноланец, воспел героическое безумство?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

СИНЬОР МОЧЕНИГО ЖАЖДЕТ СЕКРЕТОВ



Осенью 1591 года Бруно приехал в Венецию. Дом своего будущего ученика он нашел без затруднений. Его род принадлежал к старинной венецианской знати, и, хотя Мочениго владели четырьмя внушительными зданиями, любой гондольер мог показать на Большом канале старый палаццо, где жил синьор Джованни, младший сын светлейшего Марко Антонио.

С радостью встретил Мочениго гостя: он счастлив, что тот, наконец, приехал! Он говорил горячо и много, признавался, что жаждет побыстрей постичь все тайны Джордановых книг. Самоуверенный и порывистый, он хотел произвести на Бруно наилучшее впечатление. Но в речах его и повадках что-то настораживало. Бруно вежливо отклонил предложение Мочениго сразу

поселиться в его доме, сказал, что снимет себе комнату. Лекции же начнутся, как только синьор Джованни изъявит желание.

Мочениго оказался трудным учеником. Он думал с наскока овладеть Луллиевым искусством и был разочарован, когда понял, что это требует большого труда и длительных упражнений. Он никак не мог взять в толк, что сперва должен прослушать основы ноланской философии, а потом пускаться в споры. Начинал с апломбом говорить о вещах, в которых ничего не смыслил. Бруно часто приходилось его осаживать.

Иероним остался в Падуе. Падуанский университет был одним из самых знаменитых в Европе. Иероним мечтал продолжить там свое образование.

Бруно предупредил Мочениго, что собирается некоторое время провести в Падуе. Тот высказал свое недовольство. Но Бруно удалось его уверить, что их занятия не пострадают. Он будет достаточно часто приезжать в Венецию.

С Иеронимом, как всегда, работалось очень хорошо. Внимательный, понимающий, трудолюбивый; он не заставлял дважды повторять ту же фразу и поспевал за Ноланцем, как бы быстро тот ни диктовал.

Иероним переписывал начисто обширный трактат, законченный еще в Германии, — «Светильник тридцати статуй». Мир познаваемого был поделен на тридцать разделов. Основная идея каждого раздела была воплощена в аллегорической фигуре, «статуе». В этой работе Бруно видел определенный итог своих занятий логикой и Луллиевым искусством.

В Падуе Бруно нашел учеников, которым стал частным порядком читать лекции. Здесь было много иностранных студентов, особенно немцев. Они, чувствовали себя тут вольготно, блюли свои традиции, основывали собственные библиотеки, братства взаимопомощи, кассы. В католической Падуе открыто держались они своих протестантских убеждений. С каждым годом наплыв немцев становился все больше. Церковники забили тревогу. Если так будет продолжаться, еретики-лютеране заполонят весь город и истинная вера потерпит непоправимый ущерб. Но правительство Венецианской республики одернуло слишком ярых ревнителей веры. Студенты-чужестранцы

расплачиваются золотом, а если их поприжать, то в первую голову пострадает казна и Падуя захиреет.

Среди немцев были люди, которые еще в Германии слышали о Ноланце. С удивлением узнали они, «то Джордано в Падуе. Он не побоялся вернуться в Италию!

Джордано, как обещал, часто ездил в Венецию. Мочениго всячески выказывал ему свое благоволение, делал подарки, предлагал деньги, звал поселиться в его доме. Он был упрям и никак не хотел понять, почему Бруно должен сочинять свои труды непременно в Падуе. Здесь тоже, слава богу, можно нанять целую толпу писцов! Редкие книги? В Венеции книжные лавки на каждом шагу. Пора синьору Бруно прекратить эти скитания. Ведь его приглашали сюда не для того, чтобы он большую часть времени проводил в Падуе.

Вокруг святого престола бушевали страсти. Долго усидеть на нем никому последнее время не удавалось. То ли папская тиара была слишком тяжела для немощных стариков, которым хитрые кардиналы отдавали предпочтение, то ли их лекари слишком решительно вмешивались в политику, но пап приходилось избирать часто. Когда Бруно приехал во Франкфурт, был еще жив Сикст V. Его преемник, Урбан VII, носил тиару только две недели. Григорий XIV был папой меньше года, Иннокентий IX — два месяца.

После его смерти конклав превратился в место ожесточенных схваток. Отцы кардиналы не постеснялись пуститься врукопашную. Противники оказались несколько помятыми, но святое дело восторжествовало. Сильнейшая партия одержала победу. 30 января 1592 года римским первосвященником стал Ипполито Альдобрандини, назвавшийся Климентом VIII.

Занятия Иеронима в Падуанском университете прервались самым неожиданным образом. Внезапно скончался его дядя, и дела, связанные с вступлением в наследство, требовали возвращения на родину. Беслер уехал. Курс, который Джордано читал немецким студентам, подошел к концу. Мочениго настойчиво звал его обратно. В Падуе Бруно провел осень и часть зимы. В начале 1592 года он окончательно перебрался в Венецию.

На этот раз он уступил уговорам Мочениго и поселился в его доме. Похвастаться успехами в науках синьор Джованни не мог. Отвлеченные идеи интересовали его мало. Конечна вселенная или

бесконечна — не все ли равно? Что от этого изменится в «подлунном мире»? Единственно, что его поражало— это та свобода, с которой Ноланец излагал свои взгляды: словно для него не существовало ни библии, ни учений церкви! Вселенная беспредельна, миры неисчислимы? Мочениго не разбирался ни в астрономии, ни в философии, но упрямо ссылался на писание — мир создан богом, один-единственный мир.

— Так что же, — спрашивал Бруно, — мессер Джованни не верит во всемогущество господне? Разве всесильный бог в состоянии создать лишь один-единственный мир? Господь, как сказано, хочет все, что может, а может он все, может творить бесконечно, следовательно, и может, и хочет, и творит. Вот он постоянно и создает неисчислимые миры. Да и чем ему еще заниматься? Если бы мира не существовало, то и бог был бы ничем. Поэтому господь только и делает, что создает новые Миры! Один за другим — и так бесконечно!

Синьор Джованни очумело тряс головой. Иногда ему казалось, что Ноланец нарочно излагает вещи, которых он не может понять. Он просит разъяснений. Бруно дает ему одну из своих книг. Мочениго читает страницу за страницей. Мифологические имена, странные аллегории. При чем тут вообще все эти звери? Что значит заглавие «Песнь Цирцеи»? Почему здесь так много говорится об обезьянах и свинье? Мочениго думал найти совсем иное. Книгу в красной обложке он разочарованно возвращает учителю.

Неужели он ничего не понял? — удивляется Бруно. Он намеренно придал книге такое освещение. Читать ее надо очень внимательно. Пусть-ка Мочениго вникнет в смысл наипочтительнейших эпитетов, которыми награждена свинья, и ему станет ясно, что речь идет о римском первосвященнике. Он, Бруно, преследовал цель представить в сатирических образах всю церковную иерархию, от свиньи-папы до обезьян-монахов.

— Вы дурно поступили, — вздохнул Мочениго, — сделав свои книги столь темными.

Бруно от души расхохотался.

Лекций о христианских догмах он не читал, специально не заводил разговора о религии, но, беседуя на различные темы, постоянно как бы невзначай бросал ту или иную крамольную мысль. Делал это легко, мимоходом, часто со смехом и шуткой. Но в речах его всегда сквозила

убежденность. Разве он совершенно чужд христианской вере? На его опасные суждения Мочениго смотрел сквозь пальцы. Ясно, что человек, сведущий в запретных науках, не образцовый христианин. Но неужели, он и внешне не блюдет христианских обрядов? Он опять не был в церкви? Мочениго пристал к нему с расспросами. Почему он пропускает обедню?

— Обедню! Обедню! — воскликнул Бруно. — Какое мне дело до ваших служб? Моя обедня — в искусстве любви!

Он не строил из себя аскета, признавался, что любит женщин. Грех? Если кто и совершает великий грех, так это сама церковь, которая объявляет греховным то, что прекрасно служит природе.

Джордано настроен был весело. Вовсе не за грех считает он близость с женщиной. Да, он очень любит женщин, хотя ему далеко еще до Соломона!

Слова Бруно произвели на Мочениго сильное впечатление. Ноланец вспоминает Соломона! Подумать только! А ведь он не царь иудейский с его властью и несметными сокровищами — нищий учитель философии.

Скрытностью Ноланец не отличался, часто пускался в откровенность, много рассказывал о прошлом, о пребывании в Париже и Лондоне. Хвалил

Елизавету, вспоминал жизнь в Германии, Когда речь шла о сторонниках реформации, не щадил ни Лютера, ни Кальвина. Мочениго удивлялся:

— Разве вы не кальвинист? Так какой же вы веры?

— Я враг всякой веры!

И он, смеясь, рассказал о гадании по книге Ариосто. Как строфа, выдавшая по жребию точно соответствовала его натуре! Очень просто говорил Бруно о вещах, о коих другим и думать-то было страшно. Он не выносит ш одной религии. Верить в то, что противоречит разуму и не существует в природе? Воплощение слова, непорочное зачатие, девственность богоматери! Есть ли большая глупость, чем думать, будто хлеб во время причастия превращается в тело господне? А может ли быть большее кощунство, чем то, которое совершают католики, когда поедают плоть господа и, упиваются его кровью?!

… То и дело позволял он себе выпады против Христа. Однажды, когда Мочениго шел в церковь, Джордано заговорил о чудотворцах.

Ему известно, с помощью какого искусства Христос являл чудеса. Он был магом и обманщиком. В том, что он предсказал собственную смерть, нет ничего удивительного. Он слишком долго совращал народ, чтобы избежать расплаты за свои злодейства. Ему не надо было быть провидцем — он знал, что его наверняка повесят!

Синьор Мочениго терпеливо сносил все кощунственные суждения Ноланца. Он давно понял, что его учитель завзятый еретик. Но ведь он жаждал от него не наставлений в благочестии.

Бруно готов был говорить с ним на любые темы, но заниматься оккультной философией упрямо отказывался. А сам часами сидел над таинственными рукописями! Мочениго был убежден, что Ноланец хитрит. В отсутствие Бруно прокрадывался к нему в комнату, рылся в бумагах, жадно читал. Вот переписанная Иеронимом Беслером копия запрещенного сочинения «О печатях Гермеса». Наверное, это и есть сокровенная книжица заклинаний! Мочениго мало что понял. Его неприязнь к Бруно росла. Тот знает секреты, как повелевать сверхъестественными силами, но упорно не хочет их открыть. Ведь неспроста похвалялся он своими способностями. Недавно он был очень доволен: «О мессер Джованни, когда я закончу некоторые свои исследования, мир признает меня!»

Что он имел в виду? Другой раз он сказал, что торопится завершить и выпустить в свет свои сочинения, чтобы добиться влияния. Когда настанет время, люди пойдут за ним.

Мочениго верил в его могущество. Ноланец создаст секту, которая будет называться «Новая философия»? Хитрит! Никакой философией, новой ли, старой ли, влияния не добьешься и мир за собой не поведешь. Конечно, не с помощью рассуждений о множественности миров станет он предводителем и приберет к рукам чужие богатства. Раз он строит такие планы, значит надеется в скором времени благодаря магическому искусству господствовать над вещами и над людьми.

Однажды Мочениго не выдержал. Пора браться за главное, а Бруно обращается с ним как с бездарным школяром и принуждает заниматься логикой и мнемоникой.

Джордано резко его оборвал. Он делает то, что находит нужным. Мочениго захотел обучаться у него «искусству изобретения». Или он писал о чем-либо другом, когда звал его в Венецию? Если он

недоволен преподаванием, то это легко изменить. Пусть он поищет себе других наставников.

Мочениго испугался. Нет, нет, он совсем такого не хочет! От упреков перешел к просьбам, льстил, угодливо улыбался, бог весть чего не сулил. Но почему бы учителю не поделиться частью своих секретов с человеком, на преданность и благодарность которого он может вполне рассчитывать? Мочениго уже тридцать четыре года. Ему не терпится постичь тайны сверхъестественного. Ведь каждому, кто знает Ноланца, ясно, что он проник в самую сокровенную природу вещей, что в его руках ключ к великому могуществу!

Но Джордано не поддается ни на страстные призывы Мочениго, ни на лесть. Существуют знания, которые легко обратить во вред людям. Поэтому обладать ими должны только те, кто нравственно чист несправедлив, кто дает себе отчет во всех допустимых и недопустимых последствиях применения таких знаний. Некоторые науки, как меч, благотворны в руках достойного человека и опасны в руках бесчестного.

О нравственном облике своего покровителя Ноланец невысокого мнения. Учить его он будет только тому, чему обязался.

Он, выходит, останется в дураках! Как добиться от Бруно желаемого? Синьор Джованни полон сомнений. А тут еще духовник со своими советами. Тот давно уже приглядывался к Ноланцу, говорил с женой Мочениго, расспрашивал слуг. Он знает обо всем, что творится в доме. Как вел себя Бруно, когда мальчишка-слуга чем-то его рассердил? Он изрыгал чудовищные проклятия и показывал кукиш. Кому? Небу! Долго еще будут пригревать здесь этого богохульника? Исповедник настойчиво советует своему духовному сыну донести на Ноланца Святой службе.

Неужели он, Мочениго, попал впросак? С головой залез в опасную затею без всяких гарантий успеха! Выбросил на ветер деньги да еще и рискует навлечь на себя подозрения в укрывательстве еретика? Может быть, Ноланец вообще ни с кем не делится своими секретами? Как он показал себя в Германии?

Чотто собирался на ярмарку во Франкфурт. Мочениго обратился к нему с просьбой. Он его очень обяжет, если хорошенько разузнает, что думают о Бруно немцы.

С нетерпением ждал он возвращения Чотто. Как только тот приехал, пошел к нему в лавку. Рассказ книготорговца его расстроил. И в Германии нашлись люди, которые ждали от Бруно большего, чем он давал. Они обманулись в своих надеждах! Думали овладеть важными секретами, а получили одну философию. Какая ему, Мочениго, корысть с того, что во Франкфурте все хвалят таланты Ноланца!

Хорошо духовнику советовать: выдай, мол, еретика Святой службе! Но разве может он позволить себе такую роскошь, когда столько потратил на Бруно. Засадить в тюрьму нечестивца он всегда успеет, но тогда плакали его денежки! Нет, он прежде испытает все средства. Так легко он от своего не отступит. Если не уговорами, то силой, но он заставит Ноланца открыть ему секреты!

Он не подавал и виду, что затаил в сердце злой умысел, подкупал Бруно знаками внимания, удвоил любезность, был щедр на обещания. Бруно не замечал притворства. Занятия с Мочениго отнимали у него мало времени, большую часть дня он сидел над своими рукописями, а когда уставал, то бродил по городу и наведывался в книжные лавки.

Однажды Чотто передал ему приглашение: Андреа Морозини, знатный вельможа, видный ученый, историк и политик, просил его прийти. Образованнейшие люди Венеции сходились у Морозини. Собрания, где обсуждали разнообразные научные и литературные темы, прослыли на всю Италию. Чотто согласился сопровождать Бруно. Их встретили очень хорошо. С тех пор Джордано часто по вечерам направлялся в приход святого Луки, в красивый дом на Большом канале.

Они с Мочениго не избегали бесед и о политике. Бруно хвалил Венецианскую республику, но выражал недоумение, как это она при всей своей мудрости позволяет монашеским орденам сохранять в своих руках такие огромные богатства. Ныне в монахи идут одни ослы. Поэтому разрешать им пользоваться такими богатствами непростительный грех. Надо сделать так, как во Франции, где доходами монастырей пользуются дворяне, а монахи сидят на похлебке. Пора прекратить их дурацкие диспуты.

Ноланец сурово порицал политику церкви… Она не держится тех установлений, которые сама провозгласила. Апостолы обращали язычников в христианство проповедью и примером добродетельной

жизни. А теперь действуют не любовью, а насилием. Кругом царит невежество, нет ни одной сколько-нибудь стоящей религии. Кальвинистская вера еще хуже, чем католическая. Но и католичество нуждается в коренном исправлении. Мир погряз в величайшей порче. Так дальше продолжаться не может, скоро настанут решительные перемены.

Бруно возлагал большие надежды на Генриха Наваррского. Хотя тот не мог похвастаться особыми успехами, Джордано тем не менее высказывал уверенность, что Генрих в недалеком будущем одолеет врагов, умиротворит и объединит Францию. Эта победа окажет огромное влияние и на другие страны. Католичеству будет нанесен сокрушительный удар. Папство будет вынуждено и в Италии Отказаться от религиозного террора. Ноланец вернется тогда на родину, сможет жить и говорить свободно!

Как проявит себя недавно избранный папа? Повсюду велись разговоры о том, что на пороге — значительные перемены к лучшему. И в старом палаццо Мочениго, и в кружке Морозини, и в книжных лавках Джордано постоянно слышал: Ипполито Альдобрандини неспроста принял имя Климента — «милостивого».

Его понтификат будет отличаться мягкостью? Но ведь и противник Альдобрандини, кардинал Сан-северина, чуть было не выбранный папой, тоже хотел назваться Климентом. А насчет милостей, которые бы он, один из столпов Святой службы, уготовил пастве, сомневаться не приходилось.

Слухи о покровительстве нового папы ученым становились все настойчивее. Климент намерен собрать вокруг себя прославленных философов и писателей! Он так любит талантливых людей, что готов даже смотреть сквозь пальцы на некоторое вольномыслие.

Благодатная тема для острословов! Но вдруг по всей Италии разнеслась поразительная новость. Климент зовет к себе Франческо Патрици! Какие доказательства еще нужны маловерам и скептикам? Приехав в Венецию, Патрици подтвердил, что папа приглашает его в Рим читать лекции. Философ, за которым давно упрочилась недобрая слава, всенародно обласкан его святейшеством! Папа в самом деле очень ценит одаренных людей.

Этому настроению поддался и Бруно. Он позволял себе весьма резко отзываться о работах Патрици, но лучше других видел,

насколько его идеи расходятся с учением церкви. Он-то ведь знает, что Патрици философ и ни во что не верует! Бруно даже поспорил с Мочениго. Тот с обычным апломбом утверждал, что Патрици добрый католик. Для Мочениго это простительно: он ничего не смыслит в философии.

История с Патрици открывала неожиданные перспективы. Климент настолько подвержен новым веяниям, что благоволит к Патрици! Может быть, и ему, Бруно, позволительно рассчитывать на благосклонность Климента? От одной мысли о возвращении на родину неистово колотилось сердце. Ведь все, что он делал, он делал лишь из любви к истине. Если папа действительно человек широких взглядов, то он должен подходить к ученым с иной меркой, чем ослы из Святой службы. Будущее представлялось Бруно в радужном свете. Ему не приходило в голову, что его загонят обратно в монастырь. С кельей он распрощался навсегда. Вымаливать милостей он не будет. Для него неприемлем обычный способ заслужить прощение. Да, он всей душой стремится на родину, но он явится туда не как беглый монах и покаявшийся отступник, а как философ, за которым признано право жить и рассуждать свободно. Он напишет книгу и представит ее папе. Если Климент таков, как о нем теперь многие говорят, он не преминет воздать ему должное и окажет покровительство. Разве не порука тому пример Патрици!

Гнилая зима пришла к концу. Над зеленоватыми лагунами сверкало весеннее солнце. Весна — пора надежд. Розовых надежд. Призрачных надежд.

Джордано посещает книжные лавки, бывает у Чотто, заглядывает к Бертано. Здесь делятся новостями, говорят о литературе, о политических памфлетах и стихах, о научных открытиях и модных фарсах. Джордано любит эти беседы у полок с фолиантами. Правда, они частенько выливаются в ожесточенный спор. Хуже всего, когда речь касается религии. В пылу диспута Бруно даже перед незнакомыми людьми высказывает мысли, весьма небезразличные для Святой службы.

Однажды в лавке несколько священников рассуждают об еретиках. Все осужденные церковью учения созданы глупцами! Арий, Савелий и прочие ересиархи — круглые невежды. Чего только не городили они о троице и ипостасях! Священники мнят себя искусными богословами и

пренебрежительно отзываются об Арии. Джордано ввязывается в спор. Чтобы осуждать Ария, надо по крайней мере знать, в чем состоит его учение. Ему приписывают вещи, которых он никогда не утверждал. Не из невежества отрицал Арий единосущность троицы.

Бруно разошелся. Его не Останавливают ни возмущенные реплики противников, ни предостерегающие жесты книготорговца. Негодующие рясники покидают лавку. Так рассуждать может только враг святой веры! Он усомнился в воплощении господнем и догмате о троице!

Хозяин не на шутку встревожен. Разве синьор забыл, что и в Венеции не дремлет Святая служба?

На капитул доминиканского ордена в Венецию со всех сторон съезжались монахи. Среди прибывших находилась и большая группа доминиканцев из Неаполитанского королевства. Джордано встретил много знакомых. С некоторыми он вместе учился, бродил по Неаполю, когда удавалось вырваться из монастыря, проказничал, надувал настоятеля. Товарищи не могли похвалиться везеньем. Один едва выпутался из затеянного инквизицией дела, другой отбыл пять лет на галерах, поплатившись за буйный нрав и любовные похождения. Особенно приятно было Джордано увидеть одного из своих учителей — Доменико да Ночера. Бруно жадно расспрашивал о том, что творится в родных местах, говорил о своей тоске по Неаполю, мечтал снова повидать Везувий, поехать в Нолу. Так ли уж несбыточны его замыслы? Даже теперь, когда с новым папой связывают столько надежд? Теперь, когда Климент приближает к себе ученых и покровительствует Патрици?

То, что ему рассказывают, заставляет его насторожиться. Еще неизвестно, как обернется для Патрици это приглашение в Рим. По крайней мере в Неаполитанском королевстве никаких действительных улучшений не замечено. Сейчас много шумят о Патрици и превозносят мудрость Климента. А ведь совсем недавно в Риме с их именитым земляком обошлись куда как сурово. Самому Джамбаттисте делла Порта под страхом отлучения от церкви и штрафа в пятьсот дукатов было запрещено публиковать свои книги. Кое-что прояснится на нынешнем капитуле. Генерал ордена, энергичный и осторожный, превосходно знает истинные настроения папы. Он всегда держит нос по ветру. На капитуле будут обсуждаться задачи, стоящие перед

орденом. По тому, как сформулируют основные направления его политики, станет ясно, что на пороге времена послаблений или эра строгости.

На троицу, 17 мая, открывая заседания капитула, генерал ордена фра Ипполито Мария Беккариа, полный сил пятидесятилетний интриган и честолюбец, бывший верховный комиссарий инквизиции, произнес многозначительную речь. Он не пошел по проторенной дорожке своих предшественников и не сделал главного упора на разгул еретиков-протестантов, хозяйничающих в доброй половине Европы, не стал живописать ущерба, который католическая церковь терпела от гугенотских чудовищ. Его основная забота, сказал Беккариа, — плачевное состояние доминиканского ордена. Их орден издавна был надежнейшей опорой римского первосвященника в борьбе с врагами веры. Братья проповедники имеют неоценимые заслуги. Раньше ими гордилась церковь, их благочестием, воинственным духом, ученостью, строгостью нравов. А теперь орден изнемогает от страшнейших недугов — в кровавых язвах все его тело.

— Что еще остается, — со зловещим пафосом воскликнул Беккариа, — как не прибегнуть тотчас же к целительным средствам? А это те же средства, что и у опытного хирурга, который лечит тяжелейшие раны и спасает умирающих от верной смерти, — он пускает в ход железо и огонь!

Железо и огонь! В ученых кругах болтают о мягкости нового папы, а доминиканцы на своем сборище провозглашают необходимость крайних средств. Побольше кандалов и узилищ, побольше тюремных решеток, побольше секир и удавок, побольше костров! И он, Бруно, всегда столь отчетливо видевший звериный оскал римского волка, на какое-то время поддался чуждым ему настроениям и готов был поверить, что сможет, не отрекаясь от самого себя, вернуться на родину и жить свободно! Какая непростительная глупость! Нет, не видать ему больше Неаполя. А если случится быть в Риме, то не йо доброй воле.

Перед глазами снова, как в Лондоне, когда он писал «Пир на пепле», вдруг запылал костер на Кампо ди Фьори, а в ушах зазвучали странные слова о десятках факельщиков, которые будут сопровождать Ноланца, шагай он даже среди бела дня, коль придется ему умирать в католической римской земле…

Нет, он не хочет дышать одним воздухом с тюремщиками, что вырядились в рясы и, вознося молитвы господу, жгут инакомыслящих! Он никогда не примирится с торжествующим невежеством, никогда не согласится, подчинившись силе, молчать или пресмыкаться. Горек хлеб изгнания и тяжелы чужие лестницы, но еще горше покорность и рабское молчание. Он больше здесь не останется. Он бежит. Бежит, пока еще не поздно!

Куда? В Германию? В Англию? В Цюрих? Прежде всего он думает о Франкфурте. Там ему есть где остановиться и где найти заработок. Он должен нет медленно уезжать. Он, конечно, не станет объяснять Мочениго истинных мотивов отъезда. Да и какое тому дело до его планов! Он поставит его в известность о своем намерении и попросит считать свою службу у него оконченной. Джордано убежден, что со стороны Мочениго не встретит никаких препятствий. Ему и в голову не приходит уехать тайком.

Ноланец собирается в дорогу! Куда? Зачем? Мочениго разбушевался. Как же это? Он собирается уехать! Сколько на него потрачено, сколько с ним было хлопот, и все, выходит, зря! Месяцами жить в его доме, принимать от него деньги, вещи и вдруг в один прекрасный день взять и уехать! Так провести его! Бруно говорил об отъезде как о деле решенном. Он считает, что вполне выполнил обязательства, пытался как мог приобщить Мочениго к наукам. Теперь он хочет возвратиться во Франкфурт и издать там некоторые свои сочинения.

Пустая отговорка! Он и не подумает ехать в Германию. Так он этому и поверил! Мочениго подозрителен. Пусть лучше скажет, кто его переманил, кто посулил ему горы золотые? Разве ему плохо здесь? Чего ему не хватает? Нет, мессер Бруно ни в коем случае не должен покидать его дома. Они лишь начали их занятия. Еще столько надо сделать!

Всеми силами старался Мочениго удержать его от отъезда. Но Бруно оставался глух к уговорам. Повторил, что не изменит решения. В ближайшие дни, как только позволят дела, распрощается с Венецией. Мочениго осыпал его упреками. Неблагодарность, видимо, не самый большой из присущих ему пороков. Он легко забывает об обещаниях и нарушает слово.

Бруно вспылил. Какое из своих обещаний он нарушил? Мочениго писал ему во Франкфурт, писал не один раз, а дважды о желании постичь «искусства памяти и изобретения». И он, в самом деле, обязался раскрыть перед ним все тонкости этих искусств. Если синьор Мочениго не преуспел в этом, так только благодаря недостатку рвения.

— Искусство памяти! — зло рассмеялся Мочениго. — Кто бы стал ради одной лишь мнемоники выписывать его в Венецию? Он прекрасно знает, для чего его сюда звали. Просто кто-то теперь предлагает заплатить больше за его секреты. И он хочет раскрыть их другому!.

Мочениго едва владел собой. Напрасно синьор Бруно думает, что ему сойдут с рук такие выходки. Мочениго никогда не прощают обид и карают тех, кто злоупотребил их доверчивостью.

—: Если вы, — закончил Мочениго, — не пожелаете остаться у меня по собственной воле, то я изыщу средства задержать вас!

Весь следующий день Бруно вел себя так, словно угрозы относились не к нему. Он несколько раз выходил из дому, улаживал какие-то свои дела. Человек, посланный Мочениго, следовал за ним по пятам. Джордано наведался в гавань, торговался с лодочниками, потом завернул в книжные лавки. Прощался.

Он и впрямь намерен уехать! Вещи, нехитрый свой скарб, подготовил к отправке. Перед дорогой раньше обычного улегся спать.

…Кто-то громко стучал в дверь. Бруно вскочил. За окном была ночь. «Отворите! — он узнал голос Мочениго. — Мне необходимо объясниться с вами». Что еще случилось? Джордано отодвинул засов. По-хозяйски бесцеремонно вошел Мочениго. Слуга Бартоло поднял большой фонарь и осветил всю комнату. Вслед за ним ввалились шестеро плечистых гондольеров.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В ЗАПАДНЕ



С ним не церемонились, не ждали, пока он оденется, полуголого заставили идти на чердак. Там его заперли в темной клетушке. Пусть-ка милейший Джордано взвесит на досуге сделанные ему предложения!

Утром пришел Мочениго. Он дал Бруно высказаться. Потом заговорил сам. Напрасно маэстро так беснуется. Лучше, если он изменит свое намерение уехать, останется в доме и обучит Мочениго запретным наукам. Как только он это сделает, то сразу получит свободу и сможет отправляться на все четыре стороны.

Нет, нет, нет! Мочениго никогда силой не добьется своего, даже если неделями будет держать его в этой клетке!

Мессер Джованни потерял самообладание. Угрозы, одна страшнее другой, так и сыпались из его уст. Он не велит давать пленнику воды, заморит голодом, бросит в сырой подвал, он, наконец, прикажет

завязать его в мешок, вывезет в море и утопит. Его не хватятся, все будут думать, что он отбыл в Германию.

Хорошо же платят ему за учение! Он, Бруно, выполнил свои обязательства и предостаточно убил времени на него. А теперь он хочет уехать, и Мочениго не вправе его задерживать. Им ни к чему продолжать ссору. Если Мочениго считает, что слишком потратился на него, то пусть возьмет все его вещи и деньги, но позволит свободно уйти.

Он так дешево не откупится! Мочениго настаивает, чтобы его посвятили в тайны магии. Тщетно уверяет Бруно, что не обладает способностью вызывать духов. Мочениго не верит. Может, и женщин привораживал он не колдовскими заговорами, а простой любезностью? Что же, любезным обхождением или своей философией думал он добиться влияния и повести за собой весь мир? А ведь раньше он говорил другое! К любой готов он прибегнуть лжи, чтобы не разглашать своих секретов!

Бруно выходит из себя. Он не колдун, а философ! Мочениго не уступает. Он еще не раскрыл своего главного козыря. Одно дело грозить тайным убийством, одинокой гондолой в море, смертельным мешком. Этому можно и не поверить. Но инквизиция! Здесь пахнет не угрозами, а настоящим застенком. Жаль, конечно, что Ноланец не пожелал принять его предложений, презрел все знаки внимания, богатые подарки. Его не соблазнили самые заманчивые обещания. Он не захотел раскрыть свои секреты ни ради денег, ни ради дружбы с человеком, чей род — один из славнейших в Венеции. Теперь ему говорят в последний раз: он должен согласиться.

Мочениго сделал зловещую паузу.

— Иначе я донесу Святой службе о словах против Христа и католической церкви, которыми вы осквернили мой дом!

Он заметил, как Бруно изменился в лице. Стараясь сдержаться, сказал, что ему нечего страшиться инквизиции. Своим образом жизни он никого не оскорблял. Его речи? Он не припомнит, чтобы говорил какие-нибудь дурные вещи. А коль уж и говорил, то говорил без свидетелей, с глазу на глаз, и не видит причин для опасений. Навредить ему не так-то просто. Доказательств нет. Поэтому пусть лучше Мочениго не угрожает ему Святой службой. Он ее не боится!

Напрасно Бруно думает, что сумеет уладить свои дела в инквизиции. Нет доказательств? Мочениго не скрывает торжества. Синьор Бруно, выходит, запамятовал о запретных писаниях, о книжке заклинаний, которую для него копировали в Падуе. Он, Мочениго, уже прибрал ее к рукам. Ну как? Бруно соглашается или предпочтет угодить в темницу?

Мочениго никогда не видел таким Ноланца. Неистовая ярость охватила Бруно. Он наверняка одержим злыми духами!

В страхе отпрянул от него Мочениго, попятился к двери, кликнул слугу. Слава богу, что у Бруно не было кинжала! Он едва выскочил из каморки. Вдогонку ему летели проклятия. Спускаясь по лестнице, слышал, к^к отчаянно барабанил в дверь пленник.

— Проклятый, проклятый притворщик! Нечестивец! Одержимый!

Разговор с Бруно давно кончился, а Джованни еще дрожит от возбуждения. Он отомстит ему за все и немедля выдаст Инквизиции!

Грохот и крики сотрясают весь дом. Тревога жены, испуганные лица детей. А вдруг он разберет крышу или высадит дверь? Внезапно шум прекращается. Волнение Мочениго растет. Ведь каждому известно, что человек, сколько-нибудь сведущий в магии, способен бог знает что натворить.

Он велит Бартоло сбегать за начальником стражи. Когда тот приходит, обращается к нему за помощью. Он задержал еретика, но боится, как бы злодей не улизнул, пока Святая служба изготовит приказ об аресте. Он просит помочь водворить его в более надежное место. Джордано переводят в подвал.

Теперь все пути отступления отрезаны. Мочениго бросается в Святую службу. Его принимает верховный инквизитор Венеции, доминиканский монах фра Джованни Габриэле да Салюццо. Он терпеливо выслушивает его пространный, но сбивчивый рассказ, задает вопросы, Уточняет подробности. Мочениго говорит о том, как познакомился с Бруно. Он хотел обучаться у него различным искусствам. О своей страсти к магии не упоминает ни словом. Инквизиция преследует не только учителей, преподающих запретные науки, но и их не в меру любознательных учеников.

Мочениго не может раскрыть подлинные причины вражды к Ноланцу. Обращение в Святую службу изображает как веление совести. Его ужаснула мысль, что еретик, живший с ним под одним

кровом, избежит заслуженной кары. Каких только страшных вещей против церкви не высказывал этот злодей! Поэтому-то он и задержал его,

Инквизитор отнесся к словам Мочениго с большим вниманием, поблагодарил за важные сведения. Все рассказанное велел изложить в письменном виде. Еретику воздастся по заслугам. Надлежащие меры будут незамедлительно приняты, как только Святая служба получит собственноручный донос Мочениго. Он должен вспомнить все, что слышал от злейшего нечестивца.

Синьора Мочениго, вельможу и доносчика, монах-инквизитор. отсылает домой.

«Я, Джованни Мочениго, сын светлейшего мессера Марко Антонио, по долгу совести и по велению исповедника доношу Вам, достопочтеннейший отче, о слышанных мною высказываниях Джордано Бруно Ноланца. Неоднократно беседуя со мной в моем доме, он говорил, что великое кощунство, когда католики утверждают, будто хлеб пресуществляется в тело; что он враг мессы; что ни одна религия ему не нравится; что Христос был злодей и поэтому, совращая народы, мог без труда предсказать, что будет повешен; что не существует различных ипостасей господа, ибо это означало бы несовершенство бога; что мир вечен и существуют бесконечные миры…»

Мочениго волновался и писал торопливо. Ноланец постоянно порицал Христа, называл его чудеса мнимыми, а его самого, как и апостолов, считал магом! Христос охотно избежал бы смерти, если бы мог, Бруно утверждал, что наказания за грехи нет.

«Он выказывал намерение стать основателем новой секты под названием «Новая философия»; говорил, что дева не могла родить и что наша католическая вера преисполнена кощунства против величия божия; что следует прекратить споры монахов и лишить их доходов, так как все они — ослы и оскверняют мир; что наши воззрения — доктрины ослов и у нас нет доказательств, ставит ли бог нам в заслугу нашу веру; что для добродетельной жизни достаточно не делать другим того, чего не хочешь себе, что он смеется над всеми прочими грехами и удивляется, как это бог допускает столь многие ереси католиков,

…Он мне говорил, что прежде в Риме обвинялся инквизицией по ста тридцати пунктам и что сбежал оттуда, так как его обвинили, будто он сбросил в Тибр того, кто донес на него инквизиции…»

Строки ложились на бумагу неровно, он писал не очень-то разборчиво. Как выгородить себя и не навлечь подозрений за столь запоздалый донос?

«Я намеревался, как сообщал вам устно, обучаться у него, не зная, какой он злодей. И я замечал все это, чтобы рассказать вам, достопочтеннейший отче. Когда же я стал опасаться, что он может уехать, как он, тю его словам, собирался сделать, я запер его в комнате».

Мочениго боялся Ноланца:

«Я считаю его одержимым демонами и прошу немедленно принять против него меры! Святой службе могут дать показания: книготорговец Чотто и мессер Джакомо Бертано, тоже книготорговец. Этот Бертано в частной беседе говорил мне о нем, что он враг Христа и нашей веры и что он слышал от него великую ересь.

Передаю также Вашему преподобию три его печатные книги, где мною мимоходом отмечены некоторые места, и написанное его рукой небольшое сочинение о боге, посвященное его всеобщим категориям. Отсюда можно судить о его взглядах.

Он бывал еще в академии синьора Андреа Морозини, сына светлейшего Джакомо, где собираются многие дворяне, которые могли случайно слышать что-либо из его высказываний…»

Донос Мочениго закончил уверением, что надеется всегда и везде оставаться послушным сыном святой церкви. Он почтительно целует руки его преподобию.

В ту же субботу, 23 мая 1592 года, поздним вечером в дом к Мочениго явился капитан Маттео д’Аванцо со своими людьми. Выполняя приказ Святой службы, он препроводил Бруно в монастырь Сан-Доменико ди Кастелло, в тюрьму инквизиции.

Можно прийти в неистовство от величайшей бессмысленности происшедшего. Если бы не Мочениго, он был бы уже за пределами Венецианской республики и никакая Святая служба его бы не схватила!

Джордано был вне себя. Негодяй, несомненно, выложит трибуналу все, что только о нем знает. Но главная опасность в другом — один ли

Мочениго будет говорить о его ереси? Инквизиция признает принцип: «Единственный свидетель — это еще не свидетель». Обвинения, выставленные доносчиком, Бруно будет называть клеветой. Его не уличат до тех пор, пока не найдут и других лиц, которые подтвердят обвинения. Но легко ли разыскать таких людей? Даже те, кто неоднократно слышал ересь из уст Бруно, постараются этого не припомнить, чтобы не навлечь на себя неприятностей. Если они внимали богопротивным речам, то почему так долго молчали? Запоздалое или вынужденное доносительство не избавляет от подозрений в сочувствии еретику.

Основная беда не в самом Мочениго. Беседы с глазу на глаз — вещь расплывчатая. Мало ли чего не наговорит по злобе хулитель, жаждущий погубить ненавистника? Когда донос подан на доброго католика, его можно расценить как проявление вражды или мести. Но обвинения, выдвинутые против человека, чье отношение к вере сомнительно, сразу рассматриваются как вполне вероятные. Что же говорить о беглом монахе, да еще не о каком-нибудь темном расстриге, а об ученом отступнике, пишущем философские сочинения! Здесь и любые наветы заранее покажутся доказанными.

Монах, сбросивший сутану, независимо от остального, заслуживает кары. А если его обвиняют еще и в ереси, то уверения даже единственного свидетеля звучат весьма правдоподобно. Но все же он, Бруно, будет опровергать Мочениго. Единственный свидетель — это ещё не свидетель!

Святая служба делает существенное различие между еретиками «признавшимися» и «изобличенными». Первые легче заслуживают прощения. Вторые считаются самыми отчаянными, упорствующими, нераскаянными. Им ближе всего до костра.

Если Мочениго останется единственным обвинителем, то можно рассчитывать на сравнительно благополучный исход, процесса. Но как ему, беглому монаху, долгие годы жившему в еретических странах, говорить о своей невиновности? Такие речи сочтут только за доказательство лживости и упрямства.

Итак, открывать душу перед Святой службой он не собирается, это равносильно самоубийству. Защищать очевидную ложь — свою полную невиновность — бессмысленно. Вообще не отвечать на вопросы? Обречь себя на неминуемые пытки и казнь? Но ведь он ищет

не эффектной смерти, а способа, надежного способа избавиться от оков Святой службы!

Перед ним только один путь, который может привести к неблизкой свободе. Он должен предстать перед трибуналом как человек, желающий очистить свою совесть и получить отпущение, чтобы снова быть принятым в лоно церкви. Ему во что бы то ни стало надо вырваться из тюрьмы, а там, даже если его загонят обратно в монастырь, он изыщет возможность бежать.

Так ли уж отчаянно его положение? Что они о нем знают? Может быть, многое. Он ведь любил порассуждать, а запретных тем для него никогда не существовало. Судьба его теперь в руках инквизиции. Если из Святой службы кто и выходит с гордо поднятой головой, так только на костер. Любая иная доля требует прежде всего покорности. Степень этой покорности определяет и наказание. Рабская, самоистязающая покорность, полнейшее подчинение инквизиторам — залог и свидетельство исправления, — заслуживают более мягких «целительных средств», чем простое признание вины и готовность покаяться.

К счастью, его нельзя считать «повторно впавшим в ересь»: оба раза, в Неаполе и в Риме, следствие не было доведено до конца и велось внутри доминиканского ордена. Применить же к человеку, никогда прежде инквизицией не осужденному, крайнее средство спасения души — приговорить к сожжению — трибунал мог только в одном случае: если злодей остался нераскаянным и упорствующим. Правда, объявить еретика упорствующим несложно. Пылкие уверения в желании покаяться не спасали. Если Святая служба подозревала, что от нее утаивают какие-то вещи, то сама пылкость этих речей свидетельствовала лишь о глубине притворства.

Нет, Бруно не собирается доставлять Святой службе такую возможность. Раз он угодил в инквизицию, ему не обойтись без приговора. Вопрос, следовательно, в том, сколь суровой будет кара. Отлученному от церкви расстриге ничто не сулит снисхождения. Если он будет молчать или отрицать всякую вину, то заставит инквизиторов еще основательней вести следствие. А это совершенно не в его интересах. Ему надо повиниться в каком-нибудь не слишком опасном преступлении и побыстрей принести покаяние. Любая затяжка, дополнительные расследования, привлечение новых свидетелей лишь

усугубят тяжесть обвинений. Он не должен от гнева терять голову. Силой ему не вырваться из цепких лап Святой службы. Если его выпустят из тюрьмы, то только после покаяния.

Покаяние! Снова в позорном рубище стоять на коленях. Снова бесконечная цепь унижений. И за какую вину? За то, что он мыслит иначе, чем предписывает церковь! Он должен просить прощения за то, что видит лучше и дальше других. Он никак не помещается на прокрустовом ложе их веры и, если не хочет потерять голову, должен ее пригнуть.

Ему противно притворство. Стоило лишь воздать необходимую дань лицемерию, и как бы он везде процветал! Он избежал бы женевского позора, мог сколько угодно жить в Париже, не ссорился бы с самолюбивыми англичанами, наслаждался бы почестями в Германии. Но эта пагубная страсть излагать свои собственные мысли!

Однако сейчас дело идет не о получении кафедры, не о пребывании в каком-нибудь городе, не о правоте отдельных доктрин. Сейчас на карту поставлено все. От приговора, который вынесет трибунал, зависит, сможет ли он продолжать свои исследования или будет на долгие годы, если не пожизненно, погребен в темнице.

Джордано — превосходный актер. Он может изобразить в лицах героев «Подсвечника», зло передразнить надменного педанта, удивительно похоже представить чванливого всезнайку или жадного монаха. Так неужели он не сумеет на какое-то время стать воплощенным смирением? Не сумеет в судилище ослов вторить их ослиному реву и поклоняться святой ослиности? Ему придется нелегко. В фарсе, в котором он станет участвовать, он не будет потешаться над невежеством, подвергать осмеянию пороки, острить и дурачиться — он обязан играть тяжелую и унизительную роль, противную всему его существу, роль кающегося. Сможет ли он себя пересилить, чтобы убедить подозрительных судей в своей искренности?

Фарс будет продолжаться неделями, а то и месяцами. Надо до конца провести роль, ни на чем не сорваться. Неудача грозит казнью или пожизненным заточением, а успех, успех может принести сравнительно близкую свободу.

Да, он, несомненно, виновен перед церковью, он заблуждался, грешил, множил соблазн, городил, случалось, ересь, но никогда не

стремился умышленно нанести ущерб истинной вере. Ему, мол, нечего скрывать от Святой службы. Он осознал вину и намерен с помощью отцов-инквизиторов в корне изменить жизнь и вернуться на стезю добродетели.

Ему придется каяться в своих прегрешениях. Нет, не дожидаться, пока ему предъявят обвинения, — прежде чем их предъявят, он должен очистить свою душу перед Святой службой. Дьявольская уловка! Добровольность и полнота признаний — непременное условие для каждого, кто не хочет считаться «упорствующим». Он сам обязан рассказать о своих преступлениях против веры, о своих речах, сомнениях, поступках, мыслях. И горе ему, если он что-нибудь утаит. Частичные признания — уловка нераскаянного.

В чем ему повиниться? Что знают инквизиторы? Если бы угадать, что понаписал Мочениго! На беду, Бруно всегда много рассуждал, пускался в откровенность даже с незнакомыми людьми, был непростительно доверчив. Недавно в книжной лавке он вступил в спор со священниками и, не стесняясь, хвалил Ария. Мочениго тоже об этом слышал?

Как толковать события, о которых наверняка донес Мочениго? Ему не скрыть, что он был монахом. Но почему он стал отступником? Ведь он что-то говорил Мочениго о прежних незаконченных процессах. Уверять, что обвинения остались ему неизвестны? Тогда он должен помнить хотя бы те случаи, которые могли послужить поводом для обвинений? Ему совсем не улыбается признать, что его сызмальства разъедала ересь. Никаких поводов он не давал? Почему же он удрал из Неаполя? Чтобы доказать свою невиновность. Итак, он ради оправдания прибыл в Рим. Тогда почему он, невинный агнец, бежит и оттуда? Не только бежит, но и сбрасывает монашеское одеяние? Таких вопросов множество, и один тянет за собой другие.

В чем признаваться и что отрицать? Одно Джордано знает совершенно твердо: все, от чего он будет отрекаться, не должно затронуть сути его мировоззрения. Он может каяться в том, что не соблюдал постов, впадал в плотский грех, не почитал икон, общался с еретиками. Он может, на худой конец, признаться, что сомневался в какой-либо из ослиных доктрин. Какое ему дело до их бессмысленных догм, чудовищных по своей нелепости суеверий, постыдного

идолопоклонства, лицемерных заповедей, варварских обрядов! Что ему вся их вера, преисполненная ослиности!

Оправившись от первого волнения, Мочениго понял, в какое рискованное положение он поставил себя доносом. Столько времени терпеть под своим кровом страшнейшего еретика и задержать его лишь в последний момент, накануне отъезда? Если он поступил по велению совести, то почему она молчала все эти долгие месяцы, пока Бруно жил в его доме и изрыгал ересь? Инквизитор принял донос, отдал приказание об аресте Ноланца, но с Мочениго держался сурово. Тот должен был намного раньше разоблачить еретика! Все ли рукописи и книги арестованного он передал в Святую службу? Не забыл ли чего? Все ли припомнил?

Как оправдаться? В понедельник Мочениго принялся писать второй донос. Он неуклюже пытается выгородить себя, сочиняет благочестивую речь, которой будто бы увещевал Бруно отказаться от преступных взглядов. Уверяет, что обещал ему в этом помощь. Бурный разговор, происшедший между ними в каморке, где был заперт Джордано, излагает так, чтобы показать собственную непреклонность. Ноланец, оказывается, соглашался на все, чтобы получить свободу, предлагал возвратить деньги и вещи, обещал никуда не уезжать, клялся одному ему раскрыть секреты своих напечатанных и задуманных произведений, просил лишь вернуть книжицу заклинаний. Был уступчив до предела, соглашался стать рабом Мочениго и обучить своего покровителя без вознаграждения всему, что знает сам. Но он, Джованни, был стоек, отверг соблазнительные посулы и предпочел выдать злодея.

Конечно, он виноват, что представил донос с запозданием, и молит о прощении. Пусть учтут его благие намерения и трудности, с которыми он столкнулся. Все сразу разоблачить он не мог. Преступность Бруно он распознал лишь после того, как тот поселился в его доме, месяца два назад. Он всегда хотел выдать еретика Святой службе и выражает величайшую признательность его преподобию за проявленную заботу.

Инквизитор прочел новый донос, осмотрел доставленные вещи, деньги, книги, полистал рукописи, в том числе и «книжицу заклинаний» под заглавием «О печатях Гермеса». Приступил, как требовал обычай, к допросу доносителя. Расспросил о происхождении,

возрасте, роде занятий. Велел присягнуть, что изложенное им сущая правда. Мочениго, возложив руку на евангелие, поклялся. Он подтверждает содержащееся как в первом, поданном в субботу доносе, так и в написанном сегодня. Клятвенно обещает не разглашать происшедшего в Святой службе и дает в этом подписку.

Когда все формальности соблюдены, верховный инквизитор Венеции опять строго наказывает синьору Джованни хорошенько подумать. Неужели так трудно вспомнить и другие, наверняка многочисленные высказывания Ноланца, противные католической вере?

На следующий день, во вторник, 26 мая 1592 года, фра Джованни Габриэле ознакомил членов венецианского трибунала Святой службы с поступившими доносами. Капитан Маттео д'Аванцо доложил, что, исполняя приказ, арестовал Бруно и водворил его в тюрьму инквизиции.

Делу по обвинению Джордано Бруно был дан ход. Прежде всего вызвали издателя и книготорговца Джамбаттисту Чотто. На него как на возможного свидетеля указал Мочениго. Чотто сказал, что впервые встретил Ноланца во Франкфурте, почти два года назад, когда приехал на осеннюю ярмарку. Он обыкновенно останавливается в кармелитском монастыре. Здесь находился и Бруно. По соседству с ним Чотто прожил недели две. Они несколько раз беседовали. Бруно — философ, очень образованный и знающий. В Венеции они тоже виделись. Бруно неоднократно приходил к нему в лавку, просматривал и покупал книги.

— А как вышеназванный Бруно очутился в Венеции?

Насколько ему известно, ответил Чотто, Джордано приехал по приглашению Джованни Мочениго, венецианского дворянина. Однажды Мочениго, купив книгу «О трояком наименьшем и мере», очень заинтересовался ее автором, стал расспрашивать, не знаком ли он с Бруно и не знает ли, где тот находится. Чотто сказал, что встречался с Ноланцем во Франкфурте. Там, очевидно, живет он и поныне. Мочениго признался, что намерен позвать его в Венецию и учиться у него. Чему? Желание Мочениго Чотто передал в весьма осторожных словах: тот хотел учиться у Ноланца «секретам памяти и другим, которыми, как видно из его книги, он владеет». Но Мочениго сомневался, ответит ли Бруно согласием. Если его как следует

пригласить, посоветовал Чотто, то он, возможно, не откажется. Несколько дней спустя в лавку пришел Мочениго и принес письмо с просьбой переправить его Бруно. Это и было сделано. Ноланец приехал в Венецию семь или восемь месяцев тому назад. Некоторое время он снимал здесь комнату, потом уехал в Падую, где пробыл месяца три, однако часто приезжал в Венецию. Последнее время он живет в доме синьора Мочениго. Там, вероятно, находится и сейчас.

— Чем он занимался в Падуе и что делал в доме Мочениго?

Ничего, кроме того, что он слышал от самого Ноланца, Джамбаттиста сказать не может. Бруно что-то писал по поручению вышеназванного Джованни, чтобы обучить его памяти и другим наукам. Вероятно, этим же он занимается в его доме.

На вопрос о других книгах Бруно Чотто отвечал, что видел еще «О героическом энтузиазме» и «О бесконечности, вселенной и мирах». На них указано, что они изданы в Венеции, а в действительности же их печатали в Англии. От франкфуртских студентов он слышал, что Бруно читал лекции по философии в Париже и различных городах Германии.

— Католик ли означенный Джордано и живет ли он по-христиански?

Чотто не оправдал надежд:

— Встречаясь с Джордано, как уже говорил, я никогда не слышал от него вещей, которые заставили бы меня усомниться в том, что он добрый католик.

Книготорговца поставили в известность, что ждет того, кто выгораживает злодеев, привлеченных к суду Святой службой. Есть лица, ссылающиеся на Чотто как на человека, который может подтвердить враждебное отношение Бруно к католической церкви. Пусть-ка он все выкладывает! На него решительно наседают.

Он повторяет, что никогда не слышал от Ноланца ничего противного вере. Добавить он может только следующее. Еще перед пасхой, когда он собирался во Франкфурт на ярмарку, к нему в лавку заявился синьор Джованни. Первым делом он справился, поедет ли Чотто в Германию. Получив утвердительный ответ, сказал, что имеет к нему просьбу. Известный ему Джордано, для которого он не жалел ни денег, ни одежды, взялся обучать его многим вещам. Однако он, Мочениго, не в силах заставить его держаться уговора и сомневается,

порядочный ли он человек. Поэтому он просит оказать ему услугу и поподробней разузнать во Франкфурте, что представляет собой Бруно. Из тех ли он, кому можно доверять, и исполняет ли он обещания.

Джамбаттиста уважил просьбу. Во Франкфурте он разговаривал со многими студентами, которые общались с Бруно. Они отзывались о Ноланце с похвалой, утверждали, что он обучал «искусству памяти» и другим подобным тайнам. Однако нашлись и такие, кто остался не удовлетворен его занятиями. Узнав, что Бруно в Венеции, они не скрывали удивления. Как он, мол, может там находиться, если даже здесь, в Германии, его считали человеком, который не держится никакой религии! Вернувшись с ярмарки, Чотто рассказал об услышанном синьору Джованни. «Я опасаюсь того же, — сказал Мочениго. — Но я погляжу, что еще можно извлечь из его обещаний, дабы не потерять всего потраченного на него. А потом я выдам его Святой службе!»

Это все. Больше о Джордано ему ничего не известно. Если он узнает еще что-нибудь, пообещал Джамбаттиста, то сообщит.

Сразу же вслед за Чотто был допрошен и второй книготорговец, Джакомо Бертано. Он познакомился с Бруно во Франкфурте, куда постоянно ездит на ярмарку, потом встречался с ним в Цюрихе и в Венеции. Ноланец писал книги и читал лекции. Бертано никогда не слышал из его уст ничего противного христианской вере.

Оба книготорговца точно сговорились друг с другом! Они явно не желают раскрыть правду. А ведь Мочениго определенно указал, что в беседе с ним Бертано называл Ноланца врагом Христа и признавался, будто слышал от него много ереси.

Бертано твердит, что никакой ереси не слышал. Опасность своего положения он понимает и хочет избежать очной ставки. Джакомо вспоминает, что говорил ему во Франкфурте настоятель кармелитского монастыря. Тот отзывался о Ноланце как об ученом большого ума и великих знаний. Однако, по его словам, Бруно, будучи универсальным человеком, не держится никакой религии и утверждает, будто знает больше апостолов и мог бы при желании сделать так, чтобы весь мир пришел к одной вере.

Ничего более, говорит Бертано, он не имеет сообщить. Имя настоятеля ему тоже неизвестно, хотя он полагает, что тот по-прежнему в монастыре.

— Кто здесь, в Венеции, водит тесную дружбу с означенным Джордано и кто хорошо осведомлен о его жизни и нравах? Короче, кто в состоянии рассказать о вещах, интересующих Святую службу?

Книготорговец сокрушенно качает головой. Он не знает таких людей, кроме франкфуртского настоятеля, но о нем уже упоминал.

Его просят перечислить все сочинения Бруно, которые он читал или видел, их тему, место издания. Бертано говорит, что видел многие книги Ноланца, называет три работы, посвященные Луллиеву искусству, других теперь не припомнит. Сам он этих книг не Читал, но слышал, как говорили, будто они произведения редкого ума и весьма любопытны.

У него, кажется, был где-то, добавляет Бертано, список сочинений Ноланца. Он получил его от Бруно. Если он разыщет этот список, то немедленно представит в Святую службу.

После допросов Чотто и Бертано инквизитор приказал привести из тюрьмы обвиняемого. Ему велели подойти, положить руку на евангелие и поклясться говорить только правду. Ложь ввергает человека в пучину закоренелости, а правдивость, вестница раскаяния, открывает путь спасения.

— Я буду говорить правду. Много раз мне грозили предать суду Святой службы. Всегда считал я это шуткой, ибо готов дать отчет о себе.

И он стал рассказывать о взаимоотношениях с Мочениго, но не счел нужным упомянуть о его интересе к запретным наукам. Он обучал его достаточно долго, а когда убедился, что выполнил свои обязательства, то решил вернуться во Франкфурт и издать там некоторые свои работы. Синьор Джованни, узнав о его близком отъезде, помешался от подозрений: он, мол, хочет обучать других лиц тем же знаниям, что преподавал и ему. Мочениго всеми силами старался его удержать, уговаривал, грозил. В конце концов он посадил его под замок и выдал капитану, который увел его в тюрьму.

Бруно безошибочно назвал доносчика:

— Я убежден, что меня лишили свободы благодаря стараниям означенного Мочениго. В силу причин, о которых я упомянул, он питал ко мне злобу и подал, вероятно, какой-то донос на меня.

Ему велели подробно поведать о его прошлом, о происхождении, возрасте, профессии. Он назвал своих родителей, рассказал о детстве.

Род его занятий?

— Мои занятия — литература и все науки.

Упомянул о первых учителях, рассказал, как стал послушником, как принял священнический сан. До 1576 года он находился в повиновении у начальствующих лиц ордена. О причинах, которые заставили его сбросить рясу, сказал кратко, не вдаваясь в подробности:

— В 1576 году я находился в Риме, в монастыре Марии делла Минерва, в повиновения у магистра Систо ди Лукка, прокуратора ордена. Я прибыл, чтобы представить оправдания, так как в Неаполе против меня дважды возбуждали дело.

В первый, раз, пояснил Бруно, его обвинили в презрении к святым образам, потому что он выбросил из кельи иконы и оставил только распятие. А во второй раз совсем из-за пустяка. Его неправильно поняли. Один послушник читал «Историю семи радостей богородицы» в стихах. Бруно сказал ему, что читать эту книжку бесполезно, пусть вышвырнет ее и займется лучше чтением чего-нибудь другого.

— В то время, — продолжал Бруно, — когда я прибыл в Рим, это дело возобновилось в связи с другими обвинениями, содержание которых мне неизвестно. Поэтому-то я и покинул духовное звание, снял монашескую одежду и уехал в Генуэзскую область, в Ноли. Там я провел четыре или пять месяцев, занимаясь преподаванием грамматики детям.

На этом первый допрос обвиняемого закончился.

У инквизитора есть основания быть недовольным. Доносчик рассказал далеко не всю правду. Верный и послушный сын церкви, по велению совести выдавший еретика? Однако он не очень-то торопился. Трудно было сразу распознать преступную натуру Ноланца? Тот прожил в его доме совсем недолго — месяца два? Не два, а добрых четыре! Показания Чотто весьма неблагоприятны для Мочениго. Еще в начале февраля, перед поездкой Чотто на ярмарку, Мочениго был полон сомнений. По возвращении книготорговца он признался, что считает Бруно безбожником и подумывает выдать инквизиции, но боится, видите ли, потерять деньги, которые на него потратил. С тех пор прошло много времени. Мочениго медлил. Совесть все молчала или он надеялся подчинить Бруно своей воле? Доносчик вынужден оправдываться, но его уверения звучат фальшиво. Он грозил Ноланцу Святой службой, если тот не уступит. Бруно

согласился, а он все-таки взял его и выдал? Рассказ обвиняемого правдоподобней. Мочениго настрочил донос, потому что не смог добиться своего. Не велика добродетель, которая просыпается лишь тогда, когда не удаются нечестивые замыслы.

Мочениго лезет из кожи вон, чтобы угодить трибуналу. Пишет еще один донос, вспоминает брошенные вскользь слова, шутки, греховные признания. Ноланец осуждал насильственные меры, применяемые церковью к иноверцам, возлагал большие надежды на Генриха Наваррского, заявлял, что мир стоит накануне великих перемен, смеялся над единосущностью троицы и страшным судом. А как любил он женщин!

Доносчик сообщил мало нового. Он повторялся. Но желание посильней досадить ненавистнику оставалось неутоленным, а страх перед подозрительным и всепроникающим взором отца-инквизитора по-прежнему холодил душу.

На первом допросе, рассказывая о некоторых малопохвальных страницах своей молодости, Джордано проявил странную забывчивость. В существенном был немногословен, зато сыпал ненужными деталями: вспомнил, что монашеский обет вместе с ним принимал только один послушник, пояснил, что 1576 год был следующим за годом юбилея, не забыл имени прокуратора, но счел возможным особенно не распространяться по поводу злополучных событий, когда дважды начинали следствие. Он выражался весьма осторожно: не сказал, что бежал из Неаполя, а просто сообщил «я находился в Риме», «прибыл, чтобы представить оправдания». Свое пренебрежение к духовной книге, из-за которого будто бы против него снова возбудили дело, снабдил оговоркой, очень смягчавшей вину: пусть, мол, послушник бросит плохую книгу, чтобы читать жития святых!

Но сколько еще впереди тяжелых вопросов! Касаясь ссоры с Мочениго, он сказал, что собирался в, Германию, дабы печатать там свои произведения. Что же получается? Приехал к Мочениго, пожил в Венеции и решил возвращаться к еретикам? Вся эта история говорит только о нежелании изменить греховный образ жизни. Где хотя бы малейшее доказательство его раскаяния, его благих намерений, предваряющих всякое исправление? Ну хорошо, он приехал по приглашению Мочениго. Не слишком ли дерзко, будучи отступником,

заявиться в Венецию? Но почему должны ставить ему все в вину? С его стороны это не дерзость, а смирение. Он вернулся с чистым сердцем, чтобы заслужить у папы прощение. Конечно, он только об этом и думал!

Но как это доказать? Восемь месяцев назад он вступил на землю республики, но так ничего и не предпринял, чтобы осуществить свое жгучее желание! Мало того, он пытался бежать в Германию и наверняка бы скрылся, если бы не Мочениго. Но и этому есть объяснение: он, правда, готовился к отъезду, но это не бегство. Сама мысль о поездке возникла у него из стремления угодить папе. Во Франкфурте он бы собрал и издал свои труды, чтобы покорнейше повергнуть их к стопам его святейшества. Но почему, находясь так долго в Венеции, он даже не сделал попытки примириться с церковью? Здесь тоже нет ничего странного. Все эти восемь месяцев он страстно желал, но никак не мог найти способ заслужить прощения. Лишь в последние дни его осенила счастливая мысль — поднести свои работы папе и таким необычным путем получить отпущение грехов.

Именно так он и будет говорить! Это поможет ему избежать большой опасности, которая возникнет, если инквизиторы начнут выискивать ересь в его сочинениях. Подносить папе книги, где есть и ошибочные, с точки зрения богословов, положения? Нет, он хотел поднести только те, которые одобряет. В них, мол, он видел надежный шанс заслужить благосклонность римского первосвященника!

Он не должен подавать и виду, что боится цензуры. При всяком удобном случае он будет ссылаться на свои книги, чтобы у судей не зародилось и мысли, что там содержится ересь!

Скоро ли его снова призовут инквизиторы? Прошло три дня, прежде чем состоялся второй допрос.

Горестным тоном поведал Джордано о своих скитаниях по Италии, о пребывании в Женеве. Он, разумеется, умолчал о том, что примкнул к кальвинистам, о том, что был арестован, отлучен от церкви, подвергнут постыдному наказанию. Причины отъезда из Женевы объяснил просто: ему, мол, объявили, что если он хочет и дальше оставаться в городе, то должен принять кальвинистскую веру, без чего не может рассчитывать на их поддержку. Он предпочел уехать.

Он рассказал о Тулузе, Париже, Лондоне, о годах, прожитых в Германии. Столкновений с властями обсуждать не стал. Забыл и

неистовство тулузских студентов, и оксфордский скандал, и бурный диспут в Коллеж де Камбре, и конфликт в Хельмштедте, и запрещение проживать во Франкфурте. Ответы его не отличались особым разнообразием: из Тулузы и из Парижа он вынужден был уехать из-за волнений гражданской войны.

Вспоминая прошлое, Джордано сожалел иногда о своих проступках, но говорил об этом как о вещах, которые совсем нетрудно исправить.

На первом допросе он упомянул, что собирался в Германию, чтобы издать там свои книги. Теперь Бруно вносит очень существенное уточнение: во Франкфурте о, н хотел напечатать ряд работ, в частности «О семи свободных искусствах», и, явившись в Рим, повергнуть их к стопам папы.

— Мне известно, — говорит Джордано, — что его святейшество любит даровитых людей. Я рассчитывал получить отпущение грехов и дозволение носить духовный сан, но жить вне монастыря.

Как все это меняет картину! Не сорвавшаяся попытка бегства к еретикам, а поездка с благочестивыми целями! Но ведь ничего подобного не сообщил ни Мочениго, ни Бертано, ни Чотто?

Джордано не хочет быть голословным. У него есть свидетели. О его намерении знают неаполитанские монахи, приехавшие на капитул. Это может подтвердить Доменико да Ночера.

Эти неожиданные признания не порадовали инквизиторов. Они иначе представляли себе дело. Обвиняемый пожелал еще кое-что добавить. Не надо думать, что все написанное им прежде он одобряет и сейчас. В некоторых своих книгах он выступал скорее как философ, чем как добрый католик, и рассуждал неподобающим образом о могуществе, мудрости и благости бога. Все это он излагал согласно христианским догмам, но тем не менее теперь не одобряет, поскольку основывал свое учение на чувствах и разуме, а не на вере.

Бруно не стал говорить подробнее об «ошибочных» сторонах своих учений. Зачем ему облегчать задачу инквизиторов и указывать на вещи, которые могут остаться незамеченными? Он ограничился сказанным и отослал к своим книгам.

Заявления Бруно были столь важны, что инквизитор Венеции нашел необходимым тут же повидать фра Доменико. Допрос Джордано происходил в субботу и кончился поздно. Наутро инквизитор,

отказавшись от воскресного отдыха, направился в монастырь к Доменико да Ночера и попросил его рассказать, а затем и письменно изложить все, о чем они беседовали с Джордано Бруно.

Фра Доменико умудрен опытом И искренне расположен к своему бывшему ученику. Он знает, как и что отвечать инквизитору. Незадолго до троицы здесь, в церкви, он увидел одетого в мирское платье человека. Тот почтительно ему поклонился. Не сразу узнал он в нем земляка, ученого, жившего прежде в монастыре, фра Джордано из Нолы. Отыскав уединенное местечко, они принялись беседовать. Бруно рассказал о причинах, побудивших его снять рясу. Виной тому нападки тогдашнего провинциала Бруно, по его собственным словам, долго скитался по чужим странам, но всегда вел католический образ жизни. От старого наставника не скрыл он и своих планов: он решил книгу, которую держит в голове, написать и представить его святейшеству. Таким путем он думает добиться расположения, переехать в Рим, продолжать научные занятия и чтение лекций.

Инквизитор очень недоволен. Испортить себе воскресенье, чтобы выслушивать такое! Еретик, оказывается, помышлял лишь о том, чтобы угодить папе. Он, видите ли, всегда и везде жил как добрый католик. До этого не додумался и обвиняемый!

Доменико да Ночера спокойно клал руку на библию, клялся говорить одну только правду, невозмутимо подписывал показания. Да и почему он должен волноваться? Если что и не так, то не по его вине. Он не давал никаких оценок, а лишь пересказывал слова собеседника. Говорили же они с глазу на глаз. Его нельзя уличить во лжи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

НА УСТАХ — ПОКАЯНИЕ, В СЕРДЦЕ — НЕПРИМИРИМОСТЬ



Когда в трибунале зашла речь о его работах, Бруно подал заготовленный ранее список. Составлен он был с упором на латинские сочинения. Наиболее опасные книги вроде «Изгнания торжествующего зверя» и «Тайны Пегаса» не упоминались вовсе. Джордано предупредил, что не он автор находящейся среди его бумаг рукописной книжицы «О печатях Гермеса».

На вопрос, правильно ли на его книгах указано место издания, ответил, что все труды, будто бы напечатанные в Венеции, на самом деле изданы в Англии. Разумеется, не в его интересах было вспоминать, почему английский типограф предпочитал выпускать сочинения Ноланца с ложным местом издания. Джордано объяснил его побуждения просто: издатель хотел, чтобы книги получили самое широкое распространение. Если бы на них было указано, что они

напечатаны в Англии, то продавать их в Италии было бы намного труднее.

Говоря о содержании своих книг, Бруно подчеркнул их философский характер. Он убежден, что в его; книгах не содержится мнений, позволяющих сделать вывод, будто он хотел скорее опровергнуть религию, чем возвеличить философию, хотя в них он и касался враждебных вере взглядов. Непосредственно он не учил тому, что противоречило бы христианской религии. Правда, в Париже полагали, что он косвенным образом выступал против веры. Но тем не менее ему было разрешено защищать на диспуте свои «Сто двадцать тезисов против перипатетиков», поскольку они, объясненные философски, куда меньше противоречат вере, чем положения Аристотеля и Платона, вызывающие его возражения.

Бруно упорно ссылался на латинские сочинения, изданные во Франкфурте. Из них прекрасно видно, каких взглядов он держится. Излагая перед трибуналом инквизиции свои воззрения, Бруно не отказался от учения о бесконечности вселенной и множественности миров, однако покривил душой, когда пытался разными оговорками ослабить антирелигиозное значение проповедуемых им мыслей. Он часто в своих книгах говорил о боге, о природе как боге в вещах, называл природу богом и бога природой[14].

Но его представления о мире были очень далеки от христианских. Он отвергал идею сотворения вселенной и зло потешался над верованием, будто все на свете происходит согласно промыслу создателя.

Он пустился в пространные богословские рассуждения, дабы показать, что его учение не должно быть истолковано как ересь, хотя и признал, что из мысли о бесконечности вселенной и множественности миров косвенно и вытекает отрицание истины, основанной на вере.

В его учении есть стороны, не согласующиеся с отдельными положениями религии. Но это происходит не из злого умысла, а из-за того, что в своих рассуждениях он исходил из соображений философии, он не чувствует себя безгрешным и не хочет ничего утаивать от Святой службы. Рассказать не только о поступках, поведать о сокровенных мыслях, которые никогда никому не высказывались, — не значит ли это убедить инквизиторов в своем совершеннейшем раскаянии?

Бруно признает, что, размышляя над догмой о троице, испытывал сомнения. В духе святом он видел мировую душу, то есть понимал третье лицо не так, как предписывает церковь, а согласно со взглядами пифагорейцев и премудрого Соломона. Относительно второго лица он тоже пребывал в сомнении: как это сын божий, единосущный отцу, может от него отличаться? Да и позволительно ли вообще прилагать к божеству термин «лицо»? Ведь еще святой Августин отметил, что этот термин не древнего происхождения, а возник в его время. Подобного взгляда он, Бруно, держался с восемнадцати лет, но сомневался лишь наедине с собой. Что же касается первого лица, то он без всяких колебаний веровал во все, во что должен веровать истинный христианин. Он не понимал лишь, каким образом второе лицо могло воплотиться и пострадать. Однако возможности этого он никогда не отвергал.

В самом деле, он никогда ни с кем не делился своими взглядами на учение о триединстве божества? По настойчивости, с которой его спрашивают, Джордано видит, что инквизиторам известны его высказывания. Но какие? Он бесчисленное множество раз в шутку и всерьез высмеивал нелепую догму о троице.

Он хорошо помнил недавний спор в книжной лавке, злые лица священников, тревогу хозяина. Что имеет в виду инквизитор? Только ли донос Мочениго? Не лучше ли самому рассказать об этом, рассказать по-своему, чтобы смягчить возможные обвинения? Если, мол, ему и случалось говорить что-либо неподобающее о троице, то лишь тогда, когда он излагал чужие мнения. Джордано знает, что ему не избежать расспросов о деле, которое возбудили против него в Неаполе. Сказанного прежде недостаточно. Однако не в его интересах увеличивать число обвинений. Раз уж он решил упомянуть о споре в лайке, то зачем ему признаваться в новых прегрешениях? Диспут, бывший одной из причин начатого в Неаполе следствия, тоже касался Ария! Он, Бруно, настаивал на том, чтобы воззрения Ария излагали правильно.

Так он и отвечает. Здесь, в Венеции, ему тоже пришлось об этом говорить. Места, где происходил разговор, он точно не помнит. Он только сказал тогда, в чем, по его мнению, заключается взгляд Ария.

Где же это было? В аптеке или книжной лавке. Он беседовал с какими-то богословами. Ему, к сожалению, неизвестно, кто они. Их

лица он совсем забыл. Даже если бы ему довелось встретиться с ними, он бы их не узнал.

Когда после перерыва допрос возобновился, Бруно опять повторил, что если в своих работах и высказываниях он излагал вещи, противные католической вере, то делал это не с целью навредить религии, а основывался исключительно на философских доводах или. приводил мнения еретиков.

Его долго допрашивали о взглядах на воплощение господне и на Христа. Бруно упрямо повторял, что, несмотря на свои сомнения, он никогда не отвергал божественности Спасителя и не выступал ни против авторитета библии, ни против символа веры.

Рассуждения обвиняемого о чудесах, совершенных Христом и апостолами, прервали новым вопросом: как он смотрит на таинство святой обедни и пресуществления? Бруно стал уверять, что в этом всецело разделяет ортодоксальные взгляды. Если он и не посещал обедни, то только из. страха. Ведь ему как отступнику это строго-настрого запрещено. Да» он долгие годы жил среди еретиков, но не одобрял их воззрений. Общаясь с ними, он ограничивался обсуждением философских вопросов. Кальвинисты, лютеране и прочие еретики, зная, что он не примкнул ни к одной из их религий, скорее считали, что он вообще не держится никакой веры, чем думали, будто он разделяет их учения.

Трибуналу было известно, что обвиняемый позволял себе-кощунственные выпады против Христа, называл его злодеем и поносил богородицу. Когда Джордано стали об этом расспрашивать, он разыграл возмущение. У него и в мыслях не было такого. Все, чему учит святая матерь церковь о Христе и приснодеве, он считает истинным.

— Если обнаружится, что я высказывал что-либо противное, то пусть меня подвергнут любой каре!

Когда заговорили об исповеди, Бруно подтвердил, что ему известна спасительная роль покаяния, которое очищает человека от грехов, и с сожалением признал, что лет шестнадцать не был у исповедника. Дважды, в Тулузе и Париже, пытался он получить отпущение, но ему отказывали как отступнику. Он всегда стремился добиться прощения, чтобы жить по-христиански.

Его допрашивают о взглядах на бессмертие души, выясняют мнение о богословах. Бруно уверяет, что католических богословов он всегда высоко ценил, а порицал только теологов-лютеран и прочих еретиков. Он не скрывает, что читал запрещенные книги, но делал это не с целью усвоить ложные доктрины, а просто из любознательности.

Но ведь он заявлял, что католическая вера преисполнена кощунства, высказывался против огромных доходов духовенства, хулил политику церкви, провозглашал необходимость коренных преобразований! Джордано протестует: он держался совершенно иных взглядов.

Так ли это? Пусть-ка он вспомнит, что говорил о чудесах Христа, творимых при помощи магии. Он и сам хвалился, будто может являть чудеса и намерен повести за собой весь свет!

Воздев руки к небу, Джордано воскликнул:

— Что это? Кто плетет такую чертовщину? О господи, что же это? Лучше умереть, чем выслушивать подобное!

Ему напоминают, как он издевался над воскрешением и вечной жизнью. Он негодующе отвергает эти обвинения. Хотя он и не отличался благочестивостью, из его книг видно, что в подобных вещах, он не повинен.

— Какого мнения был он о плотских грехах вне таинства брака?

Да, да, это очень важно! Церковь сурово карает злодеев, которые утверждают, что в близости с женщиной нет греха. Бруно с юности знает этих суровых обличителей порока, велеречивых моралистов, неумолимых блюстителей нравов. Они не жалеют слов, когда поносят паству. Мучают какую-нибудь деревенскую девчонку, позорят с амвона, травят. А сами? Охотно рассуждающие о святости брака, они не гнушаются ничем, чтобы растлевать прихожанок: соблазняют деньгами, учат обманывать мужей, запугивают, ловко пользуются наивностью и невежеством. «Страшен плотский грех, но уступить священнику не значит согрешить!» Что гнуснее разнузданного безбрачия клириков? Монахи отводят душу в притонах. Епископам расторопные сводни поставляют отроковиц. Кардиналы в открытую разъезжают по Риму в экипажах с самыми дорогими куртизанками. Римский первосвященник, коль крепок здоровьем, по числу наложниц не ударит лицом в грязь и перед султаном. А Святая служба

вылавливает еретиков, осмеливающихся оправдывать плотские прегрешения.

О лицемерие!

Мне приходилось иногда высказываться, что плотские прегрешения, беря в целом, — наименьший грех среди прочих. Грех же прелюбодеяния есть больший, чем остальные плотские грехи, если не считать греха против природы. По-моему, грех простого блуда столь легок, что приближается к простительному греху. Так я говорил несколько раз и признаюсь, что высказывал заблуждение, ибо помню слова святого Павла: «Прелюбодеи не унаследуют царствия божьего». Однако я говорил это по легкомыслию, беседуя в компании о праздных мирских вещах.

Утверждал ли он, что сама церковь совершила великий грех, установив грех плоти, который так прекрасно служит природе?

Нет, подобного он никогда не утверждал. Если он и объявлял блуд более легким грехом, чем следует, то делал это, чтобы позабавить компанию.

Признания Бруно не могут удовлетворить трибунал. Дело идет об очень серьезных вещах, а не о каких-то частностях. Он отрицал многие христианские догмы и защищал вопиющую ересь. Ему перечисляют основные обвинения, почерпнутые из доноса. Они хотят ни больше, ни меньше, чтобы он признал свою виновность по всем пунктам, по которым его допрашивали!

Кое в чем он изъявил готовность покаяться, но этого недостаточно. Он должен по-настоящему очистить свою совесть и выложить всю правду. Трибунал предпримет все необходимое для спасения его души. Но обвиняемый прежде обязан исповедаться во-всем, что говорил или думал против католической веры. Если он раньше привлекался к суду инквизиции, то пусть скажет, где, когда и за что. Он обязан сделать искренние и исчерпывающие признания о своей жизни как в ордене, так и вне его, дабы достичь того, что должно быть целью всех его помыслов, — быть принятым обратно в лоно святой матери церкви.

Радение о его душе сопровождалось угрозой:

— Напоминаем вам, что коль вы будете и впредь упорствовать в отрицании того, в чем уличены, то не удивляйтесь, если Святая служба обратит против вас те крайние средства, которые может и обязана применять против закоренелых преступников, не желающих

положиться на милость божью, ибо Святая служба печется о том, чтобы с состраданием и христианской любовью вывести к свету пребывающих во тьме, а сбившихся с истинного пути наставить на дорогу вечной жизни.

Ему грозят пыткой? Хотят, чтобы из страха перед палачами он сознался в притворстве и подтвердил правильность всех обвинений? Нет, Ноланец не поддастся на такие уловки!

— Пусть господь не простит мне грехов, если я не говорил правды во всем, о чем меня спрашивали и что мне напоминали. Однако ради большего удовлетворения я основательней обдумаю свои поступки и, если вспомню еще что-либо сказанное, или содеянное против католической веры, откровенно признаюсь. Итак, я заявляю, что показал одну только правду. Так же буду поступать впредь и уверен, что меня никогда не уличат в противном!

На следующий день от него потребовали ответа. Решился ли он, признав себя виновным, рассказать всю правду?

Он много думал. Что он может еще добавить?

Есть грех, который отягощает его душу. Он жил среди еретиков и не соблюдал постов, во всякое время ел вместе с ними мясо и пил различные напитки. Часто он даже не знал, наступил ли великий пост.

Его мучили угрызения совести, но он не показывал этого, чтобы не стать предметом насмешек. Бог свидетель, что он вкушал скоромную пищу не из пренебрежения к религии! Соблюдение постов считает делом благочестивым и святым. Он бы сам с радостью постился, если бы не вынужден был считаться с обычаями окружавших его людей.

Какие невероятные вещи он рассказывает! Признает, что из любопытства посещал проповеди еретиков «уходил, как только начинался обряд раздачи хлеба; Но ведь он, чтобы не вызвать неудовольствия еретиков, ел мясо в запретные дни. Как же он не боялся рассориться с ними, отказываясь участвовать в их обрядах?

— О том, в чем я грешил, я говорил правду.

Но в этом я не совершил греха, и никто не уличит меня.

Обвиняемый вовсе не хотел, чтобы слова его истолковывались превратно, и опять заговорил о своих сомнениях относительно воплощения господня.

Он сделал ряд разъяснений и снова повторил, что никогда на эту тему ни с кем не беседовал. В трибунале же завел об этом речь только

для того, чтобы облегчить совесть.

Он вернулся к обвинениям в порицании чудес Христа и апостолов, снова решительно отверг их и высказал уверенность, что они почерпнуты из доноса: Повторил, что если ему было что поведать о своих сомнениях, то он сделал бы это, дабы очистить совесть покаянием.

Его, спросили, имел ли он какую-нибудь книгу о заклинаниях и не собирался ли заняться «искусством прорицания». Он ответил, что к книгам заклинаний он всегда относился с презрением. «Искусство же прорицания», особенно юдициарную астрологию, хотел изучить, чтобы выяснить, есть ли в ней что-либо ценное. Об этом намерении он сообщал различным людям, говоря, что занимался почти всеми областями философии и интересовался всеми науками, кроме юдициарной астрологии.

Потом, когда его стали «расспрашивать о «Пире на пепле», он не упомянул Фулка Гривелла, а сказал, что диспут был в доме французского посла. Возможно, в книге есть какие-либо ошибочные положения, но он сейчас их не помнит. В этих диалогах, трактующих о движении Земли, он хотел посмеяться Над взглядами врачей, с которыми тогда спорил.

Пункт за пунктом перебирали инквизиторы обвинения, содержащиеся в доносе Мочениго. Но никакой существенной вины Бруно больше не признал. Восхвалял ли он еретических государей? Да, в этом он виноват, но он восхвалял их не за то, что они еретики, а лишь за свойственную им добродетель. Конечно, он допустил ошибку, называя Елизавету, как это принято в Англии, «божественной». С королем наваррским он никогда не общался, а что касается надежд, которые на него возлагал, то в них нет ничего преступного: он думал, что тот, умиротворив Королевство, подтвердит распоряжения предшествующего монарха и ему, Бруно, разрешат публичные лекции.

Он говорил, что хочет стать предводителем и пользоваться чужими богатствами? Нет, у него никогда не появлялось желания стать военным или заниматься чем-нибудь иным, помимо философии и прочих наук.

В конце допроса ему предложили добавить что-либо к прежним показаниям или что-либо исключить.

Он довольствовался изложенным и никаких дополнений сделать не пожелал.

— Продолжаете ли вы все еще держаться заблуждений и ересей, в которые впали и в которых сознались, или же питаете к ним отвращение?

Да, он проклинает и осуждает все заблуждения и ереси, коих держался. Раскаивается во всем, что думал, делал или говорил противного католической вере. Он умоляет снизойти к его слабости, принять в лоно святой церкви и даровать ему необходимое исцеление.

Ему задали вопрос, от которого в немалой степени зависел исход процесса: подвергался ли когда-нибудь раньше обвиняемый суду инквизиции и не приносил ли отречения?

Джордано сослался на свои прежние показания, сказал, что, когда был послушником, настоятель за пренебрежение к образам святых грозился подать донос, но разорвал бумагу. Поэтому ему неизвестно, было ли начато следствие. В 1576 году провинциал тоже возбудил против него какое-то дело. Но обвинений он, Бруно, не знает ни в целом, ни в частностях. Опасаясь ареста, он и уехал в Рим.

Члены трибунала испытывают сомнения. Так он ничего и не ведает о сути выставленных против него обвинений? Не чувствует за собой проступков, которые могли их вызвать?

Они хотят, чтобы он сам приумножил обвинения?

Их никак не убедишь, что ему совершенно неизвестны причины преследования? Ну, раз на него так наступают, он вынужден кое-что вспомнить. Он уже говорил о своих суждениях относительно Ария. Сейчас он вернется к этой теме, поделится своими предположениями, но новой ереси инквизиторы из этого не извлекут.

— Я не представляю себе, по какому обвинению было возбуждено следствие. Разве только в связи с таким случаем. Однажды в присутствии нескольких монахов я беседовал с Монтальчино, ломбардцем, братом нашего ордена. Он утверждал, что еретики — невежды и не знакомы со схоластическими терминами. Я возражал, что они, конечно, не облекали своих утверждений в схоластическую форму, однако излагали свои взгляды вполне доступно для понимания. В качестве примера я привел ересь Ария. Упомянутым монахам было достаточно, чтобы провозгласить, будто я защищаю еретиков и считаю

их учеными людьми. Больше я ничего не знаю. Я не предполагал, чтобы по этой причине могло быть возбуждено следствие.

В уверениях Бруно есть слабое место. Итак, опасаясь тюрьмы, он скрылся из Неаполя. Но что он может сообщить трибуналу о своем пребывании в Вечном городе? Если он явился туда, чтобы перед лицом начальства оправдаться от наветов врагов, то чем объяснить его бегство из Рима? Джордано не имеет ни малейшей охоты говорить о настоящей причине своего поспешного отъезда. Зачем ему вспоминать о том, что его философию называли ересью, и о сброшенном в Тибр доносчике? Но все-таки почему он бежал? Он находит объяснение. Из Неаполя он получил письмо, извещавшее, что там были обнаружены запрещенные книги, которые он, уезжая, вышвырнул в нужник. Это были сочинения отцов церкви. Запретными они считались потому, что были снабжены комментариями Эразма Роттердамского. Джордано повторяет, что схолии Эразма были полностью замазаны. Значит, не из интереса к нечестивым примечаниям пользовался он этими книгами, а из любви к знаменитым богословам.

Бруно настойчиво подчеркивает, что он впервые стоит перед трибуналом инквизиции. Он Никогда прежде не подвергался отлучению от церкви и никогда не привлекался к суду Святой службы.

Ему прочли все протоколы его показаний. Хочет ли он что-Либо добавить или исключить? Джордано ответил, что согласен с тем, как изложены его слова.

Но один вопрос требовал уточнений. Речь шла о пресловутой книжице заклинаний.

— В Падуе я приказал переписать книгу «О печатях Гермеса», но не знаю, имеются ли в ней какие-либо осужденные положений. Я велел ее переписать, чтобы пользоваться ею для юдициарной астрологии, но еще не прочел. Приготовил я ее для себя потому, что Альберт Великии в своем трактате о минералах отзывался о ней с похвалой. В настоящее время она находится в руках Мочениго.

Допрашивающие переменили тему.

— Имеется ли в этой стране или где-либо в другом месте ваш враг или человек, недоброжелательно относящийся к вам и по какой причине?

Бруно ответил без колебаний:

— В этой стране я не считаю врагом никого, кроме Джованни Мочениго, его домашних и слуг, ибо он нанес мне тягчайшее оскорбление, какое только может нанести человек: он, оставив меня в живых, лишил меня жизни, обесчестил, арестовал меня, своего гостя, в собственном доме, захватил все рукописи, книги и остальные вещи. И он' поступил так потому, что не только желал научиться у меня всему, известному мне, но и хотел, чтобы я не учил никого другого. Он все время угрожал моей жизни и чести, если я не открою ему всего, известного мне.

Обвиняемый, как и на первом допросе, безошибочно назвал доносчика и рассказал о причине вражды. Юридической ценности доноса был нанесен существенный ущерб. Теперь перед инквизиторами еще острее встал вопрос о необходимости любой ценой найти свидетелей, которые подтвердили бы выдвинутые Мочениго обвинения.

Андреа Морозини и в трибунале Святой службы держится с достоинством.

— Знает ли он некоего Джордано Бруно Ноланца, занимающегося философией и литературой, который недавно был в Венеции и жил в доме его светлости Джованни Мочениго?

Морозини отвечает спокойно и рассудительно. Да, он знает синьора, о котором его спрашивают. Несколько месяцев назад в книжных лавках появились философские книги Джордано Бруно. О нем было много толков как о человеке, разнообразнейших познаний. Книготорговец Чотто говорил ряду лиц, в том числе и ему, что Бруно в Венеции и, если мы захотим, он может привести его в наш дом, где часто собираются дворяне и прелаты побеседовать о литературе и особенно о философии. Получив согласие, Чотто привел Ноланца. Потом тот приходил неоднократно и принимал участие в ученых беседах.

У Морозини строгое, надменное лицо.

— Из рассуждений Ноланца никогда нельзя было сделать вывода, что он придерживается каких-либо взглядов, враждебных вере. Что же касается меня, то я всегда считал его добрым католиком. Если бы у меня появилось малейшее подозрение в противном, — заканчивает он тоном, не допускающим возражений, — то я никогда бы ему не позволил переступить порог нашего дома!

Поклонившись, Морозини уходит. Инкцизитор с трудом скрывает раздражение. Снова неудача! Свидетелей обвинения не прибавилось. Даст ли что-нибудь новое вторичный вызов Чотто?

На этот раз Джамбаттиста чувствует себя уверенней.

Помнит ли он, как его недавно допрашивали в трибунале, и не забыл ли, о чем шла тогда речь?

Конечно, не забыл. Около месяца назад его здесь допрашивали о Джордано Бруно, который издал много философских книг, интересовались в особенности вещами, касающимися веры этого Джордано, его жизни, нравов. Он показал все, что знал.

Ему задают обычный вопрос: не хочет ли он что-либо исключить из прежних показаний или добавить? Оказывается, он имеет что добавить!

— Мне нечего сказать, кроме того, что однажды в начале мая, в моей лавке, я спросил Джордано, над чем он работает. Он ответил, что пишет книгу «О семи искусствах»; закончив ее, хочет написать другую книгу и поднести его святейшеству. Он мне не сказал, ни что это за книга, ни с какой целью и ради чего намерен так поступить. Он только сказал: «Я знаю, его святейшество любит науку, хочу написать эту книгу и поехать преподнести ему».

О, господи, нашел что вспомнить! Фра Джованни Габриэле подозрительно разглядывает Чотто. Перед ним стоит молодой простодушный книготорговец, а инквизитору так и кажется, что здесь где-то рядом хитрый старик, который однажды испортил ему воскресенье.

Почти два месяца Бруно не вызывали на допросы, а когда его снова привели в трибунал, инквизиторы первым делом поинтересовались, не находит ли обвиняемый своевременным сообщить о себе, наконец, всю правду. Он ведь мог на досуге глубоко поразмыслить о своих преступлениях. Джордано твердо ответил, что рассказал уже все.

Он слишком долго был отступником, и его не без оснований ставят под очень сильное подозрение в ереси. У него могли быть и другие преступные взгляды, кроме тех, о коих шла речь прежде. Пусть он без всяких оговорок очистит свою совесть.

— Признаю, что дал серьезные поводы подозревать себя в ереси. Сверх того утверждаю, и это правда, что всегда испытывал угрызения совести и хотел исправиться. Я всегда искал наиболее подходящего и

верного случая, чтобы совершить это, не возвращаясь к строгости монашеского повиновения. Как раз в это время я приводил в порядок свои сочинения, чтобы обратиться к милости его святейшества и получить, таким образом, возможность жить более свободно, чем это дозволено в монашеском ордене. Я, надеялся, что изложенные доводы и дальнейшие оправдания послужат доказательством моего обращения и тогда, несомненно, выяснится, что я не повинен в пренебрежении к католической религии, а лишь в страхе перед строгостью Святой службы и любви к свободе.

— Нельзя поверить, чтобы у вас имелось намерение вернуться к святой вере, так как во Франции и других католических странах, где вы находились многие годы, вы никогда не подумали обратиться к какому-либо прелату святой церкви, чтобы побеседовать о желании возвратиться к повиновению и к истине святой католической веры. Все это тем менее вероятно, что, приехав в Венецию, вы не только не обнаружили подобного намерения, но даже преподавали ложные и еретические догматы и доктрины.

Бруно сказал, что во Франции он просил апостолического нунция походатайствовать за него перед папой, но тот отказался. Один иезуит, звали его, кажется, Алонсо, если жив, то может это подтвердить. В Венеции же он никаких еретических доктрин не проповедовал и сам, случалось, в философских беседах порицал еретиков Германии и Англии.

— Если, находясь в Венеции, я не добивался снятия отлучения, то все же не оставлял всегдашнего своего намерения примириться с церковью. Я собирался сперва вернуться во Франкфурт, напечатать свои работы — «О семи свободных искусствах» и «О семи изобретательных искусствах» — И представить эти труды папе, чтобы оправдаться и таким необычным путем быть принятым обратно в лоно святой церкви. В дальнейшем я предполагал, оставаясь клириком, жить вне монастыря, так как не хотел, вернувшись на родину, в свою обитель, подвергаться упрекам в отступничестве и всеобщему презрению.

Его попытались сбить. Зря он уверяет, что рассуждал в Венеции только на темы философии и не проповедовал ереси. Существуют показания, из которых видно, что он поступал наоборот.

В такую нехитрую ловушку он не угодит! Джордано отвечает уверенно:

Я полагаю, что, кроме обвинителя, синьора Джованни Мочениго, не найдется человека, кто мог бы утверждать, будто я учил ложным и еретическим доктринам. И я не подозреваю никого другого, кто мог бы показать что-либо против меня в вопросах святой веры.

Его опять увещевают очистить совесть признанием и вспомнить преступные речи и дела, о которых он умолчал. Но обвиняемый твердо стоит на своем:

— Я откровенно каялся и каюсь в своих прегрешениях и нахожусь в руках светлейших синьоров, чтобы получить исцеление от грехов и спастись путем покаяния. Но я не могу сказать более того, что есть, и выразить все лучшим образом, хотя этого и жаждет моя душа.

Ему велели стать на колени и заявить о своей готовности принести покаяние. Он повиновался.

— Смиренно молю бога и светлейших синьоров простить мне все заблуждения, в которые я впал. Готов выполнить все, что вашей мудростью будет решено и признано необходимым для спасения моей души.

Обвиняемый — воплощенная покорность. Он согласен принести любое покаяние, но просит, чтобы оно публично его не опозорило и не осквернило тем самым святую монашескую одежду, которую он носил. Если по милосердию бога и светлейших синьоров ему будет дарована жизнь, он обещает в корне изменить ее, дабы искупить соблазн, вызванный его прошлым.

Джордано стоял на коленях, а в душе клокотала ненависть. Лишь бы ему вырваться из тюрьмы, а там пусть ссылают его в строжайший монастырь, он найдет выход — подожжет обитель и сбежит за границу!

Он никак не хотел подниматься с пола. Членам трибунала пришлось несколько раз повторить приказание, прежде чем он встал.

В камере вместе с Бруно находилось несколько человек. Среди них были клирики и миряне, малограмотные и ученые, горемыки, впервые угодившие в инквизицию, и закоренелые еретики, «повторно впавшие в ересь». Они были из разных концов Италии: каноник Сильвио из Кьоццы, Серафино из Аква-Спарты, Маттео из Орио, кармелит Джулио из Сало, капуцин Челестино из Вероны, плотник Франческо

Вайа из Неаполитанского королевства, Несхожие пути привели их в Венецию, и неодинаковая ожидала их участь: одни могли рассчитывать на сравнительно легкую кару, другим грозил костёр или пожизненное заточение.

Люди, обвиненные в ереси, вовсе не считали себя безбожниками и не отказывались от упований на господа. В камере много молились, пели псалмы, били поклоны. На стене висели изображения святых и амулет с молитвами.

Когда привели новичка, человека среднего роста, С каштановой бородой, который назвался Джордано Бруно из Нолы, первое, что бросилось в глаза соседям по камере, было его полное пренебрежение к религии. Он не становился на колени и не принимал участия в молитвах. Почему? Сперва он просто ответил, что он отступник и ему это запрещено. Но его выдержки хватило ненадолго. Бруно не скрывал раздражения, когда видел, как усердно молились рядом с ним. Все католическое ему противно? Может быть, он протестант? Но он не жаловал ни Лютера, ни Кальвина. Какой же он веры?

— Я враг всякой веры!

Он говорил, что христианская религия — это учение ослов, церковь управляется невеждами и он, Бруно, не признает иной церкви, кроме себя самого. Говорил он это не для красного словца, не из бахвальства. В речах его чувствовалась непоколебимая убежденность. Его не могли остановить укоры и попреки. Он во что бы то ни стало хотел, чтобы поняли основательность его аргументов, доказывал, убеждал.

Особенно часто он беседовал с Челестино, а потом и с Франческо Грациано, который появился в камере поздней осенью. И тот и другой, люди образованные, не прочь были поспорить. Грациано, человек лет пятидесяти, хромой, с покалеченной рукой, привлекался к суду инквизиции вторично, но сдержанностью в речах не отличался и нередко городил ересь. Споры иногда проходили бурно: Грациано, завзятый полемист, не желал уступать Ноланцу.

В соседях по камере, несмотря на споры и перебранки, Бруно видел товарищей. Никакой подозрительности он не испытывал и с удивительной доверчивостью рассказывал о своем прошлом. Он признавался, что с детства был врагом католической веры, не мог видеть образов святых, почитал только изображение Христа, «о вскоре

и от этого отказался. Вспоминал и следствие, начатое против него в монастыре, и свои долгие скитания.

Молящихся он выносил с трудом. Иногда его прорывало. Словно озорной неаполитанский мальчишка, передразнивал он монахов, распевающих литании, и паясничал перед священным амулетом. Вот сейчас он им сам отслужит обедню! Он подражал священникам и смеялся над ними, уверяя, что после мессы они идут обжираться. Бруно становился на колени перед иконами и изощрялся в злых шутках. Пусть посмотрят со стороны, как выглядит их постыдное идолопоклонство, — ведь примеры движут больше, чем слова!

Он не ограничивался издевками или кощунственными выходками, всегда старался объяснить, почему он отвергает религию. Да, он высмеивает мессу, но делает это потому, что она основана на обмане: хлеб не пресуществляется в тело Христово. Ничего из того, во что церковь заставляет верить, нельзя доказать. Глупо просить заступничества у святых — это никому не помогает.

О реликвиях говорил без всякого благоговения. Вспоминал, как в Генуе поклоняются ослиному хвосту. Руку какого-нибудь висельника выдают за десницу святого Ермакора. Есть ли какие доказательства, что реликвии — подлинные останки святых? Даже если бы они были подлинными, им не следует поклоняться. С таким же успехом можно почитать собачью кость! Они обладают чудодейственной силой? Бруно смеялся: английский король выбросил в реки множество реликвий, которые долго считались настоящими, а чудес никаких не произошло!

Молитвенник, который постоянно читали монахи, вызывал у него отвращение. Какой-то невежественный баснописец, не знающий и грамматики, нагородил кучу глупостей. Вот святой Доминик на глазах всего капитула колотил дьявола, словно бурдюк, а то вот — заставил его держать свечу, пока служил заутреню, и дьявол сжег палец. Такую книжку не читать надо, а бросить в огонь! Ему вторил Грациано. Бруно уверял, что от чтения молитвенника у него разбаливается голова. Ведь монахи, повторяющие тексты из молитвенника, сами не понимают того, что бубнят.

Существование вечных мук ада Бруно отрицал и говорил, что в загробном мире нет наказания за грехи. Он часто рассуждал о Христе. В оправдание людям утверждал, что и Христос грешил. Разве тот не совершил смертного греха, когда хотел воспротивиться воле бога отца

и избежать казни? Не он ли молился в Гефсиманоком саду: «Да минует меня чаша сия»?

Речи Бруно вызывали, случалось, возмущение его соседей по камере. Во время молитв он перебивал их насмешливыми замечаниями. К кому, мол, они обращаются? К сатане! На него закричали. Он, оправдываясь, сказал, что так говорят крестьяне. Другой раз его рассуждения о смертном грехе Христа повергли брата Джулио в ужас: «Вы слышите, как кощунствует этот человек!»

В памяти соседей по камере Ноланец остался не только как богохульствующий насмешник, но и как ученый, который в любых условиях проповедует и отстаивает свои воззрения. Он бывал очень серьезен, когда рассказывал о своих книгах, и старался, чтобы окружающие его люди постигли суть защищаемых им взглядов. Джордано говорил, что мир не создан богом, а существует вечно. Величайшее невежество — верить, будто есть лишь этот единственный мир.

Однажды вечером он подвел к окну своего земляка, плотника Франческо Вайа. Решетка кощунственно перечеркнула усыпанное звездами небо. Но не о родном Неаполе и не о свободе говорил Ноланец, он говорил о вселенной. Он показывал на звезды и объяснял, что каждая — это целый мир, а их — бесконечное множество. По ту сторону тюремной решетки неисчислимые миры!

В. ходе процесса произошла какая-то непонятная задержка. Первое время допросы шли один за другим, потом около двух месяцев его не вызывали. Искали новых свидетелей? В конце июля, судя по всему, произошел заключительный допрос. Он на коленях заявил о своей готовности принести покаяние. Что им еще нужно? Почему тянут с вынесением приговора? Разве у трибунала венецианской инквизиции недостаточно материалов, чтобы его осудить? Промедление становилось зловещим.

Месяц шел за месяцем. Бруно стал раздражительней, плохо спал, вдруг ни с того ни с сего сыпал отборнейшими богохульствами, отчаянно ругался. Проснувшись ночью, восклицал в гневе: «Злодей, кто правит этим миром!» — и показывал кукиш небу.

Он по-прежнему часто затевал разговоры о религии. Однажды, наблюдая, как Грациано и другие заключенные осеняли себя крестным знамением, сказал, что этого не следует делать, ибо Христос не был

распят на кресте. В ту пору орудием казни был не крест, а столб с перекладиной, похожий на костыль. Его называли виселицей, и он не имел четырех одинаковых концов. Следовательно, Христос погиб не «а кресте, а на виселице. Знак же креста, что найдешь теперь в любой церкви, украден у древних народов.

Бруно не хотел быть голословным, он привел примеры из египетской мифологии, сослался на античных писателей. Грациано не соглашался. Ведь в Евангелии сказано, что надпись «Иисус Назаретянин, царь иудейский» была прибита к верхней части креста. Бруно возражал: виселица, на которой был казнен Христос, имела только три конца, а дощечку с надписью прикрепляли к верхнему брусу.

О Христе и пророках Джордано отзывался очень резко. Все, чему они учили, было ложью, и поэтому естественно, что, как мошенники, они умерли позорной смертью. Они предсказывали собственный конец, ибо знали, что, совращая народ своими лжеучениями, не избегут казни. Они дурачили людей, пользуясь магическими приемами. Моисей, как и Христос, был опытнейшим магом. В этом искусстве он далеко превосходил всех магов фараона. Разумеется, что на горе Синай он не беседовал с богом: недаром ведь он предпочел обойтись без свидетелей. Моисей лгал, утверждая, что закон, который он дал евреям, жестокий, тираничный и несправедливый закон, внушен ему господом. Он сам его придумал.

Ноланец и в тюрьме продолжал раскрывать людям глаза. Он не сложил оружия. Но необходимость притворяться перед трибуналом жестоко его тяготила. Почему ему нигде не давали жить, как он хотел? Своим образом жизни он никого не оскорблял, а ему не дозволяют даже думать так, как он находит нужным. Джордано не мог примириться с той ролью, которую вынужден был играть. Когда он вспоминал допросы, его охватывало возмущение. Все допытываются, что он говорил. Если он и не высказывал вслух своих сомнений, то пусть покается в том, о чем думал. Он должен открыть, что у него на душе. Джордано негодовал: «Какое дело Святой службе до моей души!»

Бруно мучила мысль, что его могут снова загнать в монастырь. Он говорил об этом с соседями по камере. Если так случится, он некоторое время будет вести себя тихо, но потом сбежит.

После рождества его куда-то вызывали. Вернулся он мрачнее мрачного. Сказал, что это был не допрос, а встреча с одним из прокураторов республики. Похоже, что его выдадут римской инквизиции. Стал задумчив. Будто как-то сразу понял: ссылка в монастырь не самое худшее, что ждет узника Святой службы.

Джордано ждал окончания дела, спорил с соседями по камере, а в это время судьба его стала объектом политической игры. Специальный декрет предписывал инквизиторам на местах посылать в Рим краткое изложение всех процессов еще до их завершения. В особо же важных случаях повелевалось присылать полную копию всех следственных документов. Инквизитор Венеции, придавая делу Бруно большое значение, так и поступил.

Ознакомившись с полученными материалами, кардинал Сансеверина, один из руководителей Святой службы, потребовал немедленной выдачи преступника. Члены трибунала согласны были выполнить приказ, но не могли поступить по собственному усмотрению. Они явились в коллегию Совета мудрых, чтобы изложить сущность дела.

Некоторое время назад, докладывал викарий патриарха, был задержан в Венеции и ныне находится здесь же, в тюрьме Святой службы, Джордано Бруно. Он обвиняется как ересиарх, сочинивший книги, где усиленно восхвалял королеву Англии и других государей-еретиков и писал разные неподобающие вещи, особенно о религии, хотя и рассуждал философски. Он отступник, бывший доминиканец, жил многие годы в Женеве и Англии. В Неаполе и других местах он находился под следствием по обвинению в ереси. Кардинал Сансеверина прислал письмо с приказом отправить арестованного в Рим.

Отец викарий привел соответствующую часть письма, где говорилось о том, что при первой же возможности преступника следует под надежной охраной переправить в Анкону. Доставить же его оттуда в Рим будет заботой тамошнего губернатора. Викарий добавил, что не захотел выполнить этого приказа, не узнав прежде мнения светлейших синьоров. Он просил дело не откладывать, так как в порту стоит готовый к отплытию корабль, который может доставить узника в Анкону. Дож обещал обсудить изложенное.

После обеда инквизитор Венеции прибыл узнать о решении. Ему объявили, что дело нуждается в серьезном рассмотрении, которое сейчас нельзя провести из-за занятости другими важнейшими вопросами. Поэтому достопочтенный отец может пока отпустить корабль.

Несколько дней спустя вопрос о выдаче Бруно обсуждался в сенате. Венецианцы; ревниво оберегавшие свой суверенитет, не хотели создавать опасного прецедента, который способствовал бы усилению притязаний римской курии и ущемлял права трибунала венецианской инквизиции. В сенате почти единогласно отклонили требование Рима.

В ту пору в Вечном городе, помимо ординарного посла Венеции, находилось и экстраординарное посольство, возглавляемое Леонардо Донато. Оно было направлено в Рим, чтобы засвидетельствовать почтение недавно избранному Клименту VIII и уладить вопрос о фуорушити. Люди, покидавшие родину из-за преследования властей, часто находили пристанище в Венеции. Многие неудачи в борьбе с фуорушити Сикст V, как и Климент VIII, объяснял позицией венецианцев: вместо того чтобы выдавать преступников, они принимают их на службу! Когда Климент VIII узнал, что один из полководцев республики начал усиленно вербовать фуорушити в свои отряды, то пришел в ярость. От его имени апостолический нунций неоднократно выражал Венеции крайнее недовольство. Дож был в затруднении: он не хотел обострять отношений со святым престолом, но и не мог отречься от людей, которые сражались под его знаменами. Миссия Донато была трудной. Папа упрямо настаивал, чтобы полководец, решившийся опереться на фуорушити, понес отменное наказание. Донато доказывал, что удовлетворение этого требования причинило бы ущерб суверенитету республики.

Когда сенат принял решение не передавать Бруно римской инквизиции, об этом поставили в известность Донато, чтобы, если окажется необходимым, он был в курсе дела. Папа станет обсуждать столь частный вопрос с кем-нибудь из экстраординарного посольства? Это казалось Донато невероятным. Скорее уже о Джордано Бруно будут разговаривать с ординарным послом.

Но Донато ошибся. В одной из бесед с ним Климент потребовал выдачи еретика. Донато пришлось защищаться: венецианский трибунал в состоянии на месте закончить процесс, лишать его этого

права — значит нарушать свято соблюдаемый закон, проще послать необходимые инструкции в Венецию, чем вести узника в Рим.

Впечатление, что папа удовлетворился таким ответом, было ложным. Экстраординарные послы еще не покинули Вечного города, когда кардинал Сансеверина после проведенных в архивах инквизиции розысков возобновил свои требования, ссылаясь на многочисленные прецеденты: Риму выдавали не только клириков, но и светских лиц.

В конце декабря в коллегии Совета мудрых появился сам апостолический нунций. Добиваясь выдачи Бруно, он подчеркивал, что речь идет об особенно опасном преступнике. Ему ответили, что нет оснований пересматривать прежнее решение. Нунций продолжал спорить: Бруно родом из Неаполитанского королевства, он не подданный Венеции. Если бы он был простым монахом, то и тогда неотъемлемое право папы — требовать его в Рим, а Бруно сверх того ересиарх. Апостолический нунций беззастенчиво передергивал: он называл Бруно изобличенным ересиархом, хотя материалы следствия и не позволяли делать такого вывода, умышленно изображал Ноланца как человека, запятнанного, помимо ереси, другими тягчайшими преступлениями. Он не остановился перед заведомой ложью, когда уверял, что процесс против Бруно был начат инквизицией в Неаполе и велся в Риме. Оба раза обвиняемый бежал из тюрьмы. Значит, дело идет не о новом процессе, а о старом, прерванном из-за бегства преступника, и продолжать его надо в Риме. Нунций, настаивая на выдаче Бруно, утверждал, что в подобных случаях республика много раз удовлетворяла просьбы римской инквизиции. В этом нунций тоже сильно преувеличивал.

Через полмесяца прокуратор Федерико Контарини, которому поручили разобраться в сути спора, предстал перед коллегией. После недавней беседы с Бруно он отозвался о нем как о человеке редкого ума и необыкновенных знаний, но тем не менее повторил аргументы нунция и высказал мнение, что это требование его святейшества о выдаче еретика следует удовлетворить.

Доклад Контафини отличался предвзятостью. Но не это сыграло решающую роль в судьбе Бруно. Отношения между Венецией и святым престолом оставляли желать лучшего. В споре о фуорушити папа сохранял твердую позицию. Дож не хотел усложнять положения: в одном следовало уступить, чтобы в другом настоять на своем.

Согласившись на выдачу Бруно римской инквизиции, правительство республики инструктировало своего посла, чтобы он представил это решение как акт сыновнего повиновения венецианцев воле его святейшества. Когда посол Венеции уведомил об этом папу, тот выразил несказанную радость.

Джордано Бруно, как и было предписано, отправили через Анкону в Рим. 27 февраля 1593 года тюрьма римской инквизиции открыла перед ним свои двери.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ИЩИТЕ ЕРЕСЬ В КНИГАХ!



Больше чем на полгода его словно забыли. А когда в Риме состоялся первый допрос, то он не обнаружил ничего такого, что могло серьезно обеспокоить Бруно. Инквизиторы касались только вещей, бывших предметом венецианского разбирательства. Доказывало ли это отсутствие у Святой службы новых материалов или свидетельствовало лишь о выдержке опытных римских инквизиторов?

Но на следующем допросе все повернулось иначе. Бруно велели рассказать о его воззрениях относительно ада. Он сослался на свои прежние показания. В Венеции он чистосердечно поведал обо всем, что тяготило его душу, и ему нечего добавить. Он думает об аде так, как предписывает церковь.

Так ли? Ему настоятельно советовали вспомнить, как рассуждения о преисподней он называл детскими сказками. Бруно решительно отрицал, что его уста исторгали подобную ересь. Но оснований для тревоги было много. Появились новые свидетели?

Его опять терпеливо увещевали. Нежелание облегчить душу раскаянием отягчает вину и отрезает пути к спасению. Бруно не поддается на эти затверженные инквизиторами формулы. Он ждет следующих вопросов, но члены трибунала настаивают: если он не выскажет своих подлинных взглядов относительно ада, то нанесет себе непоправимый вред. Будучи изобличен многочисленными свидетелями, он предстанет перед трибуналом как упорствующий еретик, и тогда никто уже не поверит в искренность его слов о намерении совершенно исправиться.

Многочисленными, свидетелями? Какую ловушку они ему приготовили? Ему грозят изобличением. Он повторяет, что верует в ад, как добрый католик. Тогда, не называя имен, оглашают показания. Человек, рассказывающий о ереси Бруно, ссылается ка свидетелей. Речь идет о высказываниях Бруно, сделанных в их присутствии. Кто это — скрытые недруги, желчные завистники, отвергнутые за бездарностью ученики, оскорбленные педанты? Четверо подтверждают обвинение. Четверо бывших товарищей Бруно по камере в венецианской тюрьме!

Товарищи по заключению, с которыми он делил краюху хлеба, пил из одной кружки, с кем вместе переносил все тяготы, с кем вместе радовался последним лучам заглянувшего в камеру осеннего солнца или дуновению свежего ветерка, донесшего сквозь гниль испарений солоноватый запах моря. У него хватает выдержки скрыть глубину охватившего его волнения. Допрос продолжается.

Обвиняемый, как видно из приведенных свидетельств, не только отрицал вечность ада, но и позволял себе издевательски утверждать, что никто, даже дьяволы, не обречен на вечные муки. Джордано повторяет, что всегда верил в существование и вечность ада.

Он готов и дальше рассуждать о карах, которые ждут на том свете различных демонов, но его прерывают. В Венеции он утверждал, что верит в божественность Христа. Теперь он должен сознаться в притворстве: не он ли говорил, что Христос, как и люди, совершил смертный грех, когда якобы в Гефсиманском саду не захотел исполнить волю божью? Бруно выражает крайнее недоумение: он никогда не позволил бы себе такого кощунства! Одно за другим читают показания, опровергающие его слова. И опять это бывшие товарищи по камере!

Сейчас он изображает из себя оскорбленную добродетель, а сколько раз в присутствии многих он похвалялся своим безверием? Пусть-ка он вспомнит стих Ариосто, который относил к самому себе и, обуянный гордыней любил повторять?

О господи, самые невинные вещи хотят поставить ему в вину! Да, он часто вспоминал этот злополучный стих Ариосто, стараясь показать, каких пустяковых поводов было достаточно врагам, чтобы клеветать на него. Бруно нарочно рассказывает теперь этот эпизод иначе, чем он рассказывал его Мочениго и Грациано. Произошло это давно, еще в те годы, когда он носил одеяние послушника. Однажды гадали по книге Ариосто и ему выпал стих «Враг всякого закона, всякой веры». Этот случай кое-кто из монахов не преминул обратить против него. Стих, выпавший ему по жребию, они истолковали как аргумент, доказывающий его безверие!

Возмущения Бруно инквизиторы не разделяли. Ведь эти слова Ариосто очень нравились обвиняемому: он не уставал твердить, что они соответствуют его природе, и постоянно бахвалился этим.

Бахвалился? Никогда! Он ведь объяснил все, как было, и нет нужды слушать клеветников. Но его уверения пропадают впустую. Ввести в заблуждение ему никого не удастся — он только умножает доказательства своей неискренности. Как вел он себя в Венеции? На допросах притворялся раскаявшимся, молил принять его обратно в лоно церкви, клялся в корне исправиться, с радостью воспринять заслуженное наказание и впредь вести праведную жизнь. А каковы были его истинные намерения? О чем он говорил в камере? Он не скрывал от других заключенных своих планов. Если бы ему удалось обмануть Святую службу и вырваться из тюрьмы, то что бы он сделал? Он мечтал спалить монастырь и бежать за границу, к еретикам, которые высоко его ценят, чтобы там и дальше распространять пагубные учения и закончить создание секты «джорданистов»!

Ему напоминают его речи в венецианской тюрьме, бешеные приступы ярости, угрозы поджечь, обитель, бежать… Ему зачитывают то одно место из протоколов, то другое. Многие свидетельствуют против Бруно. Но он продолжает упорствовать в отрицании. Долгий и тяжелый допрос подходит к концу. Узника отводят обратно в темницу.

Какой все приняло неожиданный оборот! Он не терял надежды, что в Риме удовольствуются перед смотром венецианского процесса. Ждал

дополнительных допросов, уточнений, проверок, ждал новых увещеваний и готов был опять твердить о своем глубочайшем раскаянии и молить о снисхождении. Да, его мучали сомнения, он нередко заблуждался, много грешил, но он никогда не был злонамеренном отступником и никогда умышленно не исповедовал ереси. Вероятность догадки, что Мочениго — единственная опора обвинения, повышала шансы Бруно на успех: он мог рассчитывать на сравнительно нетяжелое наказание и близкую свободу. Теперь все это рухнуло. Святая служба неизвестно какими путями раздобыла новых и, кажется, многочисленных свидетелей. А главное, убийственной силы удар нанесен основе основ поведения Бруно на процессе — попыткам создать у членов трибунала убежденность в искреннем его раскаянии. Сколько сил стоила Бруно эта постыдная комедия! Он то воздевал руки к небу, призывал в свидетели бога, возмущался наговорами, оскорбленный в своих лучших чувствах, негодовал, требовал справедливости, то с подкупающей; откровенностью делился своими сомнениями» вопросах веры, пылко порицал пороки прежней жизни, сетовал на глубину своего падения и, умоляя простить, никак не хотел подниматься с колен. Чего ему только не приходилось разыгрывать перед трибуналом!

Он проникновенно повторял идиотские формулы, из которых невежды сделали символ веры, когда ему хотелось кричать о бесконечной их глупости, он поддакивал спесивым педантам, Когда они городили абсурд за абсурдом. Ему претил вид торжествующей ослиности, а он должен был каяться — он, недостойный, видите ли, имел несчастье усомниться кое в чем из того, чему усердно поклоняются толпы! В нем клокотала ярость, временами от гнева он не мог говорить, но Бруно подавлял в себе бунтаря и продолжал фарс, за который мог быть вознагражден свободой.

И все напрасно! Сколько бы их ни было, этих предателей из венецианской тюрьмы, и о чем бы еще они ни донесли трибуналу, они уже причинили непоправимый вред. Они уничтожили то, в чем заключалось единственное спасение Бруно, — веру в искренность его раскаяния. Покорный трибуналу, молящий о прощении узник или злостный ересиарх, который и в тюрьме продолжает совращать людей, кощунственно издевается над религией и надеется, одурачив судей, вырваться на свободу и приняться за старое?

Даже если показаниям соседей по камере будет отказано в юридической весомости, все равно они свое сделали: то, что прежде могло служить доказательством раскаяния, теперь становилось образцом искусного притворства.

Он старается вспомнить мельчайшие детали прошлого допроса, снова — в какой раз! — возвращается в Венецию, в грязную камеру, где он так долго сидел. С кем он тогда говорил об аде? Кому рассказывал о стихе Ариосто? Кого убеждал, что и Христос грешил? Разве в его натуре было шептать на ушко? Почти всегда, когда он говорил, его слушали все. Сколько их было в камере? То шесть человек, то больше. Иных выпускали, иных переводили в другие темницы, иных ссылали на галеры. Кажется, самыми старыми обитателями камеры были Иеронимиани, Сильвио и Серафино. В разное время водворили. туда Джулио, Франческо, Маттео, Челестино, Комаскьо. А поздней осенью привели Грациано. Тогда уже не было ни Сильвио, ни Иеронимиани. Франческо болел. Кто предатели? Не один и не двое. Четверо или пятеро бывших товарищей!

На кого подумать? Ему нравился неразговорчивый Франческо, он охотно беседовал с Челестино, поддевал Грациано, вышучивал набожность Маттео. Месяцами жили они вместе в душной, тесной клетке — разные Люди с разными привычками. Каждый должен был мириться с недостатками других.

Одних соседей по камере Джордано любил больше, иных меньше, но всегда смотрел на них, как на товарищей. Благословенное согласие редко царило в камере. Ссорились, бывало, и по пустякам. Да и сам Бруно не из уживчивых людей — насмешливый, вспыльчивый, острый на язык. Он издевался над монахами, не жалел крепких слов по адресу Грациано. А однажды, чтобы привести в чувство разбушевавшегося Челестино, отвесил ему пощечину.

Все было: и ссоры и добрый мир. Что значили мелкие распри, когда они, товарищи по несчастью, жили в постоянном, щемящем ожидании конца? Все они в лапах Святой службы. Им ли сводить никчемные счеты? Им ли подталкивать друг друга в костер?

Можно было, беснуясь, бегать по камере или цепенеть в немом отчаянии — свершившегося не изменить. Бруно поплатился за свою доверчивость. Среди людей, с которыми он был откровенен, оказались предатели. Кто они?

Новый допрос — новые обвинения. От него требуют, чтобы он рассказал о своем обыкновении поносить имя божье. Как он называл Спасителя? Как хулил приснодеву Марию? Какие ужаснейшие кощунства изрыгал, когда осмеивал вещи, священные для каждого христианина? Джордано удивлен. И ему, разумеется, случалось поминать имя господне всуе. Частностей он не припомнит, хотя мог сказать «божья сила» или что-нибудь в этом роде.

В сердцах он говаривал неподобающие вещи, когда сыпал оскорбительные слова на головы обидчиков но он никогда не хулил святого имени.

А кто показывал кукиш небу? Кто называл Христа злодеем? Ему зачитывают свидетельские показания. Следует воздать должное похвальной обстоятельности инквизиторов: отборнейшие непотребства, которые Бруно присовокуплял к имени богоматери и Христа, были старательно внесены в протоколы. Но и это ^го не сбило. Он по-прежнему уверял, что кукиша небу не показывал и кощунственных речей не произносил.

Пора ему уже признаться, как оскорбительно рассуждал он о смерти Христа, заявляя, что тот за свои злодейства был по справедливости подвергнут позорной казни! Обвиняемый постоянно высмеивал людей, поклонявшихся распятию, и всерьез уверял, что Спаситель умер не на кресте, а на виселице.

Его ученые объяснения хотят обратить ему во вред? Бруно повторяет, что всегда веровал в Христа веровал в его страдания и смерть. Действительно ему неоднократно приходилось высказываться о том как выглядел столб с перекладиной, на котором по гиб Иисус, но в этих беседах не было ничего преступного. Бруно привел множество доводов в защиту своей точки зрения, сыпал историческими сведениями об орудиях казни в прошлые эпохи, о значении священного креста у древних народов.

От него тщетно пытались добиться признания, что он осуждал Моисея и пророков. Как превратно истолковывают его слова! Конечно, Моисей был искушеннейшим человеком не только в магии, но и в остальных науках египтян. Он всегда отзывался о Моисее с уважением. И Бруно принялся рассуждать о различных видах магии и о том, что в Моисеевой магии не было ничего предосудительного.

Чем несуразней вещи, согласия с которыми от него требуют, тем ему легче говорить о них, признаваться в сомнениях, изъявлять готовность покаяться.

Но вот когда обсуждают вопросы, составляющие сущность его философии, он отстаивает свою правоту и болезненно переживает каждую вынужденную уступку.

На допросах постоянно разгораются ожесточенные споры. То его хотят заставить признаться, что защищаемое им учение о душе ошибочно, то пытаются убедить, что идея множественности миров противоречит библии.

Не утверждал ли он, будто мир не создан богом, а существует вечно? Как пренебрежительно отзывался он о святых образах и высмеивал поклонение реликвиям? Инквизиторам хорошо известны его высказывания. Но Бруно отвергает их как вымышленные.

Кто же первый донес о беседах в камере? На одном из допросов подозрения Бруно пали на Грациано. Обвиняемый, как выяснилось, сравнивал молитвенник с расстроенной лютней. Джордано не выдержал. Мало того, что Грациано доносит о разговоре, в котором сам принимал живейшее участие, он еще приписывает ему собственные слова! Бруно был вне себя от гнева,

— Это не я, — воскликнул он, — а Грациано сравнивал молитвенник с расстроенной лютней!

Да, он, Бруно, ругал молитвенники, но только плохие молитвенники, полные баснословных историй и составленные невеждами.

Ему не верят. Материалы процесса полностью его изобличают. Секретарь трибунала принялся их читать. Один свидетель, второй… Четверо!

Он может отводить показания, уверяя, что они сделаны из ненависти к нему, может намеренно раздуть мелкие ссоры, приписать донос личной вражде. Тяжело убедиться, что товарищи по несчастью оказались предателями. Изменой думали они облегчить свою участь? Но разве дело в этих горемыках, которым грозят пытки и страшнейшая казнь, и этих напуганных, подавленных, мечущихся людях? Или в тех, кто, суля милость, подбил их на предательство?

И когда в начале следующего допроса Бруно велели рассказать об его отношениях с соседями по камере в венецианской тюрьме, он не

стал сгущать красок, не придумал какой-то серьезной вражды, а упомянул лишь о пустяковых причинах, которые, бывало, приводили к ссорам.

История эта была достаточно темной, чтобы ее истинные вдохновители пожелали сохранить в документах следы сыгранной ими роли. Следствию, проведенному в Венеции по делу Джордано Бруно, не удалось найти свидетелей, которые бы подтвердили обвинения, содержащиеся в доносе Мочениго. Бруно упорно их отвергал. Венецианский инквизитор не мог похвастаться большими успехами. Неужели и впрямь Мочениго — единственный человек, слышавший ересь из уст Ноланца?

Летом 1593 года фра Челестино, бывший сосед Бруно по камере, подал письменный донос. Он усердно вспоминал еретические высказывания Ноланца.

В качестве свидетелей указал на Маттео де Сильвестрис, Джулио де Сало и Франческо Вайа. Донос Челестино и показания названных им свидетелей значительно увеличили список обвинений, тяготеющих над Ноланцем. Но особенно старался выслужиться перед инквизиторами Франческо Грациано.

Что заставило Челестино написать донос? В документах процесса сказано: Челестино совершил этот шаг из опасения, что Бруно клеветнически донесет на него самого. Но чем тогда объяснить непонятную медлительность Челестино? Миновал почти год с той поры, когда в камере зазвучали опасные речи Ноланца, уже несколько месяцев он томился в римской тюрьме, и вдруг только теперь Челестино надумал подать «добровольный» донос?

Из находившихся в камере людей Челестино и Грациано, как «повторно впавшие в ересь», были в наиболее угрожаемом положении. Рассчитывать на легкое наказание им не приходилось. Добровольный донос Челестино, чистосердечные показания Грациано? Одно не вызывает сомнений: и к тому и к другому Святая служба отнеслась с мягкостью — их не слишком долго продержали в темнице.

Откажется ли обвиняемый от мысли, что другие миры не только существуют, но и обитаемы? Бруно утверждал: каждый мир состоит из тех же элементов, что и Земля. Там тоже имеются моря, реки, горы, животные и растения. Но есть ли там люди? Церковь учила, что люди живут только на Земле, небеса принадлежат ангелам. Допускать, что

где-то, помимо Земли, обитают разумные и смертные существа, значило впадать в ересь.

Имеются ли люди в других мирах? Бруно отвечает с осторожностью:

— Что же касается людей, то есть разумных созданий, являющихся, подобно нам, телесными существами, то я предоставляю судить об этом тем, кто хочет так их называть. Однако следует полагать, что там имеются разумные животные. Что же касается, далее, их тела, то есть смертно оно, как наше, или нет, то наука не дает на это ответа.

Бруно не хочет отказаться от мысли об обитаемости других миров, но ему нельзя утверждать, что разумные существа, живущие на других планетах, смертны. Может быть, их скорее следует назвать ангелами, чем людьми? Если их нельзя считать смертными, — Бруно пускается в длинные богословские рассуждения, — то причина подобного бессмертия не в природе, а в милости божьей!

Инквизиторы всеми силами склоняют его к признанию, что учение о множественности миров ложно. Он резко отвергает возражения. К увещеваниям остается глух. Говорит много и долго. Упрямо стоит на своем: вселенная бесконечна, существует множество солнц, множество обитаемых миров.

Ему показали рукопись «О печатях Гермеса», которую Мочениго передал инквизиции.

— От кого получил он эту книгу и с какой целью переписал ее?

Он ответил, что она была переписана по его приказу слугой-нюрнбержцем. Бруно высказал уверенность, что в книге, хотя он и не успел прочесть ее, нет ничего хулящего господа.

— Разве ему не известно, что подобные книги находятся под запретом?

— Нет, я знаю, что никому не дозволено заниматься этой наукой из-за злоупотреблений, которые могут последовать если ею овладеют люди, сведущие и злобные.

— Почему же он без дозволения хранил эту книгу?

— Я полагаю, что мне можно заниматься любыми науками!

Его упрекнули в непомерной гордыне. Он сослался на слова святого Фомы: «Всякое знание — благо».

По его мнению, продолжал Бруно, наука, излагаемая в этом сочинении, из числа благородных. Астрологию можно обратить как во вред, так и на пользу, поэтому ею должны заниматься только праведные люди.

— Я никогда не имел намерения распространять эту науку и сообщить кому-либо содержание книги. Я только хотел иметь ее при себе, чтобы познакомиться с формой и теорией этой науки. Ибо практическая ее сторона никогда меня не привлекала, за исключением части, относящейся к медицине, которой эта наука преимущественно содействует. Гиппократ и Гален много раз заявляли, что врачи не знают астрологии именно в этом ее применении. Она подобна острейшему мечу в руке безумца, случайно поражающего самого себя.

Он не испытывал никакого раскаяния оттого, что хранил запретные книги. Обвиняемый, видите ли, полагал, что ему дозволено заниматься любыми науками!

В трибуналах инквизиции, уверяли священннки-правоведы, царит справедливость. Обвиняемый имеет самую широкую возможность защищаться, разоблачать лжецов, опровергать клевету. Святая служба создана не для того, чтобы только карать, главное ее назначение, применяя необходимые лекарственные средства, помогать заблудшим и вырывать грешные души из когтей сатаны.

Следствие в трибуналах инквизиции проходило две стадии. Правоведы утверждали, что «повторное дознание» имеет целью всемерно облегчить положение обвиняемого. Действительно, что принесет ему большую пользу, чем тщательный пересмотр всех показаний? Если свидетель солгал, то несколько месяцев спустя он может забыть вымышленные подробности и запутается. Однако в действительности «повторное дознание» было в руках Святой службы надежнейшим средством придать любой клевете видимость истины. Когда первую стадию следствия считали законченной, прокурор сводил воедино все, что только могло опорочить обвиняемого: вымыслы доносчика, лжесвидетельства, покорное-поддакивание запуганных, сбитых с толку людей. Когда отредактированный соответствующим образом список обвинений был готов, начинали «повторное дознание». Суть этой дьявольской выдумки была несложной: свидетеля допрашивали не по материалам его прежних показаний, а по всем статьям обвинений.

В обстановке страха, при постоянном давлении, при напоминаниях, что каждый отказывающийся свидетельствовать против еретика бросает на себя самого подозрение в ереси, при той всеобщей убежденности, что человек, оклеветавший невиновного, останется безнаказанным, тогда как осмелившийся выгораживать обвиняемого легко может быть сочтен его соучастником, — инквизиторам не стоило большого труда добиваться своего. Перебирая пункт за пунктом статьи обвинений, они помогали свидетелю подтверждать сказанное другими. Так получалось, что два совершенно различных обвинения, из которых каждое, будучи сообщено лишь единственным свидетелем, прежде не считалось доказанным, теперь оказывалось подтвержденным. Воистину «повторное дознание» служило интересам обвиняемого!

«Повторное дознание» по делу Джордано Бруно происходило в Венеции в начале 1594 года и привело к весьма тяжелым для обвиняемого результатам. Доносчики и свидетели, повторно допрошенные, как правило, дополняли и расширяли свои прежние показания. Теперь почти каждый из пунктов обвинения подтверждался не менее чем двумя людьми. В случае, если бы свидетельства соседей по камере были признаны юридически полноценными, виновность Бруно по подавляющему большинству пунктов обвинения была бы доказана и он бы считался «изобличенным» еретиком.

Снова прошло больше полугода, прежде чем его вызвали на очередной допрос. Оказывается, Мочениго по-прежнему не унимался. Минуло свыше двух лет, как он подал свой первый донос, а он не обрел покоя и все припоминает подробности, отягощающие вину Бруно. Завидное упорство! Уже после окончания «повторного дознания» Мочениго явился в инквизицию, чтобы рассказать еще об одном случае. Бруно с глазу на глаз признавался, что в своем сочинении «Песнь Цирцеи» он в аллегорической форме высмеивал всю церковную иерархию, а в образе свиньи выводил самого папу.

«Песнь Цирцеи», отвечал Бруно, действительно сочинена им, но в ней нет скрытого смысла, о котором говорит доносчик.

— Утверждал ли он, что цари никогда не поклонялись Христу, его почитали только пастухи и простой народ?

Что это? Еще предатель? В Риме Джордано некоторое время сидел в одной камере с Виаларди; И здесь измена?

Бруно отвечал уклончиво: разговор о волхвах имел место, но он не помнит, где и когда это было. Если в Венеции, то с Грациано, а если в Риме, то с Виаларди.

Неужели Виаларди?! Предатели в Венеции, предатель в Риме, кругом предатели! Его нарочно вызывали на откровенность! Бруно потерял самообладание. Да* он утверждал, что строка псалма «Цари Фарса и островов поднесут ему дань» относится к Соломону, Однако не присовокуплял каких-либо слов, оскорбительных для величия Христа. Это Грациано и Виаларди смеялись над рассказом о поклонении волхвов. Это они постоянно хулили бога, веру, церковь! И Бруно принялся говорить о ересях, от них слышанных.

Но вскоре он одумался и больше никогда ни о ком из людей, рассказавших инквизиторам о беседах в камере, ничего компрометирующего не показывал, хотя и знал, что и помимо Грациано многие свидетельствовали против него.

В копии следственных материалов, которую предоставляли обвиняемому, вместо имен были проставлены буквы. Лицемерие Святой службы сказывалось и здесь: имена, мол, опускаются для того, чтобы уберечь свидетелей от мести еретиков. Особенно убедительно это звучало для тех, кого ждал костер или пожизненное заточение. Как они, запрятанные в темницах, отрезанные от мира, содержащиеся в условиях строжайшей изоляции, судимые в тайных судилищах, могут отомстить своим врагам? Дело было в другом. Инквизиторы стремились скрыть от обвиняемого истинную подоплеку процесса, запутать его, толкнуть на след ложных догадок, осложнить защиту. Обвиняемый, не зная точно, кто выступает против него, не может отвести свидетелей. Он подозревает одного из своих врагов, рассказывает о долгой распре, но забывает о настоящем доносчике. А коль, перечисляя недругов, обвиняемый не упомянул доносчика, значит тот, обращаясь в Святую службу, не был движим ненавистью, а лишь рвением в борьбе с врагами веры, и, следовательно, сообщил правду.

Копию материалов процесса с проставленными вместо имен буквами вручили Бруно. Он может унести ее с собой в камеру, может читать и перечитывать, соглашаться или опровергать. Он может забросить ее в угол или разорвать на куски — это его дело. Формальность соблюдена: ведь он дал расписку, что копию получил.

Его снабдят бумагой, чернильницей, перьями и не будут особенно торопить. Быстра расправа — истинное правосудие шествует медленно. Неделями вправе он писать свою защиту. Но многое ли это изменит? Вынося приговор, трибунал Святой службы мало считается с доводами защиты.

У обвинения были свои слабые стороны. Показания соседей по камере, казалось бы, достаточно ярко обрисовали фигуру Ноланца. Но какова их ценность? Ведь люди, рассказавшие о беседах в тюрьме, сами были или подозреваемыми в ереси, или «повторно впавшими в ересь». А чего не сделает человек ради спасения собственной шкуры, когда ему грозит тяжелейшее наказание? Да и вообще, допустимо ли в делах о преступлениях против веры полагаться на слова еретиков? Ученые-правоведы держались мнения, что подобные свидетельства должны браться во внимание, что они оправдывают любые допросы и применение пытки, но не могут служить юридическим доказательством виновности.

Даже из того, что Бруно говорил на допросах о своем учении, многое было уязвимо с точки зрения теологии. Теперь, работая над защитой, он подыскивал богословские доводы, которые позволили бы ему утверждать, что его учение не ересь. Со священными текстами он обращался весьма вольно. Полгода писал Бруно свою защиту. 20 декабря 1594 году он передал ее по назначению.

Процесс вступил в заключительную стадию. Дело должно было быть рассмотрено на заседаниях конгрегации Святой службы. 12 января 1595 года кардиналы-инквизиторы начали слушать материалы процесса. Это продолжалось еще на трех заседаниях.

16 февраля чтение прервал сам папа. Он выразил свое крайнее неудовольствие. У него отнимают время на слушание документов сомнительной юридической ценности, словно Джордано Бруно простой богохульник, а не злейший ересиарх. О нем говорят как о человеке необыкновенного ума. Его книги, содержащие, вероятно, страшнейший яд, читают в разных концах Европы. Почему его сочинения не подвергнуты по-настоящему цензуре? Ищите ересь в книгах!

Комиссарий Альберто Трагальоло, много занимавшийся делом Бруно, оправдывался как только мог. Разыскать книги Бруно очень трудно. Они стали большой редкостью, ибо выходили в свет в разных

странах, иногда с заведомо неправильным указанием места издания. Климент не хотел слышать никаких отговорок. Он приказал составить список всех недостающих книг Бруно и во что бы то ни стало их раздобыть.

Агенты инквизиции повсюду разыскивали сочинения Бруно — в книжных лавках, на ярмарках, в частных библиотеках.

Инквизиция знала все: истребление еретиков толпами и в одиночку, неприкрытость жесточайших насилий и скрупулезную дотошность казуистов, обставляющих осуждение сложными юридическими формулами. Рассказы об ужасах инквизиции, помимо назидательной стороны, имели для святого престола и свои минусы. Они давали оружие протестантам в их борьбе против папства. Поэтому время от времени издавались декреты, которые имели целью несколько подкрасить безобразный лик инквизиции. В марте 1595 года был опубликован новый такой декрет: в камеры разрешалось ставить столы и кровати, узники, содержащиеся в тюрьме римской инквизиции, имели право пользоваться простынями и полотенцами, их предписали стричь и водить в баню. Как трогательно печется Святая служба не только о душах, но и о грешных телах своих узников! Сидящим в одной камере даже официально разрешили тихонько разговаривать. Невиданные благодеяния! Да здравствуют новые времена и его святейшество Климент VIII! Еретик, которого после пытки приволокут из застенка обратно в камеру, будет отныне истекать кровью не на соломе, а на простыне.

Но разве самое страшное в Святой службе — сырость темниц, грубость смотрителей, житье впроголодь, прелая солома вместо тюфяка? Разве не страшнее то, что гноят людей в этих темницах не за кровавые преступления или грабежи — здесь губят людей за их речи, сомнения, за их мысли!

Время тоже палач, оно терзает тело и опустошает душу. Неделя идет за неделей, месяц за месяцем — и никакого сдвига. Ведь следствие закончилось, он написал защиту. В чем причина задержки? Почему не выносят приговора? Или и с ним инквизиторы прибегли к своему излюбленному приему: забыть об узнике, пусть он обезумеет от тревог и тоски, пусть, не выдержав тягостного ожидания, начнет молить обо окончании дела, словно о милости?

Святая служба периодически проводила инспекцию всех заключенных, находящихся в тюрьме римской инквизиции. Узников препровождали в зал, где заседали кардиналы-инквизиторы. Их спрашивали об испытываемых ими нуждах. Прошло почти два года с тех пор, как Бруно последний раз вызывали на допрос. Чего он хочет? Он хочет, чтобы, наконец, завершили процесс!

Его спрашивают не об этом. Нуждается ли он в духовных наставлениях или материальной поддержке? Он нуждается только в одном — чтоб скорее закончили процесс! Узник выглядел очень плохо. Так, пожалуй, он и не дотянет до приговора. Прокуратору доминиканского ордена было указано, чтобы он позаботился снабдить его хоть какими-то деньгами.

Чёрез шесть месяцев Бруно снова передал заявление с требованием вынести приговор.

С того дня, когда папа приказал тщательно рассмотреть книги Ноланца и извлечь из них еретические положения, минуло два года, прежде чем цензура была закончена. Дело это было непростое, и в помощь Трагальоло и ученым консультантам Святой службы, которые обычно занимались цензурой, отрядили еще трех особо опытных теологов. Высокоученые богословы подвергли цензуре не только книги Бруно, но его ответы, зафиксированные в протоколах допросов.

Во время очередной инспекции, 24 марта 1597 года, когда Джордано привели в конгрегацию Святой службы, он не выдержал. Сколь долго будут его без суда томить в темнице? Он вел себя вызывающе. Перед кардиналами-инквизиторами защищал правильность своего учения. Ему предложили отказаться от его вздорной идеи о множественности миров. Он ожесточенно спорил — и где? В самом сердце Святой службы! Последовал короткий приказ: подвергнуть обвиняемого пытке и только после нее вручить ему результаты цензуры.

Все эти годы Джордано стойко переносил лишения. Он не позволял физическим мучениям поработить свой дух. «Надо лишь настолько пребывать в теле, — писал он прежде, — чтобы лучшей своей частью отсутствовать в нем, делать себя как бы неразрывно и свято соединенным и сплетенным с божественными делами в такой степени, чтобы не чувствовать ни любви, ни ненависти к смертным делам и считать свое главное бытие чем-то большим, нежели пребывание

слугой и рабом тела, на которое следует смотреть, как на темницу, где находится в заключении свобода, как на клей, от которого слиплись перья, как на цепь, держащую связанными руки, как на колодки, сделавшие неподвижными ноги, как на пелену, затуманивающую взор. Но вопреки всему этому ты не слуга, не пленник, не опутанный, не скованный, не бездействующий, не косный и не слепой, потому что тело может тиранствовать над нами лишь в той мере, в какой ты сам это допускаешь».

Пытка! Инквизиторы с помощью палачей хотели добиться признаний. Вначале Бруно долго допрашивали об его отношении к догме о троице и воплощении господнем. При исключительной важности этого обвинения, выдвинутого в доносе Мочениго, подтверждения свидетелей оно не получило, а сам Бруно упрямо его отвергал.

Потом от него требовали, чтобы он назвал свое учение о множественности миров ложным. Нет! Ноланец и в застенке будет настаивать на своей правоте!

Его пытали тяжело. Но пытка не вырвала ни слова признания. Откуда в нем берется столько сил?

Он совсем не походил на атлета: иссушенный многолетним заключением, худой, слабый человек.

Как дряблым членам избежать стыда?
Кто в изможденном теле жизнь утроит?

Палачи так ничего и не добились. Бруно перенес пытку с удивительной стойкостью:

В бореньи с плотью дух всегда сильней,
Когда слепцом не следует за ней!

После пытки обвиняемому, как и было велено, вручили заключение цензоров относительно еретических положений, содержащихся в его показаниях и книгах.

Узникам иногда тоже везет! Некоторые работы Бруно остались инквизиции неизвестны. Цензоры не знали ни «Прощального слова», ни «Утешающей речи» с их хвалою Лютеру и оскорбительными выпадами против папы римского, а главное, они так и не нашли того,

что неотвратимо бы изобличило Ноланца в ереси — его убийственных насмешек над христианскими догмами.

На допросах его постоянно мучили: он должен признаться, что всячески издевался над Христом.

Но Бруно упрямо повторял, что на него возводят напраслину. Напраслину? К счастью, Святая служба ничего не пронюхала и об «Изгнании торжествующего зверя». Ни в одной из своих книг Бруно не писал так много и зло о Христе, как здесь, хотя и прибегал к аллегориям. Церковь учила, что Христос одновременно и бог и человек. В нем непостижимым образом соприсутствуют две природы — божья и человеческая. Мом спрашивает Юпитера, как поступить с кентавром Хироном, этим получеловеком и полузверем.

«— Что же делать нам с этим человеком, привитым к зверю, или этим зверем, привитым к человеку, в нем одно лицо из двух природ и два естества сливаются в одно ипостасное единство. Тут две вещи соединяются и творят третью единую, и в этом нет никакого сомнения. Но рот в чем трудность: есть ли такое третье единство лучшая вещь, чем та и другая порознь, и не есть ли это что-нибудь вроде одной из первых двух, или же поистине хуже их? Хочу сказать, если присоединить к человеческому естеству лошадиное, то произойдет ли нечто божественное, достойное небесного престола, или же зверь, коему место в стаде или стойле?

Сомнения одолевают Мома:

— Я все же никогда не поверю, будто там, где нет ни полного и совершенного человека, ни полного и совершенного зверя, но есть только частичка зверя с частичкою человека, выйдет лучше, чем там, где кусок шаровар с куском камзола, откуда не получишь ни за что ни хорошего камзола, ни хороших шаровар, ни тем более одежды, которая была бы лучше и той и других.

— Мом, Мом! — возразил Юпитер. — Тайна сей вещи сокровенна и велика, и ты не можешь ее понять: твое дело только верить в нее, как в нечто великое и возвышенное!

— Знаю хорошо, — сказал Мом, — что это такая вещь, которую не понять ни мне, ни тем, у кого есть хоть крупица ума…

— Мом, — сказал Юпитер, — ты не должен хотеть знать больше, чем тебе нужно, и поверь мне, этого тебе не следует знать!

— Вот, значит, — возразил Мом, — что надо знать и что я, назло себе, узнаю и для удовольствия Юпитера буду этому верить, будто один рукав и одна штанина стоят больше пары рукавов и пары штанин и гораздо более; будто один человек не человек, один зверь не зверь, половина человека не полчеловека и половина зверя не ползверя; будто получеловек и полузверь не только человек несовершенный и зверь несовершенный, но настоящее божество, достойное почитания…»

Бруно на разные лады высмеивал таинство причащения, культ святых, почитание реликвий, учение о промысле божьем. Церковь уверяет, что все в мире происходит по воле господа. Как это господь, иронизирует Бруно, успевает одновременно справляться с такой тьмой-тьмущей дел! На страницах «Изгнания» оживают картины далекого детства… Юпитер отдает распоряжения, что и как должно сегодня произойти: сколько в полдень на бахче Франсино будет зрелых дынь, сколько плодов жужубового дерева, что растет у домика Джованни Бруно, свалит ветер на землю и сколько источат черви, сколько волос выпадет у Лауренцы и сколько щенят принесет собака, принадлежащая Антонио Саволино…

Евангелие полно рассказов о совершенных Христом чудесах. Спаситель ходит по воде, исцеляет хворых, слепым возвращает зрение. Мог ли Ноланец обойти молчанием такую тему? Он писал об Орионе, подразумевая Христа: «Раз Орион умеет творить чудеса, умеет ходить по морю, не погружаясь в волны и не замачивая ног, и еще, конечно, способен и на всякие другие диковинки, то отправим-ка его к людям и устроим так, дабы он внушал им все, что нам вздумается. Пусть заставит их поверить, будто белое черно, будто человеческий разум всякий раз, как ему кажется, что он наилучше видит, именно тогда и находится в ослеплении, будто все то, что согласно разуму кажется превосходным, добрым и лучшим, — позорно, преступно и чрезвычайно скверно, что природа — грязная потаскушка, а законы естества — мошенничество…»

Орион должен убедить людей, что в глазах бога подлинные доблести, ум и знания ничего не стоят: «Бог презирает их и предоставляет тем, кто не способен к более великим привилегиям, то есть к сверхъестественным дарам, коими одаривает бог, как, например, прыгать по водам, заставлять кувыркаться хромых и танцевать раков, кротов видеть без очков и делать прочие прекрасные и нескончаемые

диковинки. Пусть заодно убедит людей, что философия и всякое исследование, всякая магия, которые могут людей уподобить нам, не что иное, как пошлость, и что невежество наилучшая в мире наука, ибо дается без труда и не печалит душу!»

Библия давала Бруно обильный материал для насмешек. Он злословил по адресу пророков, нападал на рассказ о всемирном потопе и на учение об искупительной жертве Христа. Боги, очищающие небо, не забывают и о Кентавре — Христе. Оттуда, где находится Кентавр, изгоняется «басня пустая и звериная» со своими «свинскими собраниями, бунтовщическими сектами, беспорядочными порядками, безобразными злодействами, кои все пребывают на поле скупости, дерзости и надменности, над кем главенствует свирепая злость и орудует темное и тучное невежество».

Книга пропитана ересью. Десятки страниц могут послужить неопровержимым доказательством злодейского образа мыслей. А инквизиторы долго возятся с доносами Мочениго, сопоставляют показания соседей по камере, пытаются самого Бруно поймать на слове. У него хватает выдержки отбиваться. Он порицал Спасителя? Помилуй бог, что за напраслина! Он не только не изрекал хулы на Христа, но даже никогда и не думал о нем дурно!

Святая служба не знает «Изгнания». Узникам, случается, тоже везет.

Вскоре после того, как Бруно вручили замечания цензоров, возобновились допросы. Альберто Трагальоло принялся выяснять мнение обвиняемого по тем положениям, которые цензоры объявили ошибочными.

Хотя Бруно, отвечая, и смягчал отдельные стороны своего учения, чтобы уменьшить расхождение с церковными догмами, от сути своих воззрений он не отказался. Он по-прежнему настаивал, что мысли о «душе мира» и первой материи, о всеобщей одушевленности природы и ее бесконечной потенции, о неуничтожимости и неизменности первоосновы всего сущего, о движении Земли и о существовании множества миров, в том числе и обитаемых, отражают истину.

Несколько месяцев продолжались допросы, связанные с цензурой его книг. Ноланец не соглашался признать свое учение ересью. Процесс, казалось, подходил к концу. Оставалось разобрать дело и вынести приговор. Чтобы не заслушивать многочисленных

материалов, было велено составить краткое изложение следственного дела. Весной 1598 года оно было готово; но рассматривать его Святой службе оказалось некогда. Климент и его ближайшее окружение готовились к торжественной поездке в Феррару, вновь присоединенную к владениям римского папы. А когда в декабре Климент вернулся в Рим, город стал жертвой страшнейшего наводнения.

В процессе Джордано Бруно наступил вскоре переломный момент. Дело его было весьма сложным. Несмотря на восемьдесят месяцев следствия, многое оставалось недоказанным. Сколько бы, однако, Бруно ни оспаривал те или иные пункты обвинения, выдвинутые доносчиком, пренебрежение к предписаниям церкви, бегство из монастыря, сам факт его долгого вероотступничества сомнению не подлежали. Это уже навлекало на него подозрение в ереси, но не могло служить доказательством ереси формальной, если обвиняемый отрицал наличие злого умысла.

Но как доказать, что Бруно злонамеренный и упорный еретик? В следственном деле было множество обвинений, касавшихся сути христианских догм. Инквизиторы пребывали в большом затруднении: на основании только доносов Мочениго нельзя было считать Бруно изобличенным, свидетельства же соседей по камере не являлись, строго говоря, юридическим доказательством.

Роберто Беллармино, один из наиболее авторитетных богословов-консультантов Святой службы, нашел выход. В следственных материалах немало страниц посвящено изложению научных взглядов Бруно, заключению теологов, цензуровавших его книги, ответам обвиняемого на замечания цензоров. Здесь речь идет об основах ноланской философии, которые Бруно упрямо объявляет истинными. Но они ведь явно противоречат учению церкви. Надо сделать упор не на оспариваемые свидетельские показания, а На те бесспорно вредные заблуждения, которых, как видно из слов его и писаний, держится обвиняемый. Путь споров с еретиком, да еще таким еретиком, как Ноланец, бесплодный путь. Надо лишить Бруно возможности увёртываться. Он должен ясно заявить, что, проповедуя ноланскую философию, проповедовал ересь.

В Венеции, он соглашался принести покаяние, а здесь, как только дело зашло об его научных воззрениях, стал с особенным упорством

настаивать на собственной правоте, Надо выбрать несколько безусловно еретичных положений, заставить обвиняемого признать их ересью, заставить высказать готовность от них отречься,

Предложение Беллармино было принято. Осуществить его было, поручено Беллармино и Трагальоло. Они быстро выполнили возложенную на них задачу и представили кардиналам «Восемь еретических положений», извлеченных из материалов процесса и замечаний цензоров. Кардиналы одобрили проделанную ими работу. «Восемь положений» были переданы обвиняемому. Ответ решит его судьбу. Срок определили очень жесткий — шесть дней.

Им мало того, что они обрекли его на годы тяжелого заточения! Угрожая мучительной смертью, они хотят заставить Ноланца отречься от самых дорогих его сердцу мыслей! Обвиняемый, если он никогда прежде не был судим инквизицией, мог быть приговорен к сожжению на костре только в том случае, если он проявлял себя как еретик «упорствующий и нераскаянный». С этой целью для него и уготовили ловушку, чтобы он сам помог им соблюсти нх проклятую законность и вынести смертный приговор! Если он признает эти восемь положений ересью и отречется от них, то избежит казни. Если же будет настаивать на своем, его как «упорствующего» сожгут на костре. Несколько лет тюрьмы или костер.

Когда от Бруно потребовали ответа, он сказал, что готов отречься от этих положений, если, ни больше, ни меньше, сам папа по собственному разумению или по внушению святого духа объявит их заведомой ересью.

Десять дней спустя на заседании конгрегации Святой службы в присутствии Климента было решено: Беккариа, генерал доминиканского ордена, Беллармино и Трагальоло должны объявить Бруно, что эти восемь положений не только еретичны по существу, но и давно осуждены церковью. Обвиняемому предлагают от них отречься. В случае же его отказа ему дадут срок в сорок, дней, который по обыкновению предоставляют «нераскаянным и упорствующим» еретикам для последних размышлений.

Его приперли к стене. 15 февраля 1599 года Бруно признал эти восемь положений еретичными. Он готов принести отречение в любое время и в любом месте, как пожелает Святая служба!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

МЫСЛЬ ОСТАНОВИТЬ НЕВОЗМОЖНО!



Казалось, самое тяжкое было уже позади. Решение, которое стоило ему стольких сил, принято. Он признал восемь Положений еретичными и согласился от них отречься. Теперь оставалось лишь ждать приговора. А там — сколько-то лет тюрьмы, ссылка в отдаленный монастырь, неусыпный надзор и горькая старость в ненавистной келье.

В Венеции, мечтая о свободе, он клялся поджечь обитель и сбежать к немцам. Тогда это представлялось вполне возможным и близким. Но сколько утечет времени, прежде чем его выпустят из темницы и не окончит ли он здесь дни свои? Ему было сорок четыре года, когда его схватили, сейчас ему пятьдесят один, но здоровья нет и в по-мине. Он плохо видит и мало похож на того бурного, жизнерадостного Ноланца, к которому так милостивы были женщины.

Он сделал выбор, согласился на отречение. Но дни от этого не стали легче. Неделя шла за неделей, а червь сомнения все сильнее и сильнее грыз душу. Ради чего он сдался? Чтобы сохранить жизнь? Он повторял, что страх смерти хуже самой смерти, и подчёркивал, что ни ужас перед телесными муками, ни боязнь гибели не властны над Героическим энтузиастом. Смерть не страшна тому, кто ведал, для чего жил.

Давно знал он, что всепоглощающая любовь к истине обратит в пепел его кости, но она же вырвет его у смерти и возвратит ему крылья. Не он ли говорил, что героическая смерть в одном столетии дает бессмертие в веках?

Неужели он и впрямь признает дорогие его сердцу мысли зловредной и пагубной ложью? А как он прежде распинался в своей героической любви, любви к истине, которая причиняет столько страданий, но и награждает высочайшим счастьем! Он не скупился на презрительные слова, когда писал о низких страстях, что движут людьми, издевался над свинством чувственности, зло пародировал любовные стишки, жалел глупцов, тратящих попусту жизнь, вздыхая о хорошеньких ножках или миловидных личиках. Вульгарным страстям противопоставлял он свою божественную одержимость. О, свою любовь он не считал рассудочной, говоря о ней, не боялся преувеличений и избитых красивостей, которые порицал в других поэтах, по-своему толковал старые образы и восторги, расточаемые обычно женщинам, относил к своему идеалу. Он писал о геройстве, безумцев, знающих, что верность истине будет стоить им жизни, и тем не менее, презирая опасность, неудержимо стремящихся вперед. Обещал быть крепче любого дуба и не согнуться ни в какой буре. Так неужели все это только красивые слова, поэтические преувеличения, а не тот идеал, которому он с юности честно стремился служить? Ноланец не выстоял в решающем испытании? И воспетый им героический энтузиазм оказался на деле презренным благоразумием?

Он говорил о своем времени как о времени отступников. Но не худший ли он отступник, чем жалкие слепцы, готовые ради жирной похлебки предать всех и вся?

Ему выпало редкое счастье, узреть истину, а он соглашается от нее отречься!

Он не главарь заговора и не сектант-еретик. От него сейчас не добиваются имен соучастников, не требуют, чтоб он назвал единомышленников, предал товарищей. Даже если он пойдет на то, что от него требуют, ни один человек не будет брошен в темницу. Он никому не изменит. А мыслям? Мыслям, которые он годами проповедовал и защищал с таким жаром?

Следует ли преувеличивать последствия его отречения? Сколько бы ни объявляли, что Ноланец признал свои идеи ложными, Солнце от этого не начнет вращаться вокруг Земли, вселенная не перестанет быть бесконечной и не исчезнут бесчисленные миры! Пусть швырнут в огонь его книги — торжество врагов будет недолгим. Идеи в кострах не сгорают.

Ноланскую философию нельзя уничтожить. Фантастических сфер больше не существует. Умственному взору открыты беспредельные дали. И как бы теперь ни повел себя Ноланец, рано или поздно появятся люди, которые будут развивать его учение. Осуждения и запреты бессильны. Мысль человеческую остановить невозможно!

Многие найдут ему оправдание, если он отречется. Не ради каких-то низменных благ склоняет он в покорности голову. Выбор его невелик: отречение или костер. Кто вправе усомниться в его мужестве? Студенты, что хвалятся своей удалью, строят пеледю рожи и почтительно снимают шляпу перед бургомистром? Вольнодумцы-дворяне, тайком почитывающие запрещенные книги и исправно ходящие на исповедь? Или досужливые философы, что, устроившись поудобней в креслах, прихлебывают винцо и охотно рассуждают о стоицизме?

Он достаточно дорого заплатил за то, чтобы теперь, избрав единственный путь, который сохранит ему жизнь, не навлекать на себя упреков в малодушии. Не год и не два, уже семь долгих лет ведет он борьбу. Он упорно стоял на своем, держался, когда совсем не было мочи, пересиливал собственные недуги, напряжением воли укрощал боль, подавлял отчаяние. Вынес пытки, один рассказ о которых вогнал бы других в трепет и заставил согласиться на все. Семь лет дышал он смрадом камер, страдал от духоты или холода. Сырость без пощады грызла кости, кожа стала отливать зеленью, словно въелась в нее плесень. По каменным плитам темницы отшагал он бесчисленные мили, знал цепи, застенок, приноравливался к кандалам, радовался,

презирая себя, тюремной похлебке и удивлялся хорошему хлебу, который давали на пасху и рождество.

Семь лет люди наслаждались свободой, даже не задумываясь над ее ценностью, ходили по цветущей земле, любовались морем на закате, подставляли лицо ветру, щедрому солнцу, каплям благодатного дождя, видели над собой небо, весь небосвод во всем его великолепии, а не только его краешек, кощунственно перечеркнутый решеткой темницы.

Кто в этом мире, полном отступников и приспособленцев, может бросить в него камень? И сотой доли им пережитого хватило бы другим с избытком, чтобы принести любое отречение. Он никого не предает. А разве изменить самому себе — это не измена? Отступиться от того, что ты создал и ради чего жил, не отступничество? Предать идеал, к которому всегда стремился, не предательство?

Зачем обманывать себя и смотреть на прошлое как на героическую эпопею, не омраченную и тенью компромисса. До сих пор он не может без горечи вспоминать унижения, на которые он пошел в Женеве, чтобы получить свободу. Не забывает и Германии, где благоразумно не протестовал, когда немцы принимали его за лютеранина, и даже притворялся возмущенным, когда хельмштедтский пастор публично усомнился в его вере. А покаянные речи перед трибуналом Венеции?

Не раз и не два кривил он душой, молчал, когда надо было кричать, ораторствовал, когда пристойней было безмолвствовать, расточал похвалы не слишком достойным людям и при дворах далеко не всегда разыгрывал из себя гордеца.

Да, как это ни претило его натуре, ему неоднократно приходилось идти на компромиссы. Но никогда еще не требовали от него, чтобы он поступился тем, чем больше всего дорожит. Человек может поступиться многим, но беда, коль он не разглядит рубежа, и поступится слишком многим — жизнь его рискует потерять всякий смысл.

Он еще мог оправдывать себя, когда соглашался покаяться в прегрешениях против веры, но признать ложными мысли, составляющие основу ноланской философии, превыше его сил! Учение о движении Земли вокруг Солнца, о бесконечности вселенной и множественности миров — истина, и он будет на этом настаивать до последнего вздоха. Джордано требует, чтобы ему дали письменные принадлежности, перочинный нож, очки и циркуль.

Он выразил покорность, согласился принести отречение. Но как объяснить новую долгую задержку в его процессе? Не связана ли она с тем, что инквизиция опять занялась Челестино?

Донос фра Челестино на своего товарища по камере был расценен как акт раскаяния. Инквизиция нашла возможным проявить снисхождение и осенью 1593 года сослала Челестино в один из монастырей. Полное освобождение зависело от того, как поведет он себя в дальнейшем.

Юн жил в тихом местечке, послушно выполнял все предписания монастырского начальства и не вызывал никаких нареканий. Но в мае 1599 года начались непонятные вещи. Челестино направил в Рим отчаянное письмо: пусть его незамедлительно вызовут в Святую службу, он должен многое рассказать! Выло решено его выслушать. Тем временем Челестино не унимался. Он послал венецианскому инквизитору столь возмутительное письмо, что тот тут же отправил копию в Рим. Хотя послание было анонимным, содержание не оставляло сомнений, что его автор Челестино. Речь шла о весьма серьезных вещах. Климент VIII приказал немедленно произвести экспертизу, сравнить анонимное заявление с рукописями Челестино, находящимися в следственных материалах, а в случае необходимости учинить розыски в архивах ордена миноритов.

Эксперты-каллиграфы еще не успели сделать своего заключения, как нужда в нем отпала. Челестино не стал ждать, пока его арестуют. Он, приехав в Рим, явился в Святую службу и два дня давал показания. Когда их протоколы были оглашены в присутствии папы, Климент счел нужным предупредить присутствующих — а ведь это были высшие чины инквизиции, которые умели молчать, — о необходимости блюсти в данном случае особую секретность.

В связи с заявлениями, сделанными Челестино, папа проявлял большую озабоченность. Он то и дело вмешивался в ход процесса. Нечего затягивать пребывание в тюрьме этого еретика! Случается, и у стен одиночки бывают уши. Климент повелел, не откладывая, вынести Челестино как «нераскаянному и упорствующему» приговор и передать злодея в руки светской власти, чтобы отправить на костер. Документы, необходимые для окончания дела, составлялись в большой спешке. За двое суток приговор был написан, обсужден кардиналами и отредактирован. Все было предрешено. Пустая формальность защиты

тоже не отняла много времени. Приговор утвердили. Челестино держался очень стойко. Может быть, в последний момент он раскается и возьмет назад свои слова? В камеру смертника один за другим приходили монахи — капуцины, доминиканцы, иезуиты. Прежде чем войти к Челестино, они должны были клясться, что все услышанное будут хранить в строжайшей тайне. Но их увещевания остались тщетными — Челестино не испугался костра.

Были приняты чрезвычайные меры предосторожности. Обычно после приговора осужденного переводили в тюрьму Тор ди Нона, находившуюся в ведении Губернатора Рима. С Челестино этого не сделали. Было ясно что вплоть до момента казни его будут держать в тюрьме инквизиции. Оглашение приговора, как это издавна повелось, происходило публично. Челестино же приговор объявили в тюрьме. Даже казнь его не использовали для назидания народа. Его сожгли ночью, задолго до рассвета.

Трагическая история Челестино окутана тайной. Но трудно избавиться от впечатления, что она имеет самое тесное отношение к процессу Джордано Бруно. Мучимый совестью, отрекся он от показаний, которые дал против Ноланца? Вскрыл постыдную роль Святой службы во всей этой затее с доносом соседа по камере?

24 августа 1599 года, на том же заседании конгрегации Святой службы, на котором был утверждён приговор Челестино, кардиналы после почти пятимесячного перерыва вернулись к рассмотрению дела Бруно. Беллармино доложил, что обвиняемый в поданном еще весною мемориале, несмотря на некоторые оговорки, достаточно ясно признал свои заблуждения. Было решено просьбу о предоставлении ему очков и письменных принадлежностей удовлетворить, перочинного же ножа и циркуля не давать. Постановили закончить дело в ближайшее время.

Две недели спустя, обсуждая результаты следствия, кардиналы пришли к выводу, что показания соседей по камере не могут служить изобличающими материалами. Однако ряд пунктов обвинения подтверждался как заключениями цензоров, так и признаниями самого Бруно. Именно по ним обвиняемый и должен принести отречение.

Неожиданно для инквизиторов в ходе процесса произошел резкий перелом. Бруно подал на имя папы заявление. Как только на заседании конгрегации Святой службы начали его читать, всем стало ясно, что обвиняемый, еще недавно выражавший полную покорность церкви и

согласие отречься от еретических положений, сохраняет верность своим взглядам. Он оспаривал мнения цензоров и настаивал на собственной правоте. Возмущение инквизиторов не знало предела. В его отречении они видели свою победу. И вдруг узник, несмотря на долгие годы заточения, нашел в себе силы поднять бунт!

Согласие отречься от заблуждений и в то же самое время бунт? Здесь нет противоречия. Бруно мог покаяться в отступлениях от догм и предписаний церкви, но отказывался признать ложными научные взгляды, в истинности которых был непоколебимо убежден.

Он достаточно ясно обнаружил свою закоренелость. И теперь почти ничего не изменяло даже событие, которое при других условиях имело бы для Бруно губительные последствия, — инквизитор города Верчелли сообщал римскому начальству, что к нему поступил донос: Джордано Бруно слыл в Англии атеистом и написал книгу «Изгнание торжествующего зверя».

Верчелли? Виаларди уже находился на свободе. Он ведь тоже был родом из Верчелли?

Бруно как «нераскаянному и упорствующему» предоставили сорок дней, чтобы он в последний раз поразмыслил над ожидающей его судьбой. Поданное им бунтарское заявление со всей очевидностью показало, что по сути своей он особенно опасный злодей, закоренелый вероотступник, не поддающийся ни убеждению, ни уговорам. Он имеет еще возможность одуматься, взять назад свои слова и смиренно молить церковь о прощении. Но если он, одержимый гордыней, и теперь не захочет принести повинную и отречься от всех своих дьявольских измышлений, то пусть не надеется на пощаду. По истечении сорока дней процесс будет закончен и приговор вынесен.

Сорок дней! Сорок дней и ночей, сорок тягучих, мучительно долгих тюремных дней — сорок коротких, сорок ценнейших, сорок последних дней!

Да, он знает, что его ждет. Он уже все решил, решил окончательно и бесповоротно. У него было много сомнений, он обманывал судей, хитрил перед самим собой. Он пытался идти несвойственными ему путями. Теперь это позади. Он принял единственно правильное решение. Человек должен быть верен самому себе. Дедалов сын себя падением не обесславит! Пусть сбудутся слова, которые он написал еще в Англии:

«Для людей героического — духа все обращается во благо, и они умеют использовать плен как плод большей свободы, а поражение превратить иной раз в высокую победу!»

Срок, предоставленный Бруно для последних размышлений, давно кончился, но Святая служба, несмотря на явное упорствование узника, с вынесением приговора не торопилась. Для церкви было очень важно сломить Ноланца. Перед рождеством его снова уговаривали смириться и принести отречение. Джордано гордо ответил, что не хочет и не должен отрекаться, что ему не от чего отрекаться, он вообще не знает, от чего бы ему следовало отречься.

Кардиналы поручили двум видным богословам, генералу доминиканцев Беккариа и прокуратору Изарези, посетить Бруно в тюрьме, чтобы еще раз указать ему на его заблуждения и склонить к покаянию. Ноланец остался глух ко всем увещеваниям. Он никогда не писал и не высказывал никаких еретических мыслей! Это должностные лица Святой службы намеренно дают его словам превратное толкование, чтобы подтвердить обвинения. Он готов держать ответ за все сказанное им и написанное, готов защищать свое учение от нападок любых теологов. Их мнению он не подчинится. Пусть святой престол в специальном постановлении докажет ложность его взглядов!

Напрасно богословы-доминиканцы убеждали Бруно, что в показаниях его и книгах содержатся многообразные ереси. У него единственная возможность сохранить жизнь — он должен раскаяться, молить о прощении, отречься. Джордано стоял на своем. Ему не от чего отрекаться!

20 января 1600 года Беккариа, докладывая кардиналам-инквизиторам о результате бесед с Ноланцем, был вынужден, признать неудачу своей миссии. На этом же заседании рассмотрели материалы процесса и выслушали мнения советников. Климент VIII повелел дело Джордано Бруно закончить, осудить его как формального еретика, нераскаянного и упорствующего, и передать в руки светской власти. А это значило — отправить его на костер.

Оглашение приговора состоялось 8 февраля 1600 года. Почти восемь лет находился Бруно в заточении, из них семь в римской тюрьме Святой службы. Теперь в первый и последний раз вышел он за ее ворота. Его отвели во дворец кардинала Мадруцци, где уже

собралось много народу, чтобы Присутствовать на торжественной церемонии: высшие церковные сановники, инквизиторы, юристы, люди, близкие к Святой службе. Зал был полон.

Бруно заставили встать на колени. Нотариус Фламинио Адриани громким голосом читал приговор. Джордано Бруно, как закоренелый и упорный еретик, отказавшийся признать свои взгляды ересью, приговаривается к лишению сана, отлучению от церкви и передаче светскому суду для заслуженного наказания. Все его писания надлежит публично сжечь на площади святого Петра и внести в индекс запрещенных книг.

То, чем его стращали все эти долгие годы, свершилось— церковь, хотя и прикроется лицемерно волей светских властей, уготовила ему костер. Джордано встал. Решительным и грозным было его лицо, когда он, обращаясь к своим судьям, воскликнул:

— Вы с большим страхом объявляете мне приговор, чем я выслушиваю его!

Последние восемь дней он провел в тюрьме Тор ди Нона. К нему в камеру постоянно приходили священники: он должен подавить гордыню и отречься от своих заблуждений! Казнь была назначена на 17 февраля 1600 года.

Перед рассветом Джордано обрядили в позорное рубище еретика. Язык зажали в особые тиски, чтобы богохульник не совращал народ своими ядовитыми речами. Его окружили монахи и солдаты. Осужденного не привели еще к месту казни, а в часовне началась панихида за упокой его души.

Процессия направилась к Кампо ди Фьори. Здесь днем обычно толпились безработные. Но разве этим славится площадь с нежным названием «Поле цветов»? В Лондоне, редактируя «Пир на пепле», Джордано вычеркнул Кампо ди Фьори из перечисления мест, где собираются безработные.

Было уже светло, и тем зловещее казались десятки горящих факелов в руках у монахов. После диспута Фулк Гривелл не дал Ноланцу даже мальчишки с фонарем. В свое время Джордано попрекнул его. И для кого пожалел он провожатого! Странно звучали тогда строки «Пира на пепле»: если придется Ноланцу умирать в католической римской земле, то шагай он даже среди бела дня, в свите с факелами не будет недостатка.

Монахи пели погребальные молитвы. Шли медленно, шаркая ногами, заспанные и равнодушные.

На площади процессию дожидалась огромная толпа. Назидательную церемонию проводили без излишней спешки. Осужденного прикрепили железной цепью к высокому столбу. Вплоть до последнего момента святые отцы разных орденов увещевали его покаяться. Однако ничто не поколебало непреклонности Ноланца. Язык в тисках, цепь вокруг тела, медленно разгорающийся хворост, книги, обреченные на сожжение. Но разве мысль человеческую этим остановишь?

«Умственная сила никогда не успокоится, никогда не остановится на познанной истине, но все время будет идти вперед и дальше, к непознанной истине!»

Он встретил смерть с редким мужеством. Умирающему в муках, ему протянули на длинном древке распятие — он сверкнул глазами и гневно отвернул лицо. Дедалов сын себя падением не обесславил!

Дым не мог затянуть бескрайнего неба. Вымышленных сфер, сокрушенных дерзновенной мыслью Ноланца, больше не существовало. Умственному взору людей была открыта бесконечная вселенная с неисчислимыми мирами.

Дорога в космос шла через костер.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ДЖОРДАНО БРУНО

1548 — родился Бруно.
1562 — приезд в Неаполь.
1565, 15 июня — вступление в монастырь.
1576, февраль — бегство из монастыря.
1576–1578 — скитания по Северной Италии.
1579 — Бруно в Женеве.
1579, конец года—1581, осень — пребывание в Тулузе.
1581, осень—1583, весна — Бруно в Париже.
1583, весна—1585, октябрь — Бруно в Англии.
1585, ноябрь — 1586, июнь — вторичное пребывание в Париже.
1586, июль—1591, лето — Бруно в Германии.
1591, осень — приезд в Венецию.
1592, 23 мая — Бруно заключен в тюрьму инквизиции.
1593, 27 февраля — доставлен в Рим.
1600, 17 февраля — казнь.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Библиография сочинений Джордано Бруно и работ о нем:

Salvestrini V., Bibliografia di Giordano Bruno (1582–1950). Seconda edizione postuma a cura di L. Firpo. Firenze, 1958.

Карпенко Т. А., Джордано Бруно. Библиография переводов его сочинений и литературы о нем на русском языке. «Доклады и сообщения Филологического института ЛГУ». Л., 1949, вып. I.

Горфункель А. Х., Джордано Бруно в России. «Вестник истории мировой культуры», 1959, № 5(17).

Основные издания сочинений Д. Бруно:

Opera latine conscripta, v. I–III. Napoli, 1879–1891.

Opeire italiane, 2 ed., v. 1–3. Bari, 1925–1927.

Dialoghi italiani, 3 ed. a cura di G. Aquilecchia. Firenze, 1958.

La cena de le ceneri. A cura di G. Aquilecchia. Torino, 1955.

Due dialoghi sconosciuti e due dialoghi noti. A cura di G. Aquilecchia. Roma, 1957.

Переводы сочинений Д. Бруно на русский язык:

«Изгнание торжествующего зверя». Спб, 1914. Перевод А. Золотарева.

«Неаполитанская улица» («Подсвечник»). М. — Л., 1940. Перевод Я. Г. Емельянова.

«Диалоги». М., 1949. Переводы М. А. Дынника, Я. Г. Емельянова, А. И. Рубина,

«О героическом энтузиазме». М., 1953. Перевод Я. Емельянова, Ю. Верховского, А. Эфроса.

Материалы к биографии и документы процесса:

«Джордано Бруно и инквизиция». Перевод документов и прим. В. С. Рожицына. «Вопросы истории религии и атеизма», выпуск 1. М., 1950.

«Краткое изложение следственного дела Джордано Бруно». Публикация, перевод, вступ. статья и комментарии А. Х. Горфункеля. «Вопросы истории религии и атеизма», вып. 6. М., 1958.

Иконография:

Горфункель А. Х., Портрет Джордано Бруно. «Сообщения Гос. Эрмитажа», вып. 22. Л., 1962.

Энгельс Ф., Диалектика природы. М., 1955.

Энгельс Ф., Л. Фейербах и конец классической немецкой философии. М., 1949.

Антоновский Ю. М., Джордано Бруно. Спб, 1892.

Герцен А. И., Письма об изучении природы. Полное собр. соч., т. 3, 1954.

Горфункель А. Х., Современная борьба вокруг научной» наследия Джордано Бруно. «Вопросы философии», 1959, № 10.

Горфункель А. Х., Ценный вклад в изучение наследия Джордано Бруно. «Вестник истории мировой культуры», 1960, № 4(22).

Зубов В. П., Рукописное наследие Джордано Бруно. «Московский кодекс» Гос. публ. библ. СССР им. В. И. Ленидр. «Гос. публ. библ. им, В. И. Ленина. Записки отдела рукописей», вып. 11. М., 1950.

Ивлиев В. А., Философские взгляды Бруно. Красноярск, 1963.

Карсавин Л. П., Джордано Бруно. Берлин, 1923.

Корниенко В. С., Философия Джордано Бруно. М., 1957.

Рожицын В. С., Джордано Бруно и инквизиция. М., 1955.

Соколов В. В., Очерки философии эпохи Возрождения. М., 1962.

Щеглов В. П., Джордано Бруно и его космология. Ташкент, 1956.

BadaIoni N., La filosofia di Giordano Bruno. Firenze, 1955.

Bartholmess Ch., Jordano Bruno, v. 1–2. Paris, 1846–1047.

Berti D., Giordano Bruno da Nola. Torino — Roma, 1889.

Boulting W., G. Bruno. London, 1916.

Brunnhofer H., G. Bruno’s Weltanschauung und Verhangniss. Leipzig, 1882.

Clemens F. J., Giordano Bruno und Nicolaus von Cusa. Bonn, 1847.

Firpo L., II processo di Giordano Bruno. Napoii, 1949.

J Greenberg S., The infinite in Giordano Bruno. New York, 1950.

Horowitz I. L., The Renaissance philosophy of G. Bruno. New York, 1952.

Labriola A., Scritti varii. Bari, 1906.

Michel P. H., La cosmologie de G. Bruno. Paris, 1962.

Nowicki A., Centralne kategorie filozofii G. Bruna. Warszawa. 1962.

Sigwart Ch., Kleine Schriften. Erste Reihe. Freiburg, 1889.

Singer D. W., Giordano Bruno. New York, 1950.

Spampanato V., Vita di Giordano Bruno. Messina, 1921,

Tocco F., Le opere latine di G. Bruno. Firenze, 1889.

Togliatti P., Per una lettera aperta. G. Bruno e noi. «Rinaficita», VII, 1950.

Yates F. A., John Florio. Cambridge, 1934.

Yates F. A., Giordano Bruno's Conflict with Oxford. «Journai of the Warburg Institute», v. II, 3, 1939.

Yates F. A., Giordano Bruno and the Hermetic tradition, London, 1964.

Примечания

1

Фуорушити — буквально: спасшиеся бегством.

2

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) родился в Стагире, отсюда — Стагирит.

3

Отрывки из цитируемых Бруно авторов и из его собственных произведений, существующих в русских переводах, а также материалы процесса приводятся, как правило, по изданиям, указанным в «Краткой библиографии».

4

Католическая церковь в средние века широко использовала учение Аристотеля для нужд теологии. «Схоластика и поповщина убила в Аристотеле живое и увековечила мертвое» (В. И. Ленин, Философские тетради, 1947, стр. 303 и 304). Поэтому люди, ратовавшие за свободу научных исследований, видели в Аристотеле, изуродованном комментариями богословов, воплощение схоластики.

5

Перипатетики, то есть прогуливающиеся (по преданию, Аристотель обучал философии во время прогулок), первоначально: ученики Аристотеля; в дальнейшем так стали называть приверженцев его учения.

6

Провинциал — глава всех монастырей, принадлежащих одному ордену и находящихся в данной провинции.

7

Астрономы смогли обнаружить это смещение звезд, так называемый параллакс, только в XIX веке, когда были созданы хорошие телескопы и найдены совершеннейшие методы наблюдений.

8

Это сочинение Бруно, как и «Ноев ковчег», не сохранилось.

9

Название комедии обычно переводят на русский язык как «Подсвечник». Однако в просторечии неаполитанцев слово «candelabrum» имело и другое, весьма вольное значение. «Candelabrum» — это дворянин Бонифацио, главный персонаж комедии. Назвав так Бонифацио, Бруно заклеймил его распутство.

10

Предположение это полностью подтвердилось. Во времена Бруно

знали, если не считать Луны и Солнца, которые сторонниками Птоломеевой системы тоже причислялись к планетам, только пять планет. Уран был открыт в 1781 году, Нептун — в 1846 году, Плутон — в 1930 году.

11

Стелла по-латыни значит «звезда»; Астрофел по-древнегречески — «влюбленный в звезду».

12

Название этих диалогов дословно переводится «Кабала пегасского коня». Кабала — еврейское тайное мистическое учение.

13

Акротизм — изложение научных взглядов. Камероценский — то есть имевший место в Коллеж де Камбре.

14

Пантеизм Бруно был лишь формой его материалистического мировоззрения.